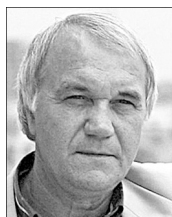


ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 (3 9) / 2 0 2 1



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕВ
С.-ПЕТЕРБУРГ

4



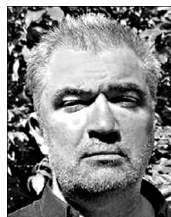
ЕВГЕНИЙ
ЧИГРИН
МОСКВА

10



АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

16



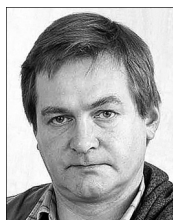
АМИРАМ
ГРИГОРОВ
МОСКВА

74



МИХАИЛ
САДОВСКИЙ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

80



ОЛЕГ
ЗАХАРОВ
КСТОВО

87



ПАВЕЛ
ЛАПТЕВ
ВЫКСА

108



ПАВЕЛ
ТУЖИЛКИН
САРОВ

131



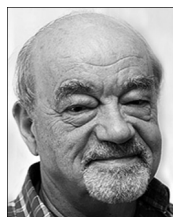
ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

142



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

147



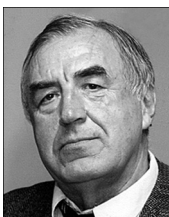
ИГОРЬ
ЗОЛОТУССКИЙ
МОСКВА

172



НИНА
ЗВЕРЕВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

196



ВАЛЕРИЙ
ПОПОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ

205



ОЛЕГ
ДЕМИДОВ
ХИМКИ

217



ИГОРЬ
ПАНИН
МОСКВА

235

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Александр КОВАЛЕВ	
ПОВЕСТЬ О ПЕРВОМ ДЕСАНТЕ	4
Евгений ЧИГРИН	
ПОЛУНОЧНИКИ И ПОЕЗДА	10
Андрей ДМИТРИЕВ	
ЗАСОХЛА ГУАШЬ НА ЩЕКЕ ПРОСТРАНСТВА...	16
Егор ПЕРЦЕВ	
МНЕ ДОРОГО, ЧЕМУ УЖЕ НЕ СБЫТЬСЯ	20

Проза

Юрий ПЕРЕВАЛОВ	
КОНКИСТАДОРЫ	24
Александр ОРЛОВ	
ДЕВИЧЬЯ КРАСА	39
ПЛОДОНОСНЫЙ БОЛЬШАК	43
Дмитрий КОПЬЁВ	
ФЕЙЕРВЕРК	46
Михаил ТРЕТЬЯКОВ	
ЛЮБИТЕЛЬ ЗМЕЙ	55
БРИТВА ОККАМА	60
СИНКОПА И ЛИМОНЧИК	62
ПМС-80	63
ХИНАХАКИ	64
Валерий ГОЛЕВ	
POST FACTUM	65
СТАРИК БЕЗ МОРЯ	71

Поэзия

Амирам ГРИГОРОВ	
ПОСЛЕДНЯЯ РОДИНА, Я ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ БОЛЕН...	74
Михаил САДОВСКИЙ	
ИСПОВЕДЬ ПОДСОЗНАНИЯ	80
Сергей МИХЕЕВ	
ВЕЛИКИЙ ПОСТОВОЙ	84
Олег ЗАХАРОВ	
КОНТРОЛЬНАЯ РИФМА В ВИСОК	87

Проза

Михаил СМЕРНОВ	
НАШ СЫН И ВАШ БРАТ	92
Павел ЛАПТЕВ	
ОБРАЗ	108
Ирина СОЛЯНАЯ	
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ...	114
Максим ВАСЮНОВ	
ОСЕНЬ НА ПИЛОРАМЕ	118

Иван ЯКУНИН	
ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ	127
Павел ТУЖИЛКИН	
АЛЬМА	131
Александр СМЕРНОВ	
ХОМЯТКА	134

Стихи по кругу

Владимир КОРНИЛОВ	137
Александр КОНОПКИН	138
Анатолий ГЕНЕРАЛОВ	139
Лидия ЮСУПОВА	140
Юрий ПРЯДИЛОВ	141

Из новых книг

Валерия БЕЛОНОГОВА	
ЛЕГЕНДА О ГАМЕЛЬНСКОМ КРЫСОЛОВЕ	
Из книги «Утренний человек Даниил Хармс»	142

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Михаил ЧИЖОВ	
«НЕЗАУРЯДЕН В ЧАСТНОСТЯХ И В ЦЕЛОМ...»	
Ростислав Алексеев: человек-эпоха	147
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО (продолжение).	168

Публицистика

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ	
МОИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕНЁЧКИ	172
Маргарита ПАЛЬШИНА	
О МИФАХ ПИСАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ	179

Вехи памяти

Евгений ЭРАСТОВ	
РОКОВАЯ О ГИБЕЛИ ВЕСТЬ	
К 100-летию со дня смерти Александра Блока	186
Нина ЗВЕРЕВА	
«ПИСЬМА БЛОКА?! ВЕЩАЛИ ИХ РУКАМИ?!»	196
Валерий ПОПОВ	
ТАЙНЫ «РЕМЕСЛА»	
К 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова	205
Олег ДЕМИДОВ	
НОРМАЛЬНЫЙ, КАК ЯБЛОКО	
Главы из биографии Леонида Губанова	217

Литпроцесс

Марина КУЛАКОВА	
ОН ПОЛАГАЛ, ЧТО СТИХИ – ТОЖЕ МАШИНЫ...	228
Михаил СТРИГИН	
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ, НУЖНО ПРОЙТИ	
ВСЕ ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА	232
Игорь ПАНИН	
ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПТИМИСТ	235

Александр КОВАЛЕВ

Родился в 1949 году в Донецке. Окончил Московский энергетический институт. Инженер-энергетик по образованию, доктор технических наук, профессор, академик ПАНИ. Одновременно более 40 лет профессионально работает в литературе. Поэт, публицист, автор двух десятков книг поэзии и прозы.

Лауреат премий Ленинского комсомола, имени св. блг. князя Александра Невского, имени маршала Говорова Законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

ПОВЕСТЬ О ПЕРВОМ ДЕСАНТЕ

В сентябре этого года грядет одна из самых печальных, но и самых героических дат Великой войны – начало полной блокады Ленинграда. У каждого из городов-героев своя горькая память и своя саднящая рана, не заживающая все эти 80 лет. У Сталинграда это Мамаев курган, у Севастополя – Малахов, у Ленинграда – пропитанный кровью и тоннами смертоносного железа Невский пятачок...

*Памяти красноармейца Ериова Ивана Петровича 1915 г. р.,
красноармейца Путина Владимира Спиридоновича 1911 г. р.,
мл. сержанта Борзенкова Василия Ивановича 1915 г. р., лейтенанта
Ярошенко Михаила Прохоровича 1919 г. р. и ещё 180 тысяч вы-
живших и павших защитников Невского пятачка посвящается*

* * *

Я брожу по местности неброской.
Ветрено.
Сентябрь.
Листопад.
Над осенней Невскою Дубровкой
догорает медленный закат.

Тянет дымом
над шоссейной бровкой –
листья жгут и запахи остры –

за рекой, над Невскою Дубровкой
догорают мирные костры.
Тишина – ни времени, ни срока
на ничьей,
нейтральной полосе
меж осенней Невскою Дубровкой
и вечерним, медленным шоссе.

Только ветер жалуется тонко,
на лету с размаха бьет в висок,
да шуршит,
шуршит,
шуршит в воронках
обожженный временем песок...

*В темноте ночи на левый берег был направлен
первый десант – сорок разведчиков. Им удалось
переправиться. Через реку до утра доносился шум
боя... Ни один из этих сорока с Невского пятачка
не вернулся...*

Из корреспонденции П. Лукницкого – военкора ТАСС
на Ленинградском и Волховском фронтах. (Невская Ду-
бровка, 20 сентября 1941 г.)

Есть в военном приказе такие слова...

А. Межиров

1

Слог военных приказов
и точен, и крут.
У армейской разведки особая честь,
но о чести потом разъяснит политрук.
На приказ отвечают –
ЕСТЬ.

У военных приказов
слова без прикрас,
даже если их несколько раз перечесть.
Понимая, что это последний приказ,
все равно отвечают –
ЕСТЬ.

Темно-красный закат
догорит над рекой.
На пилотках сверкнет
краснозвездная жесь.
Им приказ зачитают, и сорок штыков
по уставу ответят –
ЕСТЬ.

2

С ними полночь простится легко.
Правый берег им вслед не заплачет.
Десять лодочек – сорок штыков
пожелают друг другу удачи.
Им никто не сумеет помочь.
А приказ –
«Взять плацдарм до рассвета».
Раздирая осеннюю ночь,
за ракетой взлетает ракета –
Не задуть,
не закрыться рукой.
И уйти, уцелеть не надейся.
Десять лодочек – сорок штыков –
в перекрестье прицелов и «цейсов».
В низкий борт ударит снаряд,
все живое в лодчонке выжжет.
Но десант – он на то и десант,
чтобы выполнить,
выстоять,
выжить.

У тебя за спиной карабин,
на ремне тяжесть боекомплекта.
Что ж ты медлишь, сержант Бородин?
Выживай,
«выполняй до рассвета».
Ты с Невою один на один,
но ведь с нею всегда было просто.
Ты ведь помнишь еще, Бородин,
тот причал у Литейного моста.
Как с него далеко-далеко –
замирая, девчонка глядела.
Как Нева подчинялась легко
и несла твое сильное тело.
Как над Лахтой склонялся закат,
опускался все ниже и ниже...
Ты ведь помнишь все это, сержант:
Выплыть.
Выстоять.
Выполнить.
Выжить.
Ты обязан, ведь ты же солдат..

Но свинцом тянет под воду скатку.
Ах, какой уплывает закат
в довоенную тихую Лахту! –
ни пылиночки,
ни облаков,
ни листочка леса не уронят...

Два «максима»
и двадцать штыков –
весь десант в круговой обороне.

И не встать,
не поднять головы
под стальной сумасшедшей метелью.
Только сжаться,
стать ниже травы,
врыться,
втиснуться в землю всем телом
и стрелять, посылая свинец
по сжимающим круг силуэтам...

Ты ведь помнишь приказ, Таранец, –
«Взять плацдарм
и держать до рассвета».
Так держи свой плацдарм, рядовой.
Ты ведь знаешь, сейчас не комроты,
не приказы
на первый-второй
пулеметные делят расчеты.
Вас по счету разделит лишь бой,
вас отвага расставит по счету.
За тобой левый фланг, рядовой,
за тобой и твоим пулеметом.
За тобой девятнадцать ребят
да «максим», прикрывающий справа.
За тобою Нева,
Ленинград
и еще хуторок под Полтавой.

...Ах, какие там вишни цветут
во дворах да в садочках под горкой.
Ах, какие там песни поют
вечерами дивчины над Ворсклой!
А какой ты и сам был певец –
запевала во всей разведроте.

Что же ты, рядовой Таранец,
замолчал со своим пулеметом?
Только стон,
только струйка с виска
да в затворе неполная лента...

Пять гранат
и четыре штыка –
за пятнадцать минут до рассвета.
И все уже,
все яростней круг,
атакующей, лютой оравы...

Ты ведь понял уже, политрук,
что не будет второй переправы.
Ты ведь знал это,
знал, лейтенант,
понимал еще там, за рекою,
что сегодняшний первый десант –
это только разведка боем.
Первый шаг в обжигающей мгле
и последний за миг до рассвета,
без которого в этой земле
ни второй невозможен,
ни третий.
Так иди же,
иди, политрук!
Упираясь кирзою в планету,
крепче вдавливай в землю каблук.
Доживи.
Дошагай до рассвета...

А рассвет-то какой! Посмотри,
за такое не жалко и жизни.
Ах, какие стоят сентябри
в эту славную пору под Нижним!
Тишина, лишь синицы на звук
воздух пробуют нотой недолгой.

Ты ведь помнишь еще, политрук,
те грибные рассветы над Волгой?
Как всходила заря над рекой,
поднималась упруго и ало...
Что же ты, политрук Зоревой,
не встречаешь ее, как бывало?
Ах, какая сегодня заря! –
молодая от края до края,
пропадает, уходит зазря –
первый раз без тебя догорая...

3

Слог военных приказов
и точен, и тверд.
У чужих блиндажей в три наката
утро выстудит сталь,
и «НП» нанесет
каждый ствол на планшеты и карты.
У армейской разведки такая судьба –
две короткие строчки – по фронту –
ни имен, ни фамилий –
«Дубровка, сентябрь...»
И потери: «до полуроты».
А под вечер комбаты назло всем смертям
повторят и приказы, и сроки.

Сорок первый.
Блокада.
Дубровка.
Сентябрь –
самый первый из самых жестоких...

* * *

...Я брожу по местности неброской,
под ногами травы шелестят.
Над осенней Невскою Дубровкой
пламенеет ветреный закат.
Он горит, склоняясь низко-низко,
как и много лет тому назад,
над клочком земли,
над обелиском,
не вместившим всех имен и дат.
Тишина,
лишь ветер плачет тонко,
кружится, с разбега бьет в висок.
Да еще шуршит,
шуршит в воронках
выстуженный временем песок.
Он сочится медленно и мелко
день и ночь, который час и год?
Памяти безудержные стрелки
отбивают новый оборот.

Евгений ЧИГРИН

Родился в 1961 году на Украине. Поэт, эссеист, автор 7 книг стихотворений. Публиковался во многих литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на европейские и восточные языки.

Лауреат премии Центрального федерального округа России в области литературы и искусства (2012), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии в поэтической номинации (2014), Всероссийской литературной премии им. Павла Бажова (2014), общенациональной премии «Золотой Дельвиг» за верность Слову и Отечеству (2016) и Оренбургской областной премии имени Сергея Аксакова (2017).

Награждён несколькими медалями, в том числе медалью Константина Симонова (Россия, 2012) и Николая Гоголя (Украина, 2014). Живёт в Москве и подмосковном Красногорске.

В сентябре Евгений Михайлович встретит свое 60-летие. Редакция журнала «Ниžний Новгород» поздравляет замечательного поэта с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых творческих высот.

ПОЛУНОЧНИКИ И ПОЕЗДА

* * *

Там, где падает снег, паровозы идут по воде...

Б. П.

Поезда в Поронайске идут по холодной воде,
Проводник поднимает глаза к синеватой звезде,
Машет ручкой составу зимой, а весной поёт,
На любой остановке написано прописью: «Nord».
Твой двойник до сих пор засыпает в зелёном купе:
Сновиденье цветёт и архангел сидит на гербе
Незнакомомого места и курит чертовский табак,
И мальчишка стоит, точно некий из прошлого знак.
Поронайский состав до Парнаса дотянет навряд:
Отгадать парадиз стало трудно, а выглянуть в ад —
Много проще, чем жизнь чешуёй зарифмованной скрыть,
И архангел вверх продолжает взятяжку курить.
Остановка. Вагон проводник открывает. Душа
Вышла в мятом своём и куда-то идёт не спеша
По воде ли, по суше... Ты выпустил слово. Ты сам
Что-то плёл о таком полуночниках и поездах.
Смотрит ангел-очкарик-двойник-одиночка на юг,
Нет в печурке огня, тот, что бился, отбил от рук...
Паровоз постоит и, заправившись сказкой морской,
Станет слушать опять, как тоскует твой голос живой.

* * *

Не спрашивай, откуда осень и
Блуждает кто по жёлто-лисий листьям,
Дублирует холодные слои,
Читает жизнь по выдуманным письмам...
Вот дерево, что хочет улететь
За птицами в Габон и занзибары.
Слепилась осень – золотая смерть,
Всё шире открывают двери бары,
В них одиноких глаз не разглядеть,
Когда они клонятся над бокалом,
В котором «Баллантайнс» уже на треть...
И кто тогда не выглядит усталым?
Такое вот повторное кино.
А фосфор фонарей – намёк, собака,
Что вышла на болота заодно
С библиотекой сумерек и страха.
«Не подходи к болотам торфяным», —
И мне писал Джеймс Мортимер когда-то...
Теперь лишь космос, то есть аноним
Космический с записками формата
Не финиша. С насмешками в окне
О трёх башках Геката и собака,
В огромном фосфорическом огне
Горят-горят все знаки зодиака.

* * *

В июле тридцать третьего числа,
Когда и сновиденья от тепла
Сбежали бы, но кто-то выше против,
Входило солнце с головою Ра,
От счастья задыхалась детвора
И нищий пел (прекрасен и уродлив).

А вечером мрачнели облака,
Тянулась к жизни мальчика рука,
Что жил как будто никого на свете...
В том мире безотцовщины, где нить,
Едва родился, а уже не сшить:
Глотай грозу, купай в ладонях ветер,

Когда ночами кубовый колдун
Выносит тело из таких лакун,
Что вспомнишь с длинным носом человека.
Сработает инстинкт: захлопнешь том,
Карпатский чёрт на молнии верхом...
...На простыне застиранной прореха.

Всё прочее виднеется едва,
Синеют травы, падает сова

Воображенья. На подушке метки
От зловидений остаются. Тьма –
Дотронешься, но не сойдёшь с ума
В зашторенной не ведьмаками клетке.

Молоко неизвестной силы

«В октябре и демоны пьют глинтвейн», –
Повторял старик, точно это мантра,
Не сумевший выучить «Журавлей...»,
Улетевших в Африку. Саламандра
Надевает тёплое: шкуру-мех
Бестиарий-маркет подкинул твари,
Положи в огонь и – услышишь смех
Мастерской глубин, где плетут кошмары.

Прикоснись слегка – изо рта зверька
Молоко пойдёт неизвестной силы,
И твоё лицо, и твоя рука
Переменит цвет, как в кино вампиры.
Это цирк? Не цирк. Наливай в бокал,
Осуши огонь под оттенки света
Постаревшей лампы, и сам ты стар,
Ничего не слышишь помимо ветра...

В октябре и ангелы пьют вино,
Эликсир небес заливают в глотки.
Молодой старик, будто видит дно
Демонизма, а, перерывши шмотки,
Посреди находит очки: вот-вот –
И гляделки тоже деталь у Босха;
Помнишь триптих, где сатанинский крот?..
Что-то, видно, есть в закромах у мозга,

А вернее бы написать – в мозгах,
Спорадически не в ладах со словом...
Всё же осень – это ещё и страх:
Будь к приходу бабы с косой готовым.
Ржавый цвет луны. Рыжий цвет листвы.
Осень жизни и – сорок капель в рюмке.
За окном дома, словно бы мертвы
От покатых крыш до пастушьей сумки.

Жёлто-китайское

Призрак осени спит беспробудно,
Ветер тянет туземную весть,
Облетает с кустов поминутно
Цвета сангрии нежная шерсть.
Прямо в море пикирует жёлтый,
Постаревший востоком дракон,

В лапах зверя живой или мёртвый?
В мертвецах я совсем не силен.
Пасть раскроет и щёлкнет клыками –
Желтоликих накроет лафа,
И проявится над головами
Белый заяц в сетях колдовства.
В ступе зайца бессмертия травы,
Чай Сун Ши, макадамия в пыль
Перемешаны соком агавы,
А над ним облаков монастырь.
...Прямо в море спикировал жёлтый,
Может, синий, как яйца дрозда,
Левый глаз, будто воском натёртый,
В правом ворон кричит: «Никогда!»
...Есть лекарство? Ну есть, но – стащила
Всё бессмертье воровка Чан Э,
В ней расширилась тёмная сила,
Мозг пылал в лазуритном огне.
Превратившись в небесную жабу,
В Лунной Башне пришлась ко двору...
Призрак осени лунную лампу
Просит выдать бессмертье к утру.

Давнее. Островное

...Баклан надрывается в крике тоски,
Трёх малых в долблёнке качают потёмки:
Расставили сети в местах рыбаки,
Всё море Охотское в лакомой сёмге.
Здесь тянутся абрисы тучных равнин
И спит визави колоритный Хоккайдо.
Здесь сопки вбивают в созвездия клин,
Луна закрутила неспешное сальто,
Лучом зацепившись за каменных баб
С японских времён отдыхающих возле
Пернатых, сложивших воде дифирамб,
Бамбука, что слушает шумное море,
Всю азбуку Морзе, циклоны, шторма
И, видимо, потусторонние души...
В лучах маяка островистая тьма,
Вдоль неба расплылись астральные лужи.
Там крутится жёлтых людей колесо,
И тянется в воздухе что-то паучье...
Там с ложечки кормит Мацүо Басё
Луну, чтобы стало в блужданиях лучше.

Пальто

Смотри: зима в личине декабря
Опять детей зацапала с утра
И одарила сахарною пудрой.
Вот так проснёшься, выглянешь в окно –

А жизнь прошла, иллюзии на дно
Легли, как то прославленное судно*,

Где жизнь спадала с каждого лица,
И музыку играли до конца,
И альбатросу не хватало неба.
Так говорю, и – блазнится, что та
Костлявая с косой из-за куста
На автора глядит совсем без гнева:

Скорей индифферентно в смене дней,
А жизнь светлей играющих детей,
И Снежной королеве что тут делать?
А если тролли в воздухе парят
И зеркало одушевляет ад –
Пошли на три ублюдочную челядь.

Всё как-то легче обмануть себя,
Когда в бокале градус декабря
И день уже как точка невозврата.
Заглянет демон – угощу его,
Не зря смешали это волшебство:
Для привкуса четыре капли яда,

Зато во сне проснёшься молодым,
Захваченный волнением чудным,
И что-то там покажется в природе,
И ты опять в летающем пальто
Идёшь к любви на праздник или до...
Чтоб выпить утро на волшебной ноте.

Неисцелимые

*Курит В. Ходасевич,
Поплавский плывёт за буйками...*

Лепрозорий встаёт с петухами в колониях жарких.
Колокольчик с другим колокольчиком только на «ты».
Просыпается Лазарь Святой, чтоб кормить этих жалких,
Этих сильных: в глазах расцветают пустые цветы.

Забирают у девочки бедной здорового сына:
К островному посту Спиналонга** приплыл катерок.
В небе синего – пропасть, закатного много жасмина,
В бледно-розовом облаке прячется греческий бог.

Прокажённые смотрят на мир не твоими глазами,
Что им птицы метафор и ящеры метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавский плывёт за буйками...
Ангел мятую розу на каменный берег принёс.

* «Титаник».

** Остров, на котором существовала больница для прокажённых.

Прокажённые видят любовь не твоими глазами,
Что им праздник метафор, животные метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавского метит стихами
Божий Дух или демон, кто больше в Борисе пророс?

Почему Б. Поплавский плывёт за буйками? Не знаю.
Да и сам Ходасевич какого хераскова тут?
Так и тянется адский стишок к виноградному раю,
Там грехи отпускают, и солнце к столу подают.

...Эксцентричный дурак всё расскажет, конечно, случайно,
Прокажённые спят: видят жизни другой оборот.
Докурил Ходасевич... На пасеке необычайной
Б. Поплавский в аду собирает поэзии мёд.

Местный

Вряд ли закончится эта зима в четверг,
Денег всё меньше. Опять снегопад с ума
Сходит по Фрейду. Какой бы привести пример? —
Думает местный. В сюжете снегов дома,
В окна заходит Аид в балахоне мглы.
Ну не Аид, но тогда почему черно? —
Думает здешний, глядя, как плывут дворы,
Чувствуя жабрами мрака какое дно?
Смотрит на всё Неизменный оттуда, где
Души в сосудах не вянут, равно цветы:
Духи гуляют с лейками на высоте,
Где дотянуться легко до любой звезды.
Кто говорит? Постоянный. Который взял
Местных немало, а этого как-то нет...
«Пусть поживёт ещё, Я его пеленал,
С маленькой лирой его выпускал на свет».

Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская».

Автор трех сборников стихов. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «Дружба народов», «Новая Юность», «Юность», «День и ночь», «Бельские просторы», «Байкал» и других, а также в сетевых изданиях. Лауреат премии имени Бориса Пильника, дипломант межрегионального конкурса «Наималы» и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых музеем В. Хлебникова в Астрахани.

Живет в Нижнем Новгороде.

ЗАСОХЛА ГУАШЬ НА ЩЕКЕ ПРОСТРАНСТВА...

* * *

Дом горит – и как-то по-тарковски,
но с машинкой швейной у окна
монолог читает кот Матроскин
с мыслью: лишь хватило б полотна.
А огонь уже с чердачных балок
спрыгнул внутрь – в сухой остаток дня –
и втянул жилплощадь в танец алый –
есть такое свойство у огня.

В кадре занавески увядают,
оставляя в нём проём зиять,
чтоб впустить ли, выпустить ли тайну –
как опальную для текста «ять»,
если не вертлявого галчонка,
тщетно вопрошавшего: кто там?
Дом горит – надрывно, обречённо,
и вокруг разверзлась темнота.

Досмотрев предложенную сцену,
хочется воды и пряных трав
вдоль тропы, несущей запах сена
прочь от бесконтрольного костра
в детский сон, нетронутый пожаром.
Оператор впал в сюрреализм,
закругляя пламя в форму шара –
будто все углы уже спеклись.

* * *

Играла смерть с живыми, ну а жизнь –
ещё и с мёртвыми: в лапту, кажись –
подбросит, стукнет – дальше побежит,
а те летят, как звёзды-метеоры –
по ним гадают, ищут в лопухах,
чтоб дома из кармана – ох и ах,
но девочка, заметив их впотьмах,
лишь прошептала: кто-то помер.

Так смерть подсказывала ей,
считая, что живым нужней,
чем целой армии теней,
отброшенных и прошлых,
ведь в ней искрится тайна тайн,
на кнопки разобрав баян,
который был для ритма дан,
но прятался в прихожей.

А своды правил той игры
читай с изнанки кожуры
лимона, что ушёл в отрыв
от ветки плодоносной –
меж пальцев брызнет спелый сок:
не пуля, ткнувшая в висок,
но талой мякоти кусок
преодолеет косность...

* * *

Витиеваты ветви мыслей,
и с ними тонок капилляр,
струящий местный кислый рислинг,
пока огонь в чуть зримый пар
не превратил на зыбкой грани
 всю эту соков бахрому,
что мы ловить спешим губами,
сгущая тьму...

Сознание – кульбит и клубень
в распаханной сырой земле,
оно в квадрате или в кубе,
но всё ж в единственном числе,
и только ищет путь к свободе,
давя на стенки изнутри,
а то, что так и не находит –
закон игры.

И гулкий череп – хрупкий череп –
наполнен доверху золой,
в которой золотом сечений
тиснёна гибель многих Трой.

В холодном зеркале в прихожей
к изнанке стёкол липнет свет,
но отражение, похоже,
теряет след...

* * *

Скорей бы добраться, добриться.
Скорей бы добиться, добыться,
покинув прискорбное братство,
что пьёт из следов от копытца.

С Кариб вы – как видно, туристы.
Скулят львы на вымпелах графства,
наверное, лет этак триста –
так долго династия гасла.

Сгорим вне геральдики быстро,
с горы ли покатымся вниз и
рассыплемся в бездне на искры,
как беглые-беглые вымыслы.

Скорей бы дожидаться плюс двадцать,
плюс тридцать – пусть вкратце – и спеться
с держателем пряных акаций
в контрольном пакетике специй.

* * *

Причалит кораблик нарисованный
к земле намалёванной – словно
мазок на мазок ляжет в пределах холста,
автор прищурится, выдохнет: красота,
а может быть, губы скривив, полоснёт
кистью наотмашь, мол, это всё
мазня, да и только – закрасит берег
с очертанием судна невинно белым...

Засохла гуашь на щеке пространства,
которое говорит тихо: здравствуй,
стоя в проёме, и свет за его спиной
создаёт ореол – так входит святой
в дом на краю деревни, прося ночлега
у открывшего незнакомого человека.
Автор зажмурится, выдохнет: берег,
слыша, как кто-то легонько стучится в двери.

* * *

Ворошилась-копалась в золе кочерга –
докопалась: выкопала шуруп –
он из старого стула, что с прошлого четверга
был порублен и брошен в огонь, как труп,

для прогрева жилища, вмёрзшего в пустоту
перспектив обитания среди стен,
где и есть только место для всяческих там простуд,
пробирающих до ломоты костей,
и в камин – распахнутый словно алтарь –
отправлялось всё способное на
жаркий теплообмен – этот жертвенный дар,
отдающий себя сполна...

Стул стоял у окна, выходящего на пустырь,
где росли вне планов и чертежей
три берёзы да клён среди трав густых –
здесь ребёнок летом нашёл ежей.
А зимой – завьюжило, замело:
холод вполз, прокрался, проник, пронзил,
и валили деревья – не то чтобы зло –
по-хозяйски расчётливо, что есть сил.
Следом взят на дрова и гнилой забор –
он на доски разобран и на щепу.
Тот, кто всё это видел, достал топор,
встал со стула и рубанул по нему.

Обнаружен в золе почерневший шуруп.
В доме тихо и пусто – оставлен давно.
Не согрел никого пугачёвский тулуп,
не спасло настоящее вино...
Только чудится северный ренессанс:
Дюрер воздуха, Брейгель белёсых крыш,
Босх продрогших теней, застывших в анфас –
Вкрутишь в стену шуруп и висишь, и висишь
в этой раме, поняв возрождение, как
возвращение к живописи, к огню
негасимому, с трепетного языка
отпустившему фразу: иди к окну...

Егор ПЕРЦЕВ

Родился в 1991 году в г. Олонце Республики Карелия. Срочную военную службу проходил в ЗРВ Полярного военного округа. Окончил Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. Работает учителем начальных классов в школе.

Публиковался в журнале «Север». Лауреат литературного конкурса «Северная звезда» (2011). Живет в Москве.

МНЕ ДОРОГО, ЧЕМУ УЖЕ НЕ СБЫТЬСЯ

* * *

Куда-то во мрак убегает дорога.
И то ли себя я ищу, то ли Бога.
Чем дальше иду, тем дорога темней.
Где в вечности я, и где вечность во мне?

Услышь меня, вот я, с душою нагою...
Но нет мне ответа. Нет мне покоя.

Недоносок

В небе яркие вспышки огня?
Полыхают над лесом зарницы.
В этот час ты увидишь меня
В небе, кем-то похожим на птицу.

Далека и незрима земля...
Ослепленный небесною пылью
Я почти забываю, что я
Недоносок, придумавший крылья.

Забываю про чувство вины,
Чувство долга в себе заглушаю –
Так мне кажется небо родным,
А земля мне навеки чужая.

Но чуть выше пытаюсь взлететь,
Я на землю опять буду сброшен,
Чтобы знал, чтобы помнилось впрямь –
Я для неба, увы, недоношен.

В небе гневные вспышки огня.
Слышишь, грома вдали отголоски?
На земле ты увидишь меня –
Обессиленного недоноска.

Первозданный я

Земля полна несбывшеюся былью.
Я соль земли, развеянная пылью.
Земля моими судьбами полна.

Везде мои следы, мои приметы.
Я всюду был и позабыл об этом,
Но почва повсеместно солона.

Мне дорого, чему уже не сбыться.
Я по земле ищу себя частицы,
И надрывается душа, скорбя,
Пока не соберется воедино.
И я пытаюсь воссоздать картину–
Картину первозданного себя.

Ноябрь

1

Ни о чем уже не говоря,
Медленно качаются деревья.
Мрачно, как раскольничьи поверья,
Небо в середине ноября.

И земля не менее мрачна,
Где ни счастье, ни покой, ни воля
Не живут. И боль здесь не страшна,
Как страшна невыразимость боли.

Потому и спать не вмоготу.
И в своей горячке бесполезной
Не закончишь к самому утру
Разговор в одну калитку с бездной.

Я б покинул этот дом пустой,
Но размыло ливнями дороги.
И на дно чернеющим листом
Тянут безутешные итоги.

2

Ночь бесконечно, промозгло и тягостно длится.
Черным пространством сжимается свет фонаря.
Выйдя на улицу, сможешь навек заблудиться
В пропасти всепоглощающего ноября.

Звезды горят, но какая из них путеводна?
Может, то звезды погибшие смотрят на нас.
Ветер крепчает, сгущается воздух холодный.
Сумрак фонарь не сдержав, поморгал и угас.

В доме пустом со свечою нащупаю двери.
Выйду на улицу – ветер задует свечу.
Бездна такая кругом – ни понять, ни измерить,
Тяжесть ее непомерная не по плечу.

Двери призывно скрипят, но вернуться обратно,
Бездну увидев, уже не умеет душа.
Шепчутся черные ветлы о чем-то невнятно.
Страшно. Глаза закрываю. Делаю шаг.

3

Говорят, что небо опускается ниже в ноябре
И будто бы царапают небосклон крыши домов.
Но не небо к земле, а земля к небу
становится ближе.

Поднимается и летит.
Но не вся земля, а то место, где я сейчас стою –
В глухой деревне. Это она летит.
Вместе с погасшими фонарями,
домами и деревьями.

Именно поэтому вокруг ничего не видно,
Ни лесов, ни полей. Они остались внизу.
А я и деревня летим в осеннем космосе.
Мы заблудились в нем, заблудились в вечности.
Мы останемся там навсегда,
Где мачтами качаются черные деревья,
Между звезд парят избы-корабли.
В космосе осеннем парит моя деревня,
Потому и не видать земли.
Не видать земли.

* * *

Закричит в лесу ночная птица,
Затрещит костер на берегу.
Эта ночь застынет и продлится,
Сколько я продлить ее смогу.

Остывает и свежееет воздух,
Кроны шелестят на дне реки.
Я в воде захватываю звезды,
Пью созвездья прямо из руки.

Эта ночь вовек благословенна,
Ведь во мне отныне навсегда
Вместе с кровью протекает в венах
Звездная небесная вода.

Сумерки

Приглушаются краски, кончается день,
Гаснет все, что тревожно и суетно.
За спиною встает Боратынского тень
И мерцанье глубокое в Сумерках
Самой дальней галактики дальней звезды...
Свет незримый струится и падает.
И детали уже не важны, не видны,
Не пугают меня и не радуют.

Им уже не встревожить меня, не отвлечь,
Если в Сумерках видно мерцание,
От которого слышится горняя речь
Мироздания.

Юрий ПЕРЕВАЛОВ

Родился в 1985 году в селе Ошминское Нижегородской области. Окончил биологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Работает в научно-исследовательском институте. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «День литературы», «Кольцо А», сетевых изданиях.

Живет во Владимире.

КОНКИСТАДОРЫ

Во всем виновата монета герцогства Люксембург. Я нашел ее среди хлама на старом шкафу – ума не приложу, откуда она оказалась в нашем доме. Монета была тонкая, но величиною с пятак. Дата на ней совершенно стерлась – это придавало моей находке тайну и значимость, – зато герб сохранился отлично. Начищенная, медная монета заблестела. Ее гордый львиный герб навевал мысли о чем-то старинном: неприступные крепости, рыцари и хриплый зов охотничьего рога в глухом лесу.

Я пробил в монете дыру и стал носить ее, как брелок для ключей.

Я толком не разбирался в коллекционировании, да и не стремился поначалу к достижениям в этой узкой области знаний, не требующей, честно говоря, особых умственных усилий. Я просто таскал монету в кармане, разглядывал, иногда хвастался перед товарищами – те ценили вещицу. Так я прослыл коллекционером. Трое моих приятелей тоже решили собирать монеты. Они тут же обогнали меня по величине коллекций, так что мне пришлось поддерживать так легко приобретенную репутацию, и я втянулся.

Мы таскали на обмен друг другу килограммы советских копеек, медяков и случайных монет всех государств мира, среди которых изредка попадались редкости. Вряд ли б вы нашли коллекционеров более страстных: мы собирались и хвастались находками, ругались, обманывали друг друга, меняли монеты на детали от мопеда, велосипедный насос или кассеты для магнитофона.

Постепенно кое-что у меня скопилось. Я не знал, как поступить со свалившимся на меня богатством, поэтому сложил монеты в банку и

повесил на стену карту, где жирно обвел карандашом страны, денежными знаками которых я уже завладел.

Тем же летом я оказался в городке под названием Каменск. Я приехал туда вместе с родителями. Десятка полтора наших родственников собрались и зашумели в большом деревянном доме: они справляли чей-то громоздкий и круглый юбилей.

Мне очень понравился этот дом. Весь он скрипел: лестницы, тяжелые двери с вытертыми до блеска железными ручками, холодный деревянный пол, – но скрип этот был особый, крепкий, он говорил о непоколебимости и доброте.

Комнаты в доме были большие, но с низким потолком. Их загромождала тяжеловесная, древняя мебель. Громадное чистое зеркало, в полный рост, висело на стене в коридоре.

Я заходил в хозяйскую комнату, где стояла тишина и где крашенный блестящий пол ослепительно сверкал и, казалось, отражал люстру на потолке и даже деревья и небо за окном. Я забредал в ту комнату, потому что меня влекли старые фотографии в бумажных рамках на стене. Там были двое курносых парней в тяжелых тулупах и танковых шлемах. Женщина со светлыми глазами и строго сжатыми тонкими губами. Множество других людей. И почему-то на одной фотографии – белая собачонка с закрученным хвостом.

Но обязательно в комнату врывается сухая и резвая старуха с золотыми зубами и изумрудной брошью на груди. Это была моя троюродная бабка по неизвестной мне кривой генеалогической линии. Старуха резким голосом, не ждущим оправданий, командовала:

– Поди-ка вон на улицу, нечего шататься здесь!

И тут же поправляла ногою палас, и так лежавший идеально, и всем видом давала мне понять, как я шаркаю ногами и вношу беспорядок в ее идеальную паласную симметрию. Затем старуха с силой взбивала кулаками подушки и перекладывала их так, чтобы они стройной пирамидой подымались к потолку.

Среди портретов была и она со своим молодым мужем – девушка с тонким испуганным лицом застыла на свадебной фотографии. Парня давно уже не стало. Девушку кто-то заколдовал, и она обратилась в злобную старушенцию, смысл жизни которой – стирать повсюду пыль и бороться с нарастающим хаосом.

Но тогда я не сочувствовал этой женщине. Мне хотелось разозлить старуху, и я шаркал ногами по ее половикам и оставлял все двери на своем пути распахнутыми настежь.

Итак, дом и старые вещи в этом доме прилипли мне по душе, и взрослые, нагрянувшие сюда, поначалу вызывали во мне бурную, жгучую радость. Всего за пару дней столько людей поднялось по лестнице, что она не выдержала и сломалась, и тут же ее починили. Взрослые шумели, хохотали и шутили друг над другом. От них пахло то духами, то сигаретным дымом, то вином. Два старичка бесчисленное количество раз за день выходили покурить на крыльцо. Они доставали кисеты с махоркой и по очереди забирали грубыми пальцами табак друг у друга, причем каждый другого изо всех сил пытался перецеголять в этой церемонии и старался угостить приятеля первым.

Но только в первый день все были счастливы и радостны. Эти люди лишь казались уверенными и беззаботными. Уже на второй день, обследуя большой дом, бродя по двору, я слышал совсем другие речи. Я почувствовал перемены в словах взрослых людей и заметил,

что эти люди навязывают друг другу и даже мне одни и те же разговоры. Все они обращались с беседой так, будто соревновались: кто быстрее добежит до своей обожаемой темы, всегда связанной либо с хвастовством либо с пережитыми бедами, и выскажется по ней сполна. Я наслушался их разговоров досыта, и тогда сам собой в моей голове появился вывод: взрослые всегда говорят о том, что растеряли в прошлом, и о том, что боятся потерять в будущем, а также о тех предметах и занятиях, в которых они, по их же мнению, смыслят гораздо больше других. Получалось, что в доме собрались одни гениальные люди – однако они растеряли в жизни почти все и теперь усердно строили планы: как бы не ускользнули у них из рук последние крохи.

Тогда для меня слово «взрослый» и слово «усталый» стали полными синонимами и слились в одно понятие: устарослый или взрустальный – как хотите. Смысл этого слова я прилагал к любому человеческому существу возрастом старше тридцати лет.

Только один человек мне понравился. Этот молодой дядька чаще других курил на крыльце. Он никогда не лез ко мне с расспросами и каждый день здоровался со мной за руку – в этом я видел какой-то особенный ритуал.

Все он делал с легкой уверенностью и как будто наплевательством. Когда старики играли в карты, он вдруг демонстрировал несколько умопомрачительных карточных фокусов: угадывал масти или запоминал почти всю колоду. А после, подвыпивший, показывал, как правильно отжиматься на одной руке, и, что странно, ему этот гимнастический трюк удавался.

Однажды мы с ним встретились во дворе, и он сунул мне в руки большую колючую, закрученную винтом морскую раковину.

– Нашел на чердаке, – бросил он мимоходом так, будто совершил что-то не совсем законное.

И тут я понял: мы видим с ним этот мир одинаково. Я полюбил его за этот поступок сразу и бесповоротно, и между нами, как я твердо решил, установилась скупая на слова, прочная мужская дружба.

Гости все еще приезжали. Их шумно встречали. Но мне это надоело. Мне стало скучно оттого, что я оказался единственным подростком в этом доме.

На третий день я проснулся рано. Перекусил на кухне, пока все еще спали. Вышел во двор, поиграл с мохнатой и глупой собакой. Я репетировал с ней утром и вечером следующую сцену: швырял резиновый мячик, затем, схватив за ошейник, тащил псину к месту, куда он упал, и с трудом запихивал мяч собаке в пасть, показывая таким образом, что нужно с ним делать. Затем пес получал в награду кусок хлеба, и мяч снова летел прочь. Так ничего и не добившись от собаки тем утром, я пошел гулять по городу. Каменск был совсем небольшой, и я поставил себе цель – пройти его весь насквозь.

Я шел по узкой улице мимо деревянных домов. Изредка, с грохотом подпрыгивая на ухабах, проезжала какая-нибудь легковушка. Улица вела все время в гору, и, когда я наконец одолел этот долгий подъем, мне с высоты открылся чудесный вид: широкая река огромным полукругом делила городок пополам, кругом цвели сады, кое-где сверкали на солнце железные крыши.

Вскоре я вышел к реке. Дул ветер, и в жарком воздухе носилась пыль. У воды лежали перевернутые лодки. У самого берега поднималась из

воды ржавая, позеленевшая, затопленная баржа. На крутом противоположном берегу росли высокие сосны.

В реку вторгалась разбитая каменная пристань. У пристани располагился небольшой рынок. Десятка полтора торговцев пеклись на жаре, читая газеты под зонтами и навесами. Они лениво перебрасывались словами, утирали пот, пили газированную воду и смотрели на мир так, словно видят его уже три тысячи лет. В такую жару и без того тихий Каменск совсем обезлюдел – только я и эти отважные предприниматели были в тот час на берегу.

Я прошел по базарчику, размышляя, кому же они продают свой товар, если никого вокруг нет. Здесь торговали сувенирами и безделушками, связками сушеной рыбы, грибами и вареньем. Кто-то выставил пейзажи – все на крошечных холстах, сантиметров десять на двадцать. Еще один художник продавал другие работы: на его картинах кошки, собаки и вороны вели себя как люди – сидели за столами, пили чай и гуляли по улицам.

Я обрадовался, увидев на прилавках монеты. Но я постеснялся спросить цену – побоялся выдать свою неграмотность.

Изнемогая от желания приобрести пару монет, я, единственный покупатель, гулял у пристани туда и обратно, и торговцы провожали меня бесстрастными взглядами.

Я подошел к парню примерно моего возраста. Он продавал монеты и антиквариат. Парень читал книгу и в шутку переругивался с соседом, кудрявым толстяком, который выставил на прилавке плетеные корзинки и деревянные шкатулки. Я решил, что со сверстником вполне смогу объясниться.

– Бери. Сегодня дешевле, – сказал парень, не отрываясь от книги.

– Почему? – спросил я.

– В честь праздника.

– Какого еще? Нет никакого праздника.

– Сегодня день высадки Кортеса.

– Врешь! – засомневался я.

– Конечно, вру, – ответил парень. – Кортес высадился поздней осенью. Но так лучше товар берут: слова-то красивые. Давай решайся, – поторопил он меня. – Эта сотню, эта две – отдам за полторы. Что собираешь-то?

– Монеты княжества Люксембург, – ляпнул я с ходу и достал из кармана брелок.

Нахмурившись, он рассмотрел пробитую монету и сказал с разочарованием:

– Никогда так больше не делай.

На реке тем временем показался пароход. Увидев его, парень вышел из-под навеса. Остальные торговцы тоже заметно оживились.

Туристы на пароход плыли в город Ипатьев, полный исторических достопримечательностей. Но Ипатьев находился ниже по течению, и торговцы из Каменска на том и зарабатывали: они выставляли сувениры раньше, чем их соседи.

Корабль причалил, и туристы повалили на берег. Парень закричал, сложив ладони рупором:

Отдам дублон по цене батона,
А два дублона за два батона,
Три песеты за три сигареты.
Четыре марки за вина полчарки.

Пять песет за килограмм конфет.
Шесть крон за молока бидон.
Семь йен за обычный жульен.
Восемь су за колбасу.
Три франка...

Тут он осекся.

— А дальше? — спросил я.

— Дальше не придумал еще. Стихосложение — это не мое. У меня аналитический склад ума, — похвастался он. — Целый склад аналитики!

Коллеги по ремеслу посмеивались над парнем. Однако тот не стеснялся и во весь голос кричал стишок, чем смешил покупателей и привлекал их к своему товару.

Он продал пару вещей и, когда пароход ушел, сказал:

— Посторожи, я за водой сбегаяю. Если кто меня спросит, скажи — Арсений будет через пять секунд.

Я с удовольствием сел на его место, в тень под навесом, откуда мир казался совсем другим: словно ты — владелец важного состояния и снисходительно предлагаешь людям взглянуть на свои богатые кладовые.

* * *

На следующий день я снова пришел на рынок и застал там Арсения в полном одиночестве: в будни туристов было меньше. Арсений перенес лавку на пристань к самой воде. Налетал ветер и трепал газету в его руках.

— Привет, — сказал он, не отрываясь от чтения.

— Здорово, — ответил я. — Как торговля?

— Я стану богатым и счастливым — такой у меня план, — сказал Арсений и вдруг зачитал из газеты вслух: — Группа археологов ведет раскопки в областном городе. Как говорит начальник летней экспедиции, профессор, доктор исторических наук, специалист по второй половине тринадцатого века, академик, член-корреспондент, председатель общества медиевистов, заслуженный археолог Арнольд Иванович Полушкин: «Изыскания представляют несомненную ценность ...».

Не дочитав, он положил газету на прилавок и, чтоб она не улетела, придавил ее позеленевшим медным колоколом.

Арсений, казалось, не был рад моему приходу. Поначалу он хмурился и заносился. Я перебирал товар на его прилавке. Арсений всем видом и короткими ехидными фразами давал мне понять, насколько серьезно его ремесло и насколько неисчерпаемо мое дилетантство. Однако вскоре, слово за слово, Арсений разговорился. Мириады мыслей роились в голове у этого парня. Среди своих сверстников я впервые видел такое: много знать, не стесняться этого и не корчить из себя балбеса.

Мимо прошел пароход, он замедлил ход, но не остановился. На пристань забегали приятели Арсения. Они притаскивали с собой самый фантастический хлам и пытались его тут же Арсению продать. Мой новый друг их находки придирчиво оценивал, но ничего не покупал.

Вскоре Арсений совершенно сбросил свою мальчишескую гордость и спесь и, когда палящее солнце перевалило через зенит, сказал:

— По мороженому?

Мы просидели на набережной до вечера, и я, подросток, узнал за один день о множестве событий и занятий, о которых и малейшего понятия не имел: о добыче металлов, ковке мечей, искусственном интеллекте, изготовлении птичьих чучел, охоте на бекасов и четвертом крестовом походе (рассказ о последнем Арсений изрядно снабдил выдуманными подробностями и даже диалогами участников).

* * *

Теперь я приходил на рынок каждый день, а вечером помогал Сене тащить домой тяжеленные спортивные сумки с медными крестами, подсвечниками, деревянными иконами и сотнями монет. Сеня жил в двухэтажке, в тесной квартире. Обстановка там была спартанская: в комнатах самая простая мебель, стены – пустые, без всяких украшений. В прихожей громоздились стопой автопокрышки. Цветов на подоконниках не было – лишь колючее алоэ и пара кактусов смотрели в окно.

Его мать ни разу не появилась, и Сеня не говорил о ней. Но по вечерам каждый вечер мы встречали его отца. Этот маленький худой человек появлялся поздно вечером – в дымину пьяный и неудержимо буйный. Из нагрудного кармана его рубашки торчали чудом уцелевшие очки. Гнев его был неисчерпаем: он много и раскатисто кричал. По этим воплям и проклятиям любой бы понял, что человек этот борется каждый день с целым миром, ополчившимся на него. Накричавшись вдоволь, отец Арсения отправлялся на улицу, с зажженной сигаретой во рту, расправив плечи, совсем без следа той забитости, которую он принес домой и сбросил здесь, как тяжелый мешок со спины.

В субботу его отец возвратился домой почти без сознания. Я помог Арсению донести отца до комнаты и стоял столбом, не зная, куда деть себя от стыда. Арсений уложил отца на кровать. Снял с него ботинки, накрыл его легким одеялом. При этом Арсений разговаривал с отцом как с ровесником. Он укорял его за пьянство, но так бесстрастно, что ясно становилось: такая сцена – обычное дело в его доме. Уходя, Сеня поставил на тумбочку рядом с кроватью бутылку клюквенного морса и положил таблетки аспирина.

На следующее утро я вновь прибежал к Арсению: мы условились идти за город в поле, чтоб тренироваться в метании бумерангов. Тем утром его отец преобразился. В очках, сидя у окна, он читал затрепанного Джека Лондона.

Отец Арсения говорил тихим, но при этом уверенным голосом. Он расспросил меня, откуда я приехал. Вчера из него вырывался только мат, а теперь он разговаривал как старый школьный учитель и смотрел с пристальным вниманием большими и влажными глазами из-за сильных очков. Он приготовил нам завтрак и поел с нами, но больше я от него не слышал ни слова.

Арсений хоть и жил с отцом в одном доме, но жили они по отдельности, – у каждого собственный уклад и привычки. Отец проводил жизнь в большой комнате с телевизором и книжным шкафом. Книга в руке, телевизор работает без звука – словно этот человек читал по губам мировые новости. Сеня жил в длинной узкой комнате среди антикварного хлама, коллекций и различных артефактов, назначение которых было сомнительно, а происхождение покрыто тайной.

* * *

Так я пробыл в Каменске больше недели и за это время сдружился с Арсением. В последний день я просидел с ним на набережной до вечера. Я вспомнил, что завтра я должен уехать, и приуныл.

– Полезли на баржу, – сказал мой друг.

Мы спустились к реке и залезли на железный, нагретый солнцем борт.

Баржа покоилась в воде, словно железный цеппелин, что грохнулся в воду со страшной небесной высоты. Арсений снова много говорил, но я его почти не слушал, расстроенный отъездом.

– Смотри, чего покажу! – вдруг сказал он.

В борту ржавой баржи зияла дыра. Сеня зацепился носками за край борта и пополз вниз по борту, уходящему в воду под уклон. Сеня вытянулся и заглянул в эту дыру.

– Валяй за мной! – крикнул он.

Голос его прозвучал глухо, потому что Сеня почти наполовину залез в баржу.

Я проделал то же самое.

Мы висели вниз головой, и перевернутый мир, заключенный в барже, словно в капсуле, предстал перед нами. Плескалась вода, ударяясь о ржавый остов. Сквозь дыры и щели в бортах проникал солнечный свет. Он дробился на воде и чертил на дне причудливые рисунки. Стрекозы появлялись из темноты. Хрупкие крылья этих насекомых разбрасывали мельчайшие искры. Стрекозы застывали в солнечном пятне – их синие и зеленые тельца металлически блестели – и кидались прочь, так что глаз не успевал поймать их молниеносного полета, словно они исчезали и появлялись из ниоткуда. Роем вилась над водой мошкара, и на дне реки извивались водоросли.

– У меня тут неувязка вышла, – сказал Сеня, когда мы снова уселись на барже.

– Чего такое? – отозвался я.

– По весне мой напарник провалился в барсучью нору и сломал ногу, – сказал он трагическим тоном.

– Правда? – удивился я.

– Мне нужен новый напарник. Начался новый сезон. Пора идти на раскопки, – сказал Сеня, не ответив на мой вопрос, и тут же добавил тоном, не ждущим отказа: – Сверим часы!

Сверили: его механические и мои электронные с той минуты часто показывали одно и то же время – секунда в секунду.

Так Арсений легко меня завербовал, и я возвращался домой взволнованный и довольный, в предвкушении путешествия. Тайком от родителей я собрал рюкзак. Накануне отъезда я соврал им: сказал, что еду всего лишь к другу в Каменск. В ответ я получил наказ передать привет родственникам, ночевать только у них и не шляться почем зря (я, конечно, никаких приветов не передал – приветствие предназначалось главным образом той злобной старухе).

* * *

В Каменске мы встретились с Арсением на пустом одноэтажном вокзале.

– Сверим часы, – снова сказал он.

Мы сели в электричку и через полчаса вышли на никому не нужной остановке с названием «Пятнадцатый километр».

В лесу исчезала узкая тропа, тени деревьев лежали на мокрой траве. Электричка скрылась из виду, и наступила тишина. И тогда внезапно я почувствовал мистический зов дороги – непреодолимое желание идти в любую чащу и глушь, через топкие болота и знойные пустоши.

Мы двинулись в путь. Сеня шагал впереди. У него временами что-то звякало в рюкзаке – словно механический прибор с шестеренками отсчитывал пройденное расстояние.

Через час мы добрались до высокого холма, взобрались на него и начали раскопки. Сеня вручил мне удивительное орудие. Он громко именовал его «прототип дэ». Сеня сказал, что разработал специальный инструмент, чтоб не таскать с собой сразу несколько. Орудие состояло из короткой и крепкой палки, обмотанной синей изолентой для крепкого хвата, и заканчивалось узкой заточенной лопатой с кривым штыком сбоку. В целом вся конструкция напоминала алебарду.

Сеня бродил с металлоискателем. Я ковырял землю «прототипом» в тех местах, где Сене почудились звуки. Мы копали целый день. С вершины холма во все стороны открывался вид на синий лес. День выдался облачный, но когда солнце изредка показывалось, то шее становилось горячо и припекало согбенную спину, и во все стороны вдруг открывалась даль. Мы с Арсением не сговариваясь отрывали взгляд от земли, разгибались и смотрели вокруг, пили воду и отдыхали. Река сверкала серебряной нитью на горизонте, и дорога убегала тонкой белой лентой прочь. Но снова тяжелые облака наваливались друг на друга, перекашивались валами и скрывали солнце. Даль тонула в синей пасмурной дымке и, казалось, будто закрывается страшных размеров яркий глаз, что смотрел на землю.

Мы работали с таким воодушевлением и пылом, что к вечеру совершенно вымотались. Мы сплошь избороздили верхушку холма, но ничего не нашли, и Сеня расстроился, потому что его стройная теория о древнем городище провалилась.

Закончился первый день, и мы крепко заснули в палатке.

* * *

Следующим утром было пасмурно. Мы выбрались на шоссе и поехали на гремющем пыльном автобусе. Высадились на пустой остановке и снова пошагали по ухабистым, непроезжим дорогам. Мы проходили мимо заброшенных деревень. Дико и грубо торчали из зарослей бурьяна провалившиеся крыши. Памятник – свинцовый солдат со склоненной головой, с автоматом ППШ в опущенной руке, – подымался из зарослей на брошенной улице. Часть пути мы прошагали по дороге, покрытой толстым, по щиколотку, слоем пыли. Мы решили, что пыль лежала на дороге потому, что здесь долго никто не ездил.

На окраине большого заброшенного села нас встретила громадных размеров мельница. Хотя две лопасти у нее отломились, серое дерево казалось камнем, и мельница походила на крепостную башню.

Я развернул подробную карту, с которой Сеня все время сверялся, и увидел, что мы прошли нежилые деревни под названием Волки, Караси, Блины, Богатыри – я повторял про себя эти красивые и простые названия.

Погибшие дома, заросшие дороги и брошенные сады пробуждали в глубине души тяжелые, черные чувства. Даже Сеня раскис и потерял

сосредоточенность. Мы ковыряли землю то тут, то там, но Сеня не радовался находкам.

Я помню, как однажды в Каменске, в доме, где собрались тем летом мои родственники, один из старичков раскричался. Сей пламенный пророк вязал в единую сеть причин и следствий события прошлого настоящего и будущего. Он обладал невиданной эрудицией в довольно узкой области: он точно знал, кто, где и сколько своровал. Он называл всех властвующих воров по именам и приводил точные факты и даты, он обвинял во всех грехах тех людей, кто правит, правил и будет управлять страной в будущем. Старик раскрывал бесхарактерность, слабость и сребролюбие людей у власти. Глаза у взрослых тяжелели и мутнели, а мой приятель, что подарил мне раковину, во время кульминации той речи выругался шепотом и вышел. Женщины ахали и повторяли: ну как же так!

Завидую этому старичку – он узрел связь событий. Однако должен сказать, что ни одно из его страшных предсказаний до сих пор не сбылось. Прошло время людского напора на эти земли. Сейчас наступило время отлива. А те, наверху, что забрались с великим боем на пирамиду из людских тел, те, кого больше всего ругали, – да им просто дела нет до всего этого, у них же обе руки заняты, чтоб грозить лезущим наверх соперникам и перезаряжать пистолеты.

В тот день мы нашли несколько медных монет – позже мы собирались их почистить – и позеленевший медный крест. Мы перебрали артефакты, что-то выкинули, загрузили нужное в рюкзаки и пошагали обратно, в сторону дороги. Но мы выбились из намеченного плана, стало темнеть, и мы разбили палатку там, где застали нас сумерки.

Темнота скрыла пустые дома и брошенные сады. На фоне заката вдали высилась мельница, словно великан, что взмахнул могучими руками в дырявых рукавах.

* * *

На следующий день был долгий поход. Сеня торопился. Изредка мы останавливались где-нибудь, Сеня сверялся с картой и пробегался по полю с металлоискателем – только чтоб успокоить совесть. Я бежал за Сеней, рылся в земле и кидал находки в рюкзак.

Под вечер мы совершенно вымотались. Мы уничтожили почти все припасы и завтра собирались закончить наш рейд.

Хорошо помню, как дорога привела нас в березовую рощу. Деревья в роще были старые, их стволы почернели и огрубели у корней. Ветви берез низко нависали над узкой дорогой, которая то поворачивала, то поднималась, то падала в распадок, где в русле высохшего ручья лежал мосток из бревен. В роще было прохладно. Солнце садилось, и я вдруг подумал, что здесь, на этой старой дороге, в час заката, хорошо бы смотреть богатырь, что свернул у камня налево и теперь отправляется на роковой подвиг.

Мы вышли на широкий луг и вдалеке увидели дом. Он стоял на пологом холме, крепкий, высокий, с широкой оградой. У нас обычно так не живут: все жмутся друг к другу.

Вокруг дома росли старые липы и дубы. Хозяйство сторожили крупные собаки – они басом лаяли на нас издали, выбегали за изгородь, но не приближались. Мне казалось, что из окон дома кто-то пристально наблюдает за нами.

– Кто живет здесь? – спросил я напарника.

Сеня пожал плечами.

Мне так хотелось зайти в этот дом. Мне хотелось знать, как живут подобные люди на отшибе от остальных, что они знают, что любят. Я взял у Сени бинокль и рассмотрел дом издалека. В окнах я никого не заметил. За домом оказалась обширная пасека, а за ней раскинулось целое поле синего люпина. Я увидел, как пес, что лаял на нас, улегся в тени у дверей и клацал зубами – ловил мух. Но Сеня меня поторопил, и нам снова пришлось торить путь через поле, оставляя тайну позади – и в этом тоже таилась особенная прелесть.

Мое безмятежное настроение грубо прервал крепкий бычок с широким кудрявым лбом. Он бродил без всякой привязи за кривой изгородью, которая тянулась вдоль неглубокого ручья. Бык отыскал в старом заборе дыру и кинулся на нас. Мы скинули с плеч каменные рюкзаки и с криками разбежались в разные стороны, чем сбили быка с толку. Тот стал как вкопанный, помотал башкой и вернулся в загон, а мы подкрались, подобрали нашу поклажу и убежали прочь.

* * *

Вечером мы развели костер и поужинали. Сеня надолго задумался и замолчал. Я расстелил пенку и улегся около костра.

– Я пишу роман. Исторический. Об испанских завоевателях. Знаешь таких? – прервал тишину Сеня.

– Слыхал, – ответил я.

Со смущением и одновременно дерзостью в лице Арсений передал мне пухлую мятую тетрадь и сказал:

– Почитай. Мне нужен первый читатель. Начинай с середины, где закладка. Впереди неудачный кусок. Надо переделать. Короче, в джунгли они залезли без проводников и топают.

В тетради среди мелкого рукописного текста часто попадались вклеенные альбомные листы. На них Сеня криво нарисовал простым карандашом испанцев с донкихотскими усами и носатых ацтеков.

При свете костра я читал:

...мы погибали в краю диких язычников. По ночам пантеры наблюдали за нами из кустов. Их желтые глаза светились то тут, то там. Пантеры задрали десяток лошадей, в том числе и моего верного иноходца Гамилькара. Обезьяны воровали из наших рюкзаков припасы, и мы жестоко голодали. Мухи величиной с воробья впивались в наши руки, лица и другие неприкрытые одеждой части тела, и многих сразила лихорадка. Лошади ломали ноги на дьявольском бездорожье, а наш капеллан сошел с ума.

На тридцатый день джунгли расступились. Мы вышли на бескрайнее маисовое поле. И тут в воздухе засвистели стрелы. Индейцы, разрази их гром, числом не менее ста тысяч, бросились на нас из засады с криком войны и ярости. Наш барабан забил тревогу. Наше знамя взметнулось ввысь и затрепетало. Ощетинились пики. Мушкетеры дали залп, и поле заволочло пороховым дымом. Двадцать тысяч индейцев, сраженные насмерть, пали наземь. Еще тридцать тысяч, обманутые дымовой завесой, пробежали мимо нас, попали в болото и утонули в трясине. Разъяренный битвой капеллан, размахивая крестом и рапирой, успел обратить десяток варваров, пробежавших мимо, в истинную веру.

Однако битва разгорелась с ужасной силой. Кровь лилась на землю. Безбожники теснили нас к лесу, и не оставалось надежд на спасение, но наш мудрый и храбрый дон Мигель приказал:

– Заряжай!

Мы развернули нашу пушку. Мы забили в нее порох. Мы закатали в нее тридцатифунтовое ядро. Наводчика пронзила отравленная стрела, и он рухнул на землю. Камень попал заряжающему по голове, но герой все же успел крепко забить пороховой заряд.

Тогда дон Мигель скомандовал:

– Пали!

Залп сломил дух язычников, и они обратились в бегство, побросав обсидиановые копья, деревянные дубинки, луки, стрелы, кинжалы из вулканического стекла, мечи из железного дерева, пращи, дротики, палицы, боевые топоры, знамена с изображением языческих богов, щиты, украшенные птичьими перьями, и копьёметалки. Выстрел из пушки сорвал листья с пальм. Спутнул стаю фламинго. Убил наповал десяток обезьян – они попадали с деревьев на землю. От грохота нашей пушки кокосы посыпались нам на головы и застучали по шлемам, а вдали с горы сошла лавина.

Пересчитав убитых и раненых, сделав переключку и воздав хвалу создателю за спасение от неминуемой гибели, мы двинулись дальше.

– Сильная сцена, – сказал я.

– Там, где они говорят с Великим Инкой? Да, она мне тоже нравится. Я пишу ее уже второй месяц.

– Нет, там, где с индейцами дерутся, – уточнил я.

– А, ну это так, баловство. Я пытался передать ужас кровавой битвы, но при этом старался не погрешить против исторической и психологической правды.

– По-моему, получилось, – ответил я.

– Нужно доработать, – сказал Сеня довольно, зевнул и залез в палатку.

Я прочитал еще несколько страниц. Отряд маршировал по неизведанной земле. Людей косили болезни. Сумасшедший капеллан на время пришел в себя и беседовал с мудрым и храбрым доном Мигелем о своем визионерском опыте. Невидимый же рассказчик, все время говоривший «мы», видел белые города и золотые пирамиды, что высились в джунглях, но никак не подпускали отряд к себе.

За чтением я уснул, и мне снились безобразно усатые испанцы в черных шляпах и кружевных воротничках и смуглые горбоносые индейцы. И еще мне снился пернатый Кецалькоатль. Он дремал, словно кот, свернувшись на ветвях исполинской плакучей березы, крона которой терялась в облаках.

* * *

Утром мы добрались до шоссе. Мимо в сторону столицы проносились фуры. Вскоре мы поймали попутку и к полудню уже добрались до Ипатьева. В городе Сеня привел нас на квартиру к приятелю. Мы долго жали на звонок и уже собрались уходить, как дверь вдруг резко открылась. Из квартиры выглянул толстый белокрысыый очкарик. Он жевал бутерброд. Взгляд его был встревожен и глубок.

– Заходите. Родители на даче, – сказал он.

Как только мы вошли, парень перестал обращать на нас внимания: в столовой за столом он рисовал в тетрадке сложные формулы. Мы бросили на пол рюкзак. Отдохнули. Попили чаю. Подремали: я в кресле, а Сеня на диване.

– Физик! – сказал с уважением Сеня, когда мы пошли гулять. – Мозги из ушей льются – такой умный парняга. Лето, а он задачки грызет!

Полдня мы гуляли по Ипатьеву. Река здесь была шире, и сам город раскинулся на обоих ее берегах. Туристы бродили по набережной, вокруг полуразрушенного кремля и по узким улицам с белыми церквушками.

Мы купили квас и пирожки. Посидели на набережной. Искупались. Снова гуляли по городу.

Я блаженствовал: стремительная смена событий и наше путешествие, незнакомый город и жаркое лето – все мне говорило о том, как свободен человек, и о том, что нет для нас никаких границ, ни внутри, ни снаружи, и можно идти куда угодно, – именно так, по-юношески и наивно и смело, я размышлял тогда.

Ближе к вечеру мы снова жутко захотели есть и утолили голод пельменями в столовой, где кроме нас ужинал потрепанный хмурый мужчина подозрительного вида.

Вечером, когда стемнело, мы вернулись к физику за рюкзаками.

– Оставайтесь, – сказал он. – Родители будут завтра вечером.

Сеня отказался, и мы отправились пешком на вокзал. Я уже предвкушал, как мы поедем на ночной электричке домой: за окнами в темноте пролетают редкие огни, и Арсений рассказывает новые истории, можно грезить, можно дремать, можно думать о чем угодно. Это стало бы хорошим завершением нашего похода.

Однако перед самым вокзалом Арсений свернул и повел меня темными улицами в сторону кремля. На мои вопросы он не отвечал. Мы спустились к реке. Затем поднялись в крутую гору по улице, где стояли заброшенные дома. Свернули во двор, перелезли через забор, пробрались через парк, где белел в кустах памятник. Мы вышли на пустырь и наконец остановились. Вокруг в темноте высились деревянные двухэтажные дома. Вдали светились огни многоэтажек. Два ярких фонаря освещали свежий археологический раскоп. Сеня бросил рюкзак на землю и достал налобные фонарики: один отдал мне, другой надел на голову сам. Затем вытащил две пары резиновых перчаток, кусачки и нож. Арсений взял себе нож, а кусачки сунул мне в руки. Все это он проделал так быстро, что я не успел ничего спросить.

– Я верю – будет крупная добыча! Ты понимаешь – у каждого есть такой случай. Каждый может найти клад! Я чувствую – так и будет, – горячо зашептал Арсений.

Сеня говорил все быстрее и быстрее. Из его торопливого рассказа я понял, что мой друг давно вынашивал эту идею – ограбить археологов. Он разработал подробный план, тренировался дома и пришел к выводу, что один не сможет бегать с металлоискателем и одновременно рыться в земле, – обязательно нужен помощник.

– Я режу провод на той стороне – там опаснее. Ты на этой. Свет вырубается. Бежим рыть. Фонарики включать только в крайнем случае, – закончил Сеня свою речь.

– Чего раньше-то молчал? – прошепел я.

– А вдруг ты трус? – сказал он с вызовом.

Такого я вытерпеть не мог. Я кинулся к столбу и перекусил инструментом толстый провод. Свет погас. Сеня убежал на другую сторону раскопа. Он прыгнул в траншею. Голова его мелькнула в окопе. Сеня выскочил из ямы и подбежал к столбу. Он долго возился, и я видел, как он перерезал провод, но свет чудесным образом так и не погас.

Сеня вернулся, прыгая через ямы, и мы приступили к делу.

Далеко в переулке изредка мелькали огни машин. Мы торопились. Ночь была теплая, и я вспотел, раскидывая землю «прототипом дэ». Сеня сновал с металлоискателем и молча тыкал в землю пальцем, показывая, где копать. Нам попадались какие-то железяки, скобы, гвозди – ничего стоящего.

Рядом во дворе засмеялись. Замелькали огни сигарет. Мы пригнулись, но работы не бросили.

Мы долго рылись в земле. Руки заныли. Мы даже пару раз отдохнули и решили, что в эту короткую летнюю ночь мы будем искать сокровища до рассвета.

Вскоре прототип глухо ударил твердому предмету. Я разрыл землю, включил фонарь и увидел горшок, застрявший между обгорелыми бревнами. Я позвал Арсения. Он подбежал ко мне с металлоискателем наперевес.

– Слава Нептуну! – завопил Сеня и добавил тише, спохватившись: – Роем!

Я стал разбивать инструментом твердые бревна. Арсений подкапывал горшок широким ножом.

Горшок не поддавался. Земля была каменистая, а бревна тяжелые и твердые. Но я изо всех сил хлестал прототипом, а Сеня без устали орудовал ножом, так что во все стороны летели камни, куски дерева и комья земли. Мы увлеклись работой и почти выкопали горшок, но сердитый окрик остановил нас:

– Эй! Кто такие?!

На дороге стоял милицейский козелок. Служитель закона светил на нас фонарем. От милиционера нас отделял широкий ров.

Я застыл с алебардой в руках. Арсений не торопясь разогнулся и ответил так, будто его отрывают от работы:

– Мы археологи, товарищ милицейский. А в чем проблемы?

Луч фонаря скользнул по нашим рюкзакам и снова ударил в глаза.

– А чего так поздно роетесь, археологи? – спросил милиционер.

– Недовыполнение плана, – ответил Арсений, пряча за спину нож с зазубренным обухом.

Мне показалось, блюститель закона смягчился. И даже его фонарь как будто стал светить мягче и спокойней.

– Так, понятно, – сказал милиционер и добавил, как мне показалось, с подвохом: – А где же Арнольд Иванович?

– Арнольд Иванович сегодня приболел, у него расстройство желудка, – ответил Сеня так, словно готовился к такому вопросу.

– Заболел, да? – усмехнулся милиционер. – Ну-ка, я сейчас проверю!

Он посветил фонарем вправо и влево. Не найдя обходного пути, милиционер ступил на шаткую длинную доску, криво переброшенную через ров, и двинулся прямо к нам.

Арсений бросился навстречу милиционеру. С разбегу, падая на бок, как футболист, который делает подкат, Арсений ударил ногами по доске с нашей стороны рва. Доска сдвинулась и соскользнула в ров. Посыпались камни и земля. Милиционер взмахнул руками. Фонарик выскользнул из его рук, взлетел и закрутился в воздухе. Вспышки фонаря выхватывали из тьмы падающего старшину (я успел рассмотреть погоны). Милиционер, поминая бога и мать, тяжело скатился в ров. Сеня тоже сорвался вниз, но ухватился за край траншеи и выскочил оттуда первым.

Из рва загавкала рация.

– Подкрепление вызывает! – прошипел Арсений и скомандовал: – Ломай!

Я воткнул прототип под горшок. Сеня прыгнул на ручку инструмента. Ручка хрустнула, Сеня упал, но горшок выскочил из земли. Я схватил горшок, помог Сене подняться, и мы побежали.

И после милицейский козелок рычал позади и шнырял по задворкам. Эхо от нашего топота металось по ночным дворам. Залаял пес. Хлопнуло окно. Из подъезда ударила в уши оглушительная музыка. В какой-то узкой арке мы спугнули компанию – те прижались к стенам, пропуская нас и заматерились.

Мне показалось, что надо швырнуть сокровища из горшка на дорогу, пожертвовать ими, чтоб преследователи кинулись их собирать, передрались и устроили перестрелку.

Мы перелезли через деревянный забор. Проскользнули в дыру в железной сетке, где Сеня оставил на острой проволоке клочья одежды, а я порвал рюкзак.

Погоня потеряла нас в кривых переулках. В темном дворе мы сбросили рюкзаки с плеч и упали на землю. Мы хрипели и из последних сил смеялись.

Мы отдышались, отдохнули, взвалили рюкзаки на плечи и двинулись дальше. Прошагав по безлюдным переулкам с полчаса, мы вдруг выскочили из темной арки на шумную улицу. Здесь шатались пьяные компании. Горели витрины ночных клубов. Проносились ночные такси.

Мы хохотали и перебрасывали друг другу тяжелый горшок, словно мяч, и Арсений, совсем обезумевший от удачи, рассказывал мне о пиратах и йомсвикингах, солдатских императорах и гладиаторах, крестовых походах, прериях и индейцах, бородатых древних персах и коварных византийцах. И, клянусь, то были самые интересные истории, которые я когда-либо слышал.

* * *

В сентябре Арсений приехал ко мне на «Ниве», выкрашенной в красный цвет, но с зеленой водительской дверью.

– Купили с отцом! – похвастался он.

Мы прошли через площадь и усадились на скамейке у высохшего фонтана, закиданного мусором.

Арсений передал мне газету «Каменский вестник», июльский номер. Я прочитал название статьи: «Расхитители гробниц – кто они?» Репортер писал: «...оголтелые молодчики и подрастающие бандиты, не имеющие уважения к прошлому. В их сердце нет ничего святого, – там проросли семена подлости, там цветет желание наживы и легких денег. Они грабят наше историческое достояние и сопротивляются закону...» – ну и так далее. По первым же словам стало ясно мне, что автору писать статью было скучно, хотя он и употреблял слова резкие и чуть ли не бранные.

Когда я пробежал глазами заметку, Арсений передал мне с важным и загадочным видом пакет. В пакете оказались монеты и плоский кусок металла. Арсений сказал, что разделил добычу из горшка поровну. Он расписал монеты так, будто теперь у нас в руках целое состояние, а кусок металла, по его словам, оказался личной печатью древнего князя или, чем черт не шутит, самого царя.

Однако вскоре я разобрался и понял, что монеты на самом деле – никчемные медяки, а печать – обыкновенная железка, на которой время оставило случайный узор, похожий на вензель.

Позже я вытянул из Арсения признание, и он сказал, что в горшке оказалась земля, а в ней веретено, ложка, рыбья чешуя, гребень для волос и та самая «печать». В общем, один хлам. Монеты Сеня выдал из своей коллекции. Он сказал, что боялся выглядеть неудачником в моих глазах и потерять напарника и совершил обман во благо.

Такие находки, конечно, мне были не нужны. Но вырезку из газеты я долго хранил как свидетельство нашей юношеской отваги. Я держал сложенную статью в записной книжке. Как-то пару раз разворачивал ее и перечитывал. И в памяти сразу же всплывало наше путешествие и ночной поход за сокровищами в спящем городе. Вырезка из газеты в конце концов истрепалась совершенно и наконец куда-то пропала.

Но в том сентябре я ликовал, получив половину богатств. И Арсений, довольный и умиротворенный, совсем потеряв стыд и сам, кажется, поверив в свое чудесное вранье, все расписывал наши сокровища.

– Скучно у вас тут, – закончил он, разглядывая пустую площадь и желтые клены.

И добавил, показав на ларек:

– По мороженому?

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И.П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы, и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси». Лауреат Всероссийских премий имени А. П. Платонова (2011), Ф. Н. Глинки (2012), С. С. Бехтеева (2014), Н. С. Лескова (2019), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017).

Живет в Москве.

ДЕВИЧЬЯ КРАСА

— На нашем берегу ночь стояла дремучая, такой густой тьмы я никогда в жизни не видела. На подходе к реке было так много милиции, что протиснуться к пристани было невозможно. На правый берег переправлялись на паромах, катерах, лодках. Призывников встречали военные и сразу отправляли на станцию. Мама моя с кумой хотели перебираться вплавь, но Волга так разволновалась, так расчувствовалась, словно знала, что в последний путь провожает, и женщины наши плыть не решились. Они долго шли по берегу, наткнулись на удильщика, он и перевез преданную двоицу на берег расставаний. Несколькими километрами до станции шли пешком, а там мама у самого эшелона папу и отыскала. Уже из вагона папа крикнул: «Ириша, только Томочке косы не стриги!»

А в конце лета в праздник Сретения Владимирской иконы Божьей Матери мы получили единственное письмо от папы. Он воевал под городом Великие Луки. Как папа наказал, продали все: свиней, козу, кур, всю его одежду, только образ Богородицы берегли.

Помню, я маленькая совсем, а папа несет меня на руках в громадный собор, что красовался на крутом волжском берегу. Я такой красоты, как наш пятиглавый Покровский собор, не забуду никогда. Пять вызолоченных куполов в солнечный день были видимы на 15–20 верст окрест. Рядом с царственным храмом красовались церковь Живоначала́ной Троицы и колокольня. Эту нашу городскую нарядность испоганили, маковки сорвали, иконы пожгли, а сосуды богослужебные, кресты,

оклады иконные – все на переплавку пустили, одежды священников, покровы на престольные на половики и тряпки изодрали, мы всем городом взвыли, когда из икон кормушки для скота мастерили, а сколько ликов святых на собачьи будки пошло. Прости, Господи! Помню запах тех костров, странный он был, ладан напоминал, а дымовая завеса возносилась в небо и пахла смирной. Папа выменял у солдат икону Владимирской Божьей Матери, вот эту, – и бабушка показала на образ, который висит над моей кроватью с рождения.

– В тот год осени почти не было, студеная зима подоспела рано. Около дома мы выкопали траншеи, женщины лопатами работали, а мы ведрами таскали вымерзшую землю. За городом вначале копали окопы все, кто у церковного клироса собирался, а потом и вся улица Пушкина пришла, а за ней и Урицкого, и Володарского. Мама с подругами кирками и ломиками раскалывали землю, а мы вручную выкидывали обмерзлые земляные глыбы. Озябли, есть хотелось, а я все мнила, что окоп мой папе достанется. А потом налетели «лаптежники» и давай бомбить, вой от «юнкерсов» ярый исходил, я от страха коченела. Рвануло рядом с блиндажом, в укрытие никто не успел. Маму отшвырнуло взрывной волной, а меня покорежило, осколки попали в грудь, шею и голову, а самый большой в косах запутался. Очнулась, а вокруг меня соседские ребятишки лежали и родители вперемешку. Алый снег перемешался с грязью, и все это каменело на глазах. Потом в госпитале меня подлечили, только ранение в грудь давало о себе знать, от попавшей слякоти сильнейшее нагноение образовалось, вылечить не могли. Раз в три дня мама сажала меня на санки и тащила на перевязку через обледеневшую Волгу на правый берег. Госпиталь на нашем берегу «лаптежники» разбомбили сразу, как мама меня увезла домой. От врачебного дома остались только дымок и кирпично-черная россыпь.

На мой день рождения, после Рождества, похоронка пришла. Папа пропал без вести. Только маму знать надо было. Ее ни война, ни холод, ни голод остановить не могли. Мама молилась, писала, ходила, просила, но о муже своем знать хотела все: где? когда? Веровала, что недоразумение, надеялась, что папа ранен или контужен. Мама большая постница была, все, как положено уставом церковным, соблюдала. Таких-то, как мама, Богородица завсегда услышит. Как блокаду Ленинграда прорвали, так мы ответ и получили. Папа утонул в Ладожском озере. В декабре сорок первого. Он возглавлял продовольственный обоз, который прорывался к блокадникам. Сидел за рулем первой полуторки, в ней и ушел под лед во время налета смертоносной стаи. Размашистая могила у папы, «Дорогой жизни» он одним из первых шел.

Она замолчала. Глядя на нее, я стыдливо косился на подарочную коробку, приготовленную для моего крестника, на которой было написано:

Предлагаем Вам один из легендарных самолетов Второй мировой войны, грозный истребитель танков «Юнкерс Ju-87G2» (нем. название «Юнкерс», рус. прозвище «штука», «певун», «лаптежник», реже «лапотник» – одномоторный двухместный пикирующий бомбардировщик и штурмовик времен Второй мировой войны. Этот с виду неказистый, угловатый пикировщик стал, по сути, самым узнаваемым самолетом люфтваффе. За неубирающиеся шасси советские солдаты прозвали его «лаптежником» или «лапотником». Также данный самолет получил прозвище «штука» – от нем. Sturzkampfflugzeug – обозначения всех пикирующих бомбардировщиков. Ju-87 имел некоторое сходство с хищной птицей, а в

его угловатых контурах просматривалось что-то дьявольское – радиатор пикировщика напоминал широко разинутую пасть, а неубирающиеся стойки шасси с объемными обтекателями напоминали выпущенные когти. Все эти особенности машины производили сильный психологический эффект на тех, на кого пикирующий бомбардировщик с неумолимой точностью сбрасывал свои бомбы), который стоял на вооружении фашистских оккупационных войск! Этот истребитель долгое время был настоящей грозой неба, наносящей ощутимый урон нашим боевым танковым частям. Он был одним из массовых летательных аппаратов, созданных немецкими конструкторами из конструкторского бюро «Юнкерс». Вооружен он был мощными пулеметами и длинноствольной 37-мм пушкой. У него изящные, хищные линии, за которыми скрывается огневая мощь того времени и высокая маневренность. Конечно, таких машин сохранилось со времен войны очень мало, но Вы сможете Вашего малыша приобщить к этому историческому раритету. В нем воплотились многие прогрессивные технологии середины тридцатых и начала сороковых годов прошлого столетия. Подарите ему этот набор!

А бабуля продолжала:

– В крещенские морозы наша сибирская кошка запрыгнула ко мне в постель и давай тереться об меня и урчать, а потом начала вылизывать мне рану, я сначала не давала, боялась. А потом до самого Благовеста я просыпалась каждое утро от нежного мурлыканья и ухода за незаживающей раной нашего хваткого крысолова, а на Вербохлест хворь моя вся вышла.

Сердечная неугомонность, радость детских воспоминаний не покидали маму моей мамы, и она продолжила:

– Школа была рядом с домом, но ее из-за бомбежек за-крыли. Учились дома, окна всегда завешивали одеялами

или простынями. Мы все боялись, разбомбят немцы плотину и большой Волгой нас всех смоем.

А в мае на Владимирскую к нам на постой определили трех красноармейцев, никогда их не забуду. Я сизмальства любила стирать. И так мне в свои одиннадцать лет стирать нравилось, все чудилось, что папе кто-то стирает сейчас гимнастерку, шаровары или исподнее. Навалила я в бельевую корзину грязных вещей защитного и белого цвета – и на Волгу, а со мной и соседские девчонки увязались. Пока стирали, так раздухарились, что очередную атаку самолетов не заметили. «Лаптежник» оторвался от стального косяка, спикировал на нас под адские вопли. Взрывом меня оглушило. Я упала в воду и пошла ко дну. Слава богу, постоялец наш увидел, как я тону, и прыгнул за мной, схватил за косы и вытянул меня, а немец все осыпал и осыпал нас пулеметными очередями.

Рассказывая, она словно пребывала там, на волжском берегу. Бабуля была потрясающе улыбчива.

Еще раз я посмотрел на модную цветастую коробку: маскировочный окрас, на крыльях черные кресты, свастика на хвосте, а на разрисованном фюзеляже скотская змеиная пасть, а под ним полыхающая Русь, Волга и моя бабушка. Я читал и не верил своим глазам:

С помощью подробной инструкции малыш сможет подготовить все необходимое для изготовления модели. Сможет самостоятельно или с Вашей помощью склеить модель с помощью клея, входящего в набор. И затем раскрасить самолет в соответствии с боевой окраской техники военного времени. Процесс сборки модели способствует развитию мелкой моторики рук, усидчивости, повышенной вни-

мательности. Пусть у Вашего малыша появится уникальное увлечение и со временем внушительная коллекция моделей летающих моделей всего мира.

Начните с этой модели создание коллекции уникальных игрушек! Рекомендуются для детей 8–12 лет и старше.

– Через некоторое время защитники наши нас покидали, напоследок они оставили нам две банки тушенки, куска три сахара и морковный чай, в тот день я впервые насытилась за первый мерзлый военный год. Спаситель мой на папу был похож, высоченный, светловолосый, голубоглазый. До войны он работал плотником в Боголюбове, что под Владимиром. Он носил сильно полинявшую гимнастерку, на которой выделялось несколько маленьких латок, на петлицах три треугольника, а на пряжке рыжего ремня сияла звезда. Грудь солдата украшала медаль на багровой колодке с красной надписью: «СССР». Помню сверкающие его начищенные сапоги и автомат с круглым диском.

Поздней осенью пришло письмо от нашего гостя, он воевал под Волховом, был ранен во время налета «юнкерсов», а в госпитале повстречал моего папу, который строго-настрого приказывал мне не стричь косы.

Бабушка расплела снежного цвета косы и расчесывала их гребешком моей прабабки, который когда-то смастерил ее погибший муж. Урчала трехцветная персидская кошка, лежавшая на коленях у говорливой старушки, а вокруг образа, дарованного Вселенной Евангелистом Лукой, кружила тополиная кидь.

Я вышел на лестничную площадку, открыл мусоропровод и отправил в последний путь «штуку» – это грозное оружие люфтваффе.

ПЛОДОНОСНЫЙ БОЛЬШАК

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, вся воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света...

Пс. 148:1–3

Своим появлением бабуля нарушила тишину. Еще из коридора было слышно ее тяжелое пошаркивание. Прихрамывая, она вошла на кухню. Ее редкие белые волосы были распущены, бабушка облокотилась на стол и присела. Отдыхалась и, астматически прокашливаясь, начала разговор:

– Сталин когда умер, мы всем городом плакали, казалось, наше многодневное рыдание может затопить всю округу. Сталин для нас главный человек на земле был! Спаситель с Богородицей все с небес наблюдали и укрывали нас с предстоящими ангелами и угодниками, а он здесь был определен. Мы каждое божье утро дома молились, а в школу придем – читают нам писанину бесовскую. Ужасались мы по-детски от всех этих ненавистников рода человеческого: Ярославского, Румянцева, Кандидова*. Только вождь своре этой лютой с их ревущей ересью и музеями сатанинскими языки в тугой узел закрутил. От него и народу православному после войны послабление пришло. Мы же тогда ничего, ничего не знали.

Перед самым концом войны домой прибежала заплаканная и ликующая мама, в руках она держала икону преподобного Сергия Радонежского. Мама увидела, как вынесли несколько икон из дома умершей старушки напротив, милиция передала образа работникам городского НКВД. Мама отправилась за чекистами. Напросилась к оперативнику, а когда вошла в кабинет, увидела икону преподобного Сергия, которая лежала на столе перемаранная чернилами, вся в окурках. Мама зарыдала и схватила икону со стола, оперативник на нее стал орать, выхватил икону и остолбенел: горячие мамины слезы размыли чернила и пепел. Офицер быстро пришел в себя, отдал маме икону, фыркнул и выставил за дверь. В морозный сочельник сорок пятого мама рассказала

* Антирелигиозной политикой в СССР руководил Ярославский (Губельман) профессиональный революционер, деятель Коммунистической партии, идеолог антирелигиозной политики, председатель «Союза воинствующих безбожников». Активными деятелями являлись Румянцев (Шнайдер) – автор ряда работ по истории христианства, принимавший активное участие в работе общества «Атеист» и в «Союзе воинствующих безбожников», Кандидов (Фридман) – один из организаторов Центрального антирелигиозного музея. В своих публикациях разоблачал реакционную деятельность РПЦ в годы революции и Гражданской войны, Захаров (Эдельштейн), Ранович, Шахнович и многие другие.

мне о явлении преподобного Сергия императору Франции Наполеону на звоннице Ивана Великого, после чего с французским завоевателем случилось помешательство. Историю эту маме пересказала сестра прабабушки, которая была насельницей Спасо-Бородинской обители.

После войны я окончила пятилетку. Наше это слово – «пятилетка»! Страну поднимали, отработывая пятилетку в четыре года, да и военное пятилетие в четыре года улеглось, вот и первую послевоенную пятилетку тоже в четыре года отпахали. Важный седьмой класс я окончила уже в вечерней школе, была круглой отличницей, потом ремесленное училище, вот тогда-то мне и повезло в первый раз. В учении первый помощник преподобный и богоносный отче Сергий, игумен Радонежский, все успехи мои – его благодать. А когда нам путевку выделили – одну на город – и ее при всем честном народе на собрании вручили мне, я от счастья плакала! Всю ночь Спасителя, Богородицу и Николая Угодника и преподобного Сергия благодарила. В поезд села, а в купе до самого Черного моря ехала с Любовью Орловой. Если бы ты только знал, какой чертог счастья в сердце моем просиял. Всю дорогу лучшая актриса страны мне, словно Пресвятая Дева Мария, улыбалась, я слова вымолвить не могла, стеснялась... все мы такие были. На обратном пути из Евпатории я купила на сэкономленные деньги мешок семечек, а мама их продавала по стаканчику, так у нас появились деньги, и я купила первую пластинку. Как я любила песни! Танцы! Танго, фокс-трой! Сердечный Леонид Утесов, Изабелла Юрьева, Лидочка Русланова – разве забудешь их голоса. Только во время Великого поста мама не разрешала даже подходить к патефону.

А после войны как о нас страна заботилась! Голод шатался повальный, а нам за городом участок выделили. Не забыли!

Она развела руками и еле слышно добавила:

– Вот нам и стало где картошку сажать. Что там возле дома вырастишь – помидоры, огурчики, петрушку, лук, укроп? А здесь – надел, и свой! На луговину мы с мамой ходили пешком – от города полтора километра. Целина – так земля, выделенная страной, по-ученому называлась. Целина заросла травой, правда, невысокой, ну так, по локоть, копать ее тяжело. Бывало, надавишь на лопату, вытащишь ком и долбишь, – она поправила белоснежную прядь, и я заметил, как после болезни изменились ее ухоженные руки. Костлявые ладони были обтянуты кожей, подаренное моей прабабушкой кольцо еле держалось на пальце, только аккуратные ногти напоминали о бывлой красоте рук.

– А счастье в наш дом подоспело с землей! После ремесленного меня на обувную фабрику взяли работать. Я уже тогда рабочий стаж имела, в ремесленном как учили: день работаешь – день учишься, так что с производством я была знакома. Поначалу клапана строчила, потом посадили на ремешки, но у меня все так спорилось, что когда земля пришла, у меня уже высший девятый разряд был, я союзки строчила и в передовиках числилась. По весне на нашу фабрику земельные участки выделяли. По городу все бегали и кричали: «Земля пришла! Земля пришла!» У меня насчитали двести пятьдесят трудодней! Ни у кого столько не было! Я сама выбирать любой участок могла. Самая хорошая земля была у кладбища, вот там истинное плодоносье, но я покойников боялась. Поэтому и выбрала участок у большака. Все в городе недоумевали. Ведь у большака что за участок – сплошной песок. Ладно бы песок, весь надел загажен был: раньше на этом месте конюшня располагалась, которую после революции пожгли, потом скотный двор (его перед са-

мой войной в техстанцию преобразовали). А в войну МТС разбомбили вчистую, на этой выжженной земле образовалась свалка, да еще и под уклоном. Эту помойную яму мы с мамой и вычищали. Многому я в то время научилась: выкапывала обломки бомб, выгребала стекольные осколки, строгала и пилила тес, ямки вручную копала, а в июльскую сушь за водой на Волгу ходила. Ведра три всегда притаскивала, вот грыжа у меня и образовалась. Потом за пометом лошадиным и коровьим на другой конец города ходила. Мешками на себе волокла. Мешки нетяжелые были, я брала килограмм по восемь или двенадцать. Это ведь самое что ни на есть удобрение. Разводили все это духовитое снадобье в бочке – и все кругом плодоносило. С конца весны в пять часов каждый день вставала, до работы поливала и водой, и раствором. Маме моей уже не по силам помогать мне стало, она вставала на колени в сердцеvine сада и шепотом напевала: «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в земли пугте и непроходне, и безводне...»

Бабушка встала ко мне вполоборота, я еще раз посмотрел на ее грыжу, похожую на детский регбийный мяч, которая выпирала из ночной рубашки.

– Ты чего засуетилась, бабуль?

– Воды хочу попить.

– Да сиди, я тебе сейчас налью.

– Нет. Сама хочу. Трудиться с детства люблю. Как без этого? – тяжело передвигаясь, отвечала упряmica.

Бабуля утолила жажду, присела, сложила руки, положила на них голову и продолжила:

– И зацвел у нас сад! Все у нас росло! Ни птичьи налеты не помещали, ни каменистые места, ни кочки, ни сорняки, ни заморозки, ни ливни, ни засуха – всходило все, даже упавшее при дороге прорастало. Наперебой участок у нас купить хотели! Но продать я могла только своим, фабричным. Пятнадцать яблонь разных сортов: антоновка, анис, штрифель, розмарин, папировка, грушовка, китайка... А груши какие! А сливы! Только одного крыжовника двенадцать кустов наросло, ягоды были трех сортов и знатные – величиной со сливу, смородина красная и черная, клубника, малина, земляника, черноплодка, которая от давления помогает.

Глаза ее были закрыты, мне показалось, что она заснула. Неожиданно словно в забытии она вымолвила:

– А когда похорошели посаженные тюльпаны, гвоздики, розы, маргаритки, незабудки, нарциссы и благоуханный запах вместе с маминой псалмодией мимолетный сухой разносил во все стороны большака, удивлению людскому конца и края не было. Мама сказывала, что сад наш – земная хвала Господу!

Дмитрий КОПЬЁВ

Родился в 1962 году в Петрозаводске. Окончил историко-филологический факультет Петрозаводского университета, работал учителем истории, дворником, почтальоном, ассистентом режиссёра телевидения. С 1999 года — монтировщик сцены государственного молодёжного театра «Творческая мастерская» Петрозаводска.

Пишет стихи, пьесы для театра, рассказы для детей и взрослых. Живёт в Петрозаводске.

ФЕЙЕРВЕРК

Глава первая

У Василия Петровича был баритон. Мягкий, глубокий, проникающий в самую душу... Когда он пел, делалось впечатление, будто вы попали в огромный мыльный пузырь, в котором вибрируют стены и слушателей обволакивают тёплые, ласкающие волны...

Любимый певец был Муслим Магомаев. Василий Петрович частенько сетовал, что артист рано ушёл со сцены, в результате чего его место быстро заняли оставшиеся в тени Кобзон и прочие. Был ещё Захаров, но с тем случилась неприятность. А Хворостовский, тот вообще, олицетворял собой целую Вселенную, Космос... Только вот Муслим для Василия Петровича всё равно оставался всех ближе...

Василий Петрович работал мастером цеха на обувной фабрике, а свой талант проявлял и совершенствовал на сцене местного ДК, выступая как в сольных концертах, так и вместе с районным народным хором.

Большинство хора составляли женщины и молодые девушки, мужчин было всего пятеро не считая баяниста, и все возраста довольно солидного, так что в этом цветнике Василий Петрович всегда находился в приподнятом состоянии духа, поскольку был весьма влюбчив и ценил женскую красоту.

И хотя Василий Петрович имел внешность довольно скромную и возраст его перевалил уже за отметку сорок, у него было счастливое качество человека общительного, компанейского, бойкого на язык. Так что в любом коллективе он был всегда человеком своим, а в некоторых случаях даже незаменимым.

И жена у Василия Петровича, Анфиса Петровна, работавшая в местной больнице заведующей кардиологическим отделением, также была общительной и весёлой и также участвовала в художественной самоде-

тельности, только в кружке бальных танцев, и получала от этого занятия большое удовольствие. Так они и ходили с Василием Петровичем в этот ДК вместе, один – петь, другая – танцевать.

Глава вторая

И вот раз в народном хоре появилось новое лицо, молодая, довольно симпатичная девушка Настя. Ну, казалось, появилась себе и появилась, и очень даже хорошо, что появилась. Однако в настоящем случае произошло то, что часто бывает в жизни, то, что неожиданно поворачивает эту самую жизнь круто в сторону.

Василий Петрович влюбился в Настю.

Глава третья

У них начался бурный роман.

Василий Петрович, будучи человеком честным и романтическим, не особенно скрывал эти новые обстоятельства, так что Анфиса Петровна недолго оставалась в неведении. Однако она была женщиной умной и сдержанной, и не спешила что-то изменять в привычном порядке их общего с Василием Петровичем жизненного уклада, и заняла выжидательную позицию, подготавливая себя морально к грядущим неизбежным потрясениям. Разумеется, речи о семейной идиллии уже не шло. Они стали меньше общаться, делиться новостями, разговоры на привычные темы отошли на второй план, прежние естественные отношения стали натянутыми. Муж и жена словно прятались друг от друга, стараясь не причинить друг другу боли...

Глава четвёртая

А между тем у Василия Петровича, образно выражаясь, выросли крылья. Более того, эти крылья продолжали расти день ото дня. Приливы вдохновения накатывали на него буквально ежечасно, и талант его обрёл второе дыхание. Песни любимого Муслима Магомаева рвались из души наружу, он пел их своей возлюбленной в её крошечной квартирке так, что стены содрогались в унисон призывам «Э-э-эххх! вдоль по Питерской», а соседи, возможно, сперва с удовольствием прослушивавшие репертуар великого баритона, в конце концов заволновались, и один старичок вызвал как-то наряд полиции, мотивируя свою обеспокоенность непрекращающимися пьяными оргиями за стеной. Наряд полиции приехал, Василий Петрович спел служивым «Надежду, мой компас земной», чем заслужил овации слушателей, а старичок, в свою очередь, заслужил штраф за ложный вызов.

Глава пятая

И вот случилось то, что назревало последние месяцы. Василий Петрович вернулся домой. Он был как-то особенно сосредоточен, печать глубокой озабоченности отражалась на его челе. Во время ужина он не произнёс ни слова, закончив же, вытер салфеткой рот и сказал: «Анфиса, извини. Я ухожу»...

Глава шестая

И он переехал к Насте.

Глава седьмая

Настя была девушка очень живая и влюбчивая. Она любила мужчин, влюбляющихся в неё, любила посторонних людей, поклонников, ценителей и обожателей её сценического и певческого таланта, любила своих друзей, которые восхищались её умом, обаянием и прочими, присущими ей замечательными качествами, но больше всего на свете она любила себя и восторгалась собою как маленькая девочка, искренне и совершенно бескорыстно. И это милое, невинное качество чрезвычайно нравилось Василию Петровичу, и он всячески поддерживал эту игру в «здоровскую» и «клёвую» Настю,

И так они проводили время, беззаботно, с походами в рестораны, встречами с многочисленными друзьями Насти, и строили планы на будущее, в котором ожидалось бесконечно много радостных минут, путешествий по миру и самых неожиданных и приятных открытий.

Глава восьмая

Анфиса Петровна ждала неделю. Течение её жизни немножко притормозилось и сделалось похожей на сон, в котором всё немножко смазанно и нелогично. Она не могла сосредоточиться ни на одном деле, прежние привычные занятия потеряли всяческий смысл, ценности обесценились, и все окружающие предметы, будто почувствовав свободу, перестали слушаться и валились из её рук.

Глава девятая

Спустя неделю Анфиса Петровна очнулась от своего странного сна. Неожиданно, почувствовав неведомый толчок, она бросилась к интернету и закинула в сеть вопрос о том, как избавить мужа от любовного наваждения.

Изучив десятки занимательных страниц, просмотрев и прослушав популярных гадалок и прорицательниц, Анфиса Петровна составила небольшую подборку, должную послужить ей руководством к действию.

Из опасения, что по неопытности своей может сделать что-нибудь неточно и совершить непоправимую ошибку, она выбрала наиболее простое, но, как ей показалось, самое действенное заклинание.

Дождавшись определённого часа и трижды произнеся избранный текст, она произвела несколько предписанных магических манипуляций и, опустошённая морально и физически, легла спать.

Ночью ей снились кошмары.

Глава десятая

В ту же самую ночь, после праздничного, при свечах, с хорошим вином и изысканными блюдами ужина с Василием Петровичем слу-

чилась беда. У него сильно заболела голова, так сильно, что пришлось вызвать скорую. Врач поставил диагноз «инсульт», и Василия Петровича повезли в больницу. По дороге он потерял сознание и впал в кому.

Глава одиннадцатая

Анфиса Петровна прибежала в больницу, и первой, кого увидела она в реанимационной палате, была заплаканная Настя, сидевшая возле неподвижно лежавшего Василия Петровича.

Анфиса Петровна молча села напротив соперницы.

Они так и сидели, не проронив ни слова, пока Настя не встала и, утирая глаза платочком, не вышла из палаты.

Тогда Анфиса Петровна спросила:

– Василий Петрович, ты меня слышишь?

Глава двенадцатая

Поскольку Анфиса Петровна сама работала в больнице и имела возможность выбирать время для посещения мужа, она легко сумела минимизировать свои встречи с соперницей, и, таким образом, Настя и Анфиса Петровна стали посещать Василия Петровича в разное время.

Глава тринадцатая

Насти хватило на семь дней.

Потом она перестала приходить.

Глава четырнадцатая

А Анфиса Петровна каждый день разговаривала с Василием Петровичем, делясь с ним текущими новостями, вспоминая смешные и трогательные истории из их жизни в прошлом.

Глава пятнадцатая

Через семнадцать дней Василий Петрович пришёл в себя.

Глава шестнадцатая

Процесс выхода из болезни был мучительным. Отнялась правая половина тела, он потерял речь. После длительного лечения чувствительность руки и ноги более или менее восстановились, однако передвигаться отныне он мог только при помощи трости, да и то с большим трудом. Походка его сделалась неустойчивой, ноги он переставлял с такой осторожностью, будто шёл по мокрому льду, вдобавок при сильном порывистом ветре. Но самое печальное было то, что способность к привычному человеческому общению, то есть умение произносить слова, похоже, утратилась навсегда, и звуки, которые Василий Петрович пытался транслировать окружающим, не несли в себе информации, которую те способны были понять. Так что ему приходилось дополнять

свою речь жёстами, мимикой лица и интонационно, то есть так, чтобы понятно было, когда он разочарован, недоволен или, напротив, рад чему-то и его всё устраивает. «Ти-ти-ти», либо «Та-та-та», или «То-то-то» — так объяснялся примерно Василий Петрович, не более того.

Глава семнадцатая

Впрочем, взаимопонимание между Василием Петровичем и Анфисой Петровной наладилось довольно скоро, и Анфисе Петровне не составляло труда распознавать каждое слово мужа и даже предугадывать его желания. Она перевезла Василия Петровича в родной дом, и они зажили вместе, почти так, как прежде.

Глава восемнадцатая

В новой действительности отсутствие привычного дела, связанного с работой на фабрике, воспринималось Василием Петровичем как утрата собственной значимости и полезности обществу. Но настоящая трагедия заключалась для него в том, что он потерял возможность заниматься любимым делом: участвовать в художественной самодеятельности и дарить слушателей и поклонников своим талантом, блистая своим прекрасным бархатным голосом.

Анфиса Петровна понимала это и потому постаралась обставить жизнь Василия Петровича таким образом, чтобы он не тяготился своим положением. Она, сколько умела, окружила мужа заботой, подолгу гуляла с ним, водила его всякий раз на репетиции в Дом культуры, и на концерты, и время от времени в кино, а дома старалась занять вынужденный досуг чтением книг и обсуждением текущих событий внутренней и внешней политики.

Глава девятнадцатая

Василий Петрович много читал, смотрел телевизор, точнее сказать, старался много читать и смотреть. Однако скоро он осознал, что ему не интересны ни чтение, ни то, что происходит в телевизоре. Это всё было о чём-то другом, о том, что не имело к нему никакого отношения, и все сюжеты, которые описывались в книгах и разыгрывались на экране, не могли ни трогать, ни волновать его и вызывали лишь стойкое раздражение из-за напрасно потраченного времени.

Пробовал он найти точку опоры в интернете. Однако, поскольку опыта в этом деле у него не было, он так и не смог понять, что ему, собственно, нужно от этого самого интернета, что именно он хочет там найти. Потыкавши кнопки и не найдя ответа на вопросы, которые сам не мог сформулировать, он оставил бесполезное занятие...

Глава двадцатая

Был у Василия Петровича и Анфисы Петровны ещё один член семьи, пёс по имени Пират. Самой обыкновенной, неизвестной породы, обыкновенного роста, с короткой рыжей шерстью и выдающимся тёмным пятном вокруг левого глаза, что, очевидно, явилось поводом к из-

бранию его имени; он сделался верным собеседником Василия Петровича. Василий Петрович выговаривал ему своим странным языком всё, что накопилось на душе, всё, что не умели понимать окружающие его люди. Впечатление от того, что бессловесный слушатель понимает каждое его слово, успокаивало, примиряя на время с новой действительностью. «Ти-то-то, та-та-та», – говорил Василий Петрович, а Пират вздыхал, деликатно пряча глаза, и незаметно засыпал под баюкающую музыку слов...

Глава двадцать первая

Однако, несмотря на старания Анфисы Петровны, несмотря на то, что Пират готов был безропотно выслушивать излияния хозяина, большую часть времени Василий Петрович вынужден был проводить наедине со своими думами. Мыслительный процесс был непрерывным и не оставлял его ни днём, ни особенно ночью, во время бессонницы, когда желание встать и заняться какими-нибудь делом разбивалось осознанием того, что нет у него никаких особенных дел и занятий и что впереди его ждёт бесконечно длинный день, а за ним та же бессонница, то есть нечто уныло-беспросветное, неизменное, вплоть до самого конца. И мысли о конце в связи с этим приходили, пожалуй, чаще других.

Неожиданно расхожие фразы о том, что всех нас ждёт одно и то же, приобрели реальное, вполне осязаемое значение в том смысле, что пускай финальная дата не была ещё назначена с определённой точностью, но приготовления к событию начинались прямо сейчас, сегодня, бесповоротно и совершенно неизбежно. И ужасающая картина окончания всего, картина исчезновения окружающего мира, открылась перед его мысленным взором.

Глава двадцать вторая

Если раньше, в минуты отчаяния, которое посещает едва не каждого человека хотя бы раз в жизни, он, как многие, столь же простодушные и наивные люди, представлял себе свою смерть в виде сна и сопутствующих этому сну сновидений, теперь понял, что смерть будет означать только одно, а именно, что не будет никаких снов и не будет никаких сновидений, ничего не будет, и что Вечность, которая откроется ему за роковой гранью, останется непознанной им, поскольку в этой Вечности не будет места сознанию его, сознанию Василия Петровича, а будет лишь отсутствие всего, что только может отсутствовать, и даже собственное своё отсутствие он никак не сможет оценить...

И это абсолютное отсутствие, отсутствие вечное, без пробуждения, без начала и конца, без возможности оценки того, что происходит вокруг, больше всего пугало его в будущей неизвестности, и давние детские страхи возродились в нём и вызвали к жизни воспоминания, тягостные и жуткие.

Глава двадцать третья

Ему вспомнилось, как когда-то давно, в детстве, они с сестрой Иришкой шли весёлым летним деньком по улице и вдруг увидели впереди

перегораживающую тротуар и проезжую часть большую толпу людей. Люди стояли довольно плотно, и у многих в руках были цветы, из чего можно было вывести, что готовится какой-то праздник. Подойдя ближе, брат и сестра принялись продираться сквозь толпу, как вдруг, резко и очень громко, грянула музыка. Буханье большого барабана, звон литавр, гнусаво-медные, тянущие душу звуки составляли мелодию этой музыки. Василий и Иришка оглянулись и увидели нечто, чего никак не предполагали увидеть, и от увиденного кровь застыла у них в жилах и мурашки электрическим током пробежали по всему телу. Над толпой медленно и торжественно плыл обитый красной материей продолговатый ящик, и в нём неподвижно лежал дядька со страшным в своей неподвижности восковым лицом, запавшими глазами и выделяющимся крючковатым носом. Брат и сестра взвизгнули от ужаса и опрометью бросились прочь. Прибежав домой, они, долго не могли прийти в себя и в эту ночь никак не могли заснуть.

Впрочем, Иришка как старшая сестра и человек с более устойчивой психикой легче справилась с потрясением, а вот у Василия начались ночные кошмары. Как только, ложась спать, он закрывал глаза, являлся страшный дядька. Чтобы отогнать видение, пришлось засыпать с включённым светом, что, впрочем, помогало лишь отчасти. Ночные мучения продолжалось довольно долго, однако время лечит любые раны. Постепенно видение становилось всё расплывчатее, пока окончательно не исчезло, спрятавшись где-то в глубинах памяти.

С тех пор Василий стал очень нервно реагировать на всё, что связано с прощальными церемониями. В те давние годы было принято выносить усопших прямо из подъездов домов, и Василий, возвращаясь домой из школы, ужасно боялся встретить, заворачивая за угол, похоронную процессию, а медно-гнусавые звуки мелодии шопеновского марша с тех пор сделались для него самыми неприятными звуками на свете...

Глава двадцать четвёртая

Впечатление от первого столкновения со смертью наложило глубокий отпечаток на сознание Василия Петровича. С течением временем у него составилось определённое убеждение, что действия, к которым прибегают люди, обставляя прощание с близкими, имеют весьма отдалённое отношение к сути происходящего. Вместо того чтобы как можно бережнее сохранить в памяти живой образ ушедшего, полагал Василий Петрович, люди тратят силы на совершение строго регламентированных в своей последовательности обрядов над оставшейся после него неживой оболочкой, то есть над чем-то совершенно чуждым и противоположным жизни. Но именно это неживое они для чего-то обряжают и украшают, обкладывая цветами и всматриваются в это неживое, желая запомнить его в этом состоянии как можно надольше, тогда как естественнее было бы запомнить и сохранить в памяти то живое, человеческое, которое оживляло эту оболочку и было единственно значимо для окружающих, любимо ими, оставить себе свет, который излучал ушедший и который согревал бы их во всём протяжении жизни...

И вся последовательность обрядов, всё это жуткое разглядывание неживого, все эти цветы и памятники, на холодной мраморной поверхности которых улыбались похожие на живых, но уже неживые люди, наконец, само старательное запечатывание останков в ящик и дальней-

шее закапывание их в землю, туда, в самую глубь, подальше, куда-то в подземное царство червей, для того будто, чтобы из этой глубины уж точно невозможно было выбраться наружу, всё это наводило на Василия Петровича жутчайшую тоску, и когда он сталкивался с необходимостью присутствия на прощальных мероприятиях, он старался – не протестуя, впрочем, и не пытаясь оспорить никоим образом правильность поведения окружающих, – старался по возможности минимизировать собственное своё участие, оставаясь в сторонке, на возможно приличном расстоянии от происходящего.

Глава двадцать пятая

Но теперь, вследствие приближения к нулевой точке, Василий Петрович с ужасом вдруг осознал, что и с ним самим неизбежно поступят точно так же, то есть обрядят в новенькую, с иголки одежды, поместят в ящик, обложат тело цветами и будут долго, с жадной жалостью вглядываться в мёртвое восковое лицо, не замечая подмены, потому что мёртвое лицо это не будет иметь ничего общего с Василием Петровичем, жизнерадостным, весёлым человеком, обладателем великолепного баритона, душой компании... Не улыбнётся это лицо и не споёт, не расскажет анекдот... Нет потому что здесь никакого Василия Петровича, нет... Наконец, наглядевшись, люди накроют ящик крышкой и старательно заколотят крышку гвоздями, чтобы продемонстрировать окружающим последнюю, самую звучную и многозначительную точку в жизни человека. Затем ящик опустят в яму и засыпят землёй... И Василия Петровича охватил ужас, и он понял, что нужно что-то делать...

Глава двадцать шестая

Он сел перед компьютером и принялся торопливо, одним пальцем левой руки набирать текст. Печатал он волнуясь, исправляя фразы, и в итоге получилось следующее. «Находясь в здравом уме и твёрдой памяти и полностью отдавая отчёт своим словам, наказываю: после моей кончины не совершать надо мною никаких обрядов, не проводить прощальных церемоний, тело же незамедлительно кремировать. Прах затем прошу зарядить в петарду и выстрелить в воздух в виде фейерверка. Василий Петров».

Глава двадцать седьмая

Когда с работы вернулась Анфиса, Василий Петрович подвёл её к монитору и показал запись. Прочитав, Анфиса Петровна, не находя слов, молча взглянула на мужа.

– То-то-то! – горячо залопотал тот, сопровождая свою речь жестиками здоровой руки. – Та-ти! То-то-та! То-ти-та-та-то! То-то-та!..

Анфиса Петровна поняла общий смысл сказанного, но Василий Петрович, чтобы не оставалось никаких сомнений, обернулся к компьютеру и, отчаянно стуча по клавишам и в спешке допуская орфографические ошибки, набрал: «Не хочу, чтобв меня разглядывади неживого... Хочу, чтобы меня запомнили живым. Хочу феерверк...»

Прочитав, Анфиса Петровна расплакалась.

Василий Петрович встал и, оставив жену плакать, заковылял на балкон.

Он стоял и смотрел на освещённые окна соседнего дома, в которых происходила обыкновенная, самая обыкновенная жизнь. Люди ходили, о чём-то беззвучно разговаривали друг с другом, готовили на кухне, смотрели телевизор... Василий Петрович вдруг понял, что со всем этим, со своим недугом, женой, телевизором, равно как и с жизнью окружающих людей, ему ещё жить и жить. И придётся, хочешь не хочешь, с этим мириться и не роптать, потому что впереди будет – фейерверк...

На балконе было довольно свежо, и его вдруг поманило тепло комнаты за спиной. И ему захотелось прямо сейчас вернуться в это тепло, сесть и почитать какую-нибудь умную книжку, желательно с интересным сюжетом, а потом поговорить о чём-нибудь с Анфисой Петровной, а перед сном напиться горячего чаю с мягкой булкой...

На балкон вышла Анфиса Петровна, подошла, обняла мужа за плечи.

Вслед за ней появился Пират и остановился в балконном проёме.

Помолчав немного, Анфиса Петровна сказала:

– Будет у нас фейерверк, будет...

Пират, стуча хвостом по дверному косяку, тыкался мокрым носом в ладонь Василия Петровича.

– То-то-то! – сказал Василий Петрович. – Та-та-то...

– И правда, становится зябко, – согласилась Анфиса Петровна. – Пойдём домой...

Михаил ТРЕТЬЯКОВ

Родился в 1982 году в городе Белгороде. С 2000 года участник литературной студии «Младость» (руководитель – член Союза писателей России Людмила Брагина).

Публиковался в журналах: «Московский вестник», «Московский литератор», «Проза», «Литературная газета», коллективных сборниках авторов Белгородской области, сборнике «Берега России», «Гоголь-фэнтези», «Путеводитель русской литературы Роман-журнал XXI век», «Жизнь – вокруг нас». Участник форума молодых писателей России.

Живет в Белгороде.

ЛЮБИТЕЛЬ ЗМЕЙ

Странные люди встречаются на нашем пути, но, наверное, не менее странные, чем мы сами. Давно известно, что противоположности притягиваются, поэтому в нашей встрече не было ничего случайного, одна сухая закономерность, от которой невозможно было спрятаться и укрыться.

Иногда мне кажется, что именно такие встречи являются указателями на непростом пути от рождения к смерти, потому что именно так можно получить бесценный опыт с минимальными затратами сил и времени. Только вот почему-то большинство людей слушают и вздыхают над рассказанной историей, а потом, попадая в аналогичную ситуацию, совершают всё именно так, как до этого осуждали.

Дерево растёт в двух направлениях: к центру Земли и к Солнцу. Точно так же человек стремится к тому, чтобы любить кого-то и в то же время себя. Эти взаимоисключающие друг друга понятия являются его неразрывными частями, и одна подпитывает другую, как корни листья, и наоборот.

Ночь и темнота подкрались неожиданно. Может быть, это я был сильно погружён в свои мысли, а может, солнце утомилось раньше, чем обычно. Меня окликнули по имени. Обычно я не реагирую, потому что знаю, что имя моё нередкое и обращаться могут не ко мне. Но что-то знакомое было в голосе, отчего захотелось посмотреть на владельца. Моя фотографическая память на лица вывернула воспоминание из школы. Борис. Рыжие непослушные волосы и астеническое телосложение совсем не изменились. Несмотря на это, я всё равно не сразу его узнал. Он сильно похудел, в воспалённых глазах тлели искры

какой-то страсти. Помню, он всегда отличался весёлостью и, несмотря на постоянные шутки над ним, никогда не обижался. Цвет его волос и конопушки уже были поводом для дразнилок, ещё к тому же он играл на скрипке, так что детской фантазии было где разгуляться.

И вот мы стоим друг перед другом, совершенно чужие люди, связанные тонкими нитями школьных воспоминаний. И, с одной стороны, очень хочется попасть домой, а с другой – понять, зачем он меня окликнул и зачем я всё-таки повернулся.

На улице прохладно, на нас лёгкие куртки. Кому-то нужно сделать первый шаг, чтобы либо продолжить эту случайную встречу, либо закончить. Внутри просыпается вечное мое любопытство, вечный информационный голод, заставляющий читать, смотреть фильмы, общаться с людьми, впитывая нужное и ненужное, а потом перерабатывать, отфильтровывать, изменять и превращать в повести или рассказы.

А что же двигало им, когда он меня окликнул? Вот уже очередная загадка, которая стоит времени и сил, потому что сможет развеять мою скуку.

– Борис, сколько лет, сколько зим! – бросаю дежурную фразу.

– Да, давненько, считай, с самого выпускного?

– Может, зайдём, посидим за чашечкой кофе?

Кто бы мог подумать, что эта встреча станет прологом рассказа о самом странном и до сих пор непонятном для меня чувстве.

Его повествование было неточным, лишённым всякой хронологии и со многими повторами. Именно поэтому мне пришлось слегка изменить стилистику и язык, дабы рассказ не показался бредом умалишённого. С другой стороны, такое длинное лирическое отступление, скорее всего, вызовет в читателе чувство жалости к автору, дескать, придумать он хорошую историю не может, вот и решил ввести элемент «основано на реальных событиях». Сказать по правде, я не преследовал никаких таких мотивов, фиксируя текст в своей памяти, мне просто показалось интересным то, что я услышал...

Я её любил, как я её любил? Хотя почему любил? И сейчас продолжаю любить, несмотря ни на что и вопреки всему.

Только она смогла поразить моё воображение, заставить взглянуть на многое по-другому, изменить меня и, в конце концов, сделать лучше.

Её необычность поражала и захватывала, я мог часами смотреть на неё через толстое прозрачное стекло.

Большое, массивное тело с очень коротким хвостом и треугольной головой, с резко выступающими височными углами, покрытыми ребристой чешуёй без рисунка. Общий фон окраски – песочно-серый, вдоль спины тянется ряд поперечно вытянутых темных, буроватых пятен, совсем неярких, часто вообще незаметных. На нижней стороне тела, которая окрашена в светло-серый цвет, располагаются темные крапины.

Я не знаю, что побудило меня к тому, чтобы выгащить её из серпентария. Ведь она была самым смертоносным, ловким, умным и красивым существом на планете.

Любить и быть счастливым совсем не просто. Для этого нужно найти внутри себя мир, а затем попытаться изменить реальность. Научиться принадлежать самому себе, а не быть рабом других людей, а ещё хуже бумажек, за которые можно купить, к сожалению, всё. Иногда, правда, ненастоящее, но кто будет в этом разбираться.

Юность не знает преград на пути к счастью и любви, но затем она сменяется зрелостью и опытом, который вечно подсказывает тебе, что за всё придётся платить, но ты уже готов к этому и приблизительно знаешь расценки на услуги, которые предоставляет жизнь. И именно от этого ощущения и понимания цены становится как-то гадко и противно, и совершенно не хочется ни за что платить не потому, что ты жмот, а просто из чувства противоречия.

Бывает так, что, никогда не пробуя какие-то вещи, ты совершенно уверен, что они тебе не понравятся, зато другие – наоборот. Наверное, именно так было и у меня. По всей видимости, это была какая-то генетическая память. Значит, наша встреча уже была ранее, и теперь тело начинало вспоминать то, что произошло так давно. Всесильные и вечные гены помнили это и ждали своего часа, чтобы пробудить воспоминание того чувства, когда её чешуйки касались моей кожи и по телу пробегала какая-то сладостная волна. Я думал о возможности какого-то рационального объяснения этому явлению, но в голову приходило только то, что механические рецепторы моей кожи были почему-то настроены именно на такое давление, которое оказывали её прикосновения. Как я это узнал или в рамках моих рассуждений вспомнил? Наверное, тогда, когда коснулся в первый раз. Дотронулся до её шеи. Она ползла, медленно извиваясь всем своим красивым и мускулистым телом, а мои пальцы ощущали её змеиную кожу. Она особенно полюбила пить молоко из моих рук и греться на моей груди, а мне все чаще хотелось ощущать рядом её тело.

Ласковые, нежные касания чешуек заставляли мой организм вырабатывать гормоны счастья. Поэтому чем больше я её гладил, тем больше мне этого хотелось. И невозможность делать это постоянно доводила меня до иступления.

Юродивый – так, наверное, можно назвать моё состояние счастья, когда я был рядом с ней. Нелогичная и непонятная никому страсть завладела мной, как завладевают людьми и другие более привычные желания: типа азартных игр, наркотиков, алкоголя. Только вот моя любовь была к живому существу, словно бы она была женщиной, которую я безумно хотел, но в силу каких-то причин не мог осуществить свое желание. Хотя, наверное, если бы она всё-таки оказалась женщиной, меня не смогло бы остановить ничто.

Гюрза находилась на работе в офисе, где я подрабатывал по вечерам. Я мог любоваться ею издалека, мне доставляло это непередаваемое удовольствие, но, как всегда бывает в таких случаях, мы не можем удовлетвориться тем счастьем, которое у нас есть, и стараемся урвать побольше, пока счастье не превратится в несчастье.

Я начал выпускать её из серпентария. Ты, наверное, не знаешь, как ведет себя гюрза, стоит дать ей свободу. Ей глубоко наплевать на всех и на все, есть только её интересы, она подчиняет всех своей воле, причем это может происходить несколькими способами: она или гипнотизирует, или, чувствуя малейшую угрозу для себя, начинает громко и угрожающе шипеть, а затем бросается на всю длину своего тела. Сколько раз мне приходилось отпрыгивать. Каждый раз, выпуская её и находясь с ней в комнате, я чувствовал, как адреналин бежит по моим сосудам, разжижая кровь, заставляя сердце биться быстрее, заставляя почувствовать себя свободным человеком.

Свобода – это такое эфемерное и неконкретное понятие. Все живые существа стремятся быть свободными, но, как это ни парадоксально,

свободные люди оказываются в плену у свободы. Мы превратились в машины по зарабатыванию денег, а точнее, нас поставили в такие условия, что для того, чтобы выжить, необходимо постоянно работать. Естественный отбор, который не так давно уже перестал действовать на человека, заменили искусственным, при этом ресурс, который все используют, очень ограничен, а самая жёсткая борьба – внутривидовая. Вот из людей потихоньку и вытравили чувства, выдавили гены, которые отвечают за любовь, сострадание, понимание, уважение, оставив базовый инстинкт выживания, отбирая с ним гены обмана и ненависти.

Именно она сделала меня свободным. У всего есть своя цена, и у свободы она тоже есть. Стоит вспомнить Французскую революцию, да вообще любую революцию, когда свобода тут же превращалась в вакханалию анархии, а затем, как правило, в ещё более жёсткую кровавую тиранию. То же произошло и со мной. Я помню отчетливо первый укус. Она лежит у меня на ногах, и я рукой глажу её чешую. Своим раздвоенным языком она касается моей кожи. Какое же это непередаваемое блаженство – ощущать его легкие, едва заметные касания! Но нельзя быть все время настороже, рано или поздно ты ошибешься, а она ведь думает, что ты уже чётко усвоил, что с ней нельзя ошибаться. Я просто забыл выключить звук, и телефон завибрировал. Виноват только я. От неожиданности она среагировала так, как привыкла реагировать всю жизнь.

При укусе гюрзы в организм попадает яд, в который входят ферменты, разрушающие красные кровяные тельца и стенки кровеносных сосудов, вызывая свёртывание. Всё это голая теория, а реально в месте укуса появились многочисленные внутренние и подкожные кровоизлияния, мелкие сосуды под действием яда разрывались, и начался отек. Несмотря на мою любовь к ней, я отбросил её и побежал к сумке. Однако резкая боль успела настигнуть меня раньше, чем я уколол себе противоядную сыворотку.

Боль – это просто реакция организма, предупреждающая о том, что надо обратить внимание на очаг, в котором происходит гибель клеток. Боль помогает нам, она учит нас: горячее не брать, острое может порезать и так далее. Показателем интеллекта считается именно то, насколько быстро организм способен обучаться, запоминать факторы, причиняющие боль, и избегать их. Однако боль может доставить человеку удовольствие.

Скорее всего, если бы я был постоянно рядом с ней, она вела бы себя по-другому. Больше всего я ценил периоды покоя между её укусами и надеялся на то, что больше не ошибусь. Но все повторялось снова, и то чувство свободы, которое, как мне казалось, она поначалу давала мне, превратилось в рабство. Кроме этого, я прекрасно понимал, что у меня нет средств для того, чтобы купить серпентарий, которого она достойна, и содержать её. То, что я приносил в качестве лакомства, было лишь жалкими крохами, которые требовались ей.

И вот в один из обычных, ничем не отличимых от других дней я наконец-то решил всё закончить. Нашёл другую подработку. И она, не знаю, правда, как, поняла, что я хочу уйти. Каким образом она почувствовала, что это конец, непонятно, потому что таких попыток у меня было множество, начиная с первого укуса.

Я выпустил её, как обычно, погулять по офису. Это был мой последний день на этой работе. Все бумаги и вещи потихоньку были перенесены. Мне осталось только сдать ключи, и я с ужасом и нетерпением

ждал завтрашнего дня, дня, когда я больше её не увижу. Она подползла к моим ногам и обвилась вокруг голени. Это значило, что она хочет полежать у меня на груди. Протянул руку. Её сильное молодое тело спиралью обвило моё предплечье. Сел в кресло и откинулся назад. Но в том, как её чешуйки двигались по моей коже, было что-то необычное, и именно из-за этого глаза мои остались открытыми. Раздалось резкое шипение. Мы уставились друг на друга лишь на долю секунды, но оба поняли все. Она бросилась на меня, проникая своими зубами через кожу, прорывая ее как ткань, стараясь оказаться как можно ближе к сонной артерии. Сила и отчаяние её были настолько сильны, что она прокусила даже свою нижнюю челюсть. Боль проникла в меня, как, наверное, кислота проникает в колбу, выжигая, вытравливая всё её содержимое. Чёрные неистовые точки яростно заплескались перед глазами. Руки и ноги стали ватными. Я не видел, что произошло с ней, мне впервые было все равно. Сердце замедляло свой ритм, отчего мне казалось, что и все вокруг замедляется. Апатия парализовала меня, даже базовый инстинкт выживания отключился. Но что-то глубокое, нутряное, никогда себя не проявляющее, может быть, тот самый эгоистичный ген, о котором я читал у Докинза, наконец-то вышел из тени, взяв ситуацию под контроль.

Самое страшное – это именно то ощущение, когда клетка внутри тебя секретирует и выделяет гормон в кровь, а ты это чувствуешь и осознаёшь, что, по большому счету, ты – никто, лишь брэнная оболочка для бессмертной ДНК.

Он замолчал.

– И что же дальше?

– Как видишь, я выжил. Рука и нога, правда, еще немеют, но жить можно.

– И что теперь? Какой опыт ты вынес из всей этой истории?

– Мне надо купить себе серпентарий, – ответил он, поднимая на меня свои воспалённые глаза.

Я не стал ничего доказывать и объяснять ему, потому что уверен, он обсуждал и рассказывал эту историю уже не раз. И он с ужасом и нетерпением ждал очередного осуждения. В этой ситуации молчание было бы точно таким же осуждением, поэтому я сказал то, что, наверное, он так хотел услышать, но не слышал ни от кого, потому что, к сожалению, люди разучились любить по-настоящему, так, как любил он: до потери сознания, потери личности, выжигая себя ради другого.

– Сколько тебе не хватает? – спросил я.

Он назвал сумму. Я спросил номер сотового и сделал перевод. Он понял всё. Тлеющие угли разгорелись в его глазах с новой силой.

Я зашёл в туалет и посмотрелся в зеркало, которое не отразило ничего нового, кроме моего выгоревшего и бесстрастного взгляда.

БРИТВА ОККАМА

Кабинет директора ботанического сада. На часах восемь тридцать. Директор сидит за стареньким столом. Основные вопросы рассмотрены, и, согласно повестке, которая лежит перед каждым заведующим сектором, сейчас должны перейти к категории «Разное». Сергей Петрович потирает мизинцем носогубную складку – этот его произвольный жест означает, что его что-то беспокоит. Все ждут, о чём же он будет говорить.

– Хотелось бы получить ответ на вопрос, который мучает меня уже не первый год...

Вопросов, которые могут мучить директора не первый год, много, и оттого непонятно, что именно вызвало сегодняшнее состояние озабоченности. Все начинают методично перебирать многочисленные огрехи в своей работе. Сергей Петрович точно знает, что среди его подчиненных есть люди, которые в чём-нибудь да виноваты, и ждёт чистосердечных признаний. Однако заведующие, не первый год знающие директора, не ведутся на провокационную паузу и тоже выжидают.

– Сегодня проректор по строительству и хозяйственной работе, глубокоуважаемый Сан Саныч, выказал мне неудовольствие по поводу того, что у нас на входной группе пропадают туи. Вот я сегодня и хотел бы получить ответ на вопрос: почему на участке ботанического сада систематически пропадают туи?

Заместитель директора Елена Ивановна неуклюже, как обычно она и делает всё в своей жизни, поднимается из-за стола, видимо, чтобы придать внушительность тому, что она будет говорить.

– Почему систематически? Да это было всего-то один раз...

Директор, который, очевидно, знает о данных инцидентах, не хочет развивать мысли заведующих о тотальной коррупции в средних эшелонах власти, пребывает своего заместителя.

– Именно погибают, а не разворовываются. Кто может внятно ответить на этот вопрос?

В комнате повисает напряжённая тишина. Пауза выходит за рамки разумной мхатовской.

– Я вот что думаю, – отвечает заведующий сектором дендрологии Сергей Михайлович, – туя, она ведь не встречается в нашей естественной природной среде. Может, плохо акклиматизируется?

Директор перебивает.

– Так почему тогда остальные растения в ряду чувствуют себя нормально, а два крайних постоянно сохнут и погибают?

– Ну, если рассуждать логически, то, скорее всего, почва в этом месте отличается, – пытается возразить Сергей Михайлович, но директор

уже отворачивается от него и задаёт вопрос заведующему сектором защиты растений.

– А вы что думаете на этот счет, Алевтина Евгеньевна, каково ваше мнение как специалиста-фитопатолога?

– На мой взгляд, у погибших растений были ярко выражены признаки заражения фитофторой: разрушается верхний слой корня, растения вянут, окрашиваются в серый цвет, нижняя часть ствола становится мягкой на ощупь. Ткань под корой меняет цвет на коричневый, а внизу появляется налёт. Корень становится ломким, с запахом гнили.

– Хорошо, допустим. Какие меры специалисты вашего отдела принимали для того, чтобы не допустить повторения данной ситуации?

– Повреждённые растения уничтожались, и почва в заправочной яме полностью заменялась.

– И эти меры дали какие-нибудь положительные результаты?

– Нет. Растения снова погибают.

– Итак. Я ещё раз спрашиваю, почему на участке ботанического сада пропадают туи?

Дверь в комнату директора открывается. Заглядывает сотрудник отдела природной флоры Дмитрий в своей стандартной униформе, слегка порванных, грязных штанах и свитере, который не снимает круглый год. Глядя, как всегда, слегка исподлобья, он спрашивает.

– Можно ключ от нижнего склада?

– Сколько раз я уже просил не заходить в мой кабинет, когда у нас идёт планёрка?

– Так я шо, для себя, што ли? Там торф подвезли, надо нижний склад открыть.

– Ну хорошо, – обречённо вздыхает директор. – Дайте ему ключ, Елена Ивановна.

Дима берёт ключ и уже собирается уходить, но в дверях его нагоняет вопрос директора.

– Дим, ну, может быть, хоть ты знаешь, почему у нас на входной группе погибают крайние туи?

Дима поворачивается и со всей своей непосредственностью человека, которому в общем-то не очень много надо от этой жизни, отвечает прямо и не стесняясь.

– Да шо тут думать-то. Всё ведь и так ясно, как божий день. Охранникам-то ссать негде. Вот они и бегают под туи...

СИНКОПА И ЛИМОНЧИК

Очень люблю чёрный чай. Такой крепкий, чтобы одна заварка и сахара не было. Можно, правда, иногда, особенно когда холодно и сыро, а ещё за спиной стоит простуда, добавить один-два кусочка рафинада, но только если будет лимончик. И тогда чай из чёрного становится светлым, а лимон наоборот.

Лимон добавляют по-разному. И по тому, как его добавляют и что происходит с ним потом, можно многое сказать о человеке. Так, если дольку лимона после выпитой чашки чая съедают, однозначно можно говорить о рачительности человека, который не хочет, чтобы добро пропадало зря. Важно также и то, как съедается лимон – со шкуркой или без, и многое другое...

Сыро на улице. Зима совсем испортилась, и снег стал редким явлением. Зато дожди просто достали. От сырости трудно спрятаться, и в холодной комнате можно согреться только чёрным чаем. Чай последнее время пью в пакетиках, а воду кипячу кипятильником, который мне подарили. Сказать по правде, лимончик я всегда съедаю со шкуркой, так что, думаю, вам понятно, почему я пользуюсь кипятильником.

Вода в тот день закипала, как всегда, с шумом и бурлением. Я взял пакетик чёрного байхового чая и опустил его в кружку. Чернота медленно расплзалась.

Небольшая корочка лимона, уже почти засохшая, лежала в холодильнике, и, чтобы она окончательно не пропала, я решил добавить её в чай. Ну а где лимон – там для меня обязательно должна быть хотя бы чайная ложка сахара.

Лимон, как ныряльщик, вначале глубоко погрузился в чёрную глубину, а затем вынырнул на поверхность. Чайная ложка, сверкнувшая, словно лезвие копья Лонгина, медленно прижала его к стенке, выдавливая сок. В этот момент яркая вспышка ослепила меня...

Я был погружён, я плавал в чёрной, почти непроглядной темноте под названием жизнь. Что-то незримое, но очень похожее на фатум пыталось опустить меня. Волевыми усилиями я снова пытался подняться наверх, уклоняясь от неотвратимой десницы. Наверх, чтобы вдохнуть горячего воздуха, но силы растрачивались на бесполезную борьбу, и из меня по каплям уходила жизнь, растворяясь в мировом океане бытия. А кто-то неправдоподобно настырный продолжал опускать меня на самое дно.

Я посмотрел в кружку. Лимончик сдался и погрузился на дно. Привычно вытащив из чашки, я не съел его, а положил на подставку для чайных пакетиков. Чай с тех пор пью без лимона.

ПМС-80

Дождь падал с какой-то обречённой, маниакальной частотой: «Тук-тук, дон-дон». И слышалось глухим отголоском: «Потом, потом...»

Холодная осень наконец-то проснулась. Растянувшееся бабье лето закончилось. Дождь, почти что снег, посыпавшийся с утра, казался совершенно неожиданным после вчерашнего тёплого дня.

Танечка не была готова ни к резкому похолоданию, ни к слякоти. На самом деле ей хотелось одного – отдохнуть. Но усталость так прочно сплелась с клетками тела, что никакой отдых не помогал. Даже если бы она оказалась на необитаемом острове, то и там бы она не смогла полностью расслабиться. Мысли о работе, кредите и доме, в котором постоянно что-то надо чинить, не оставляли её.

Плотнее замотавшись в платок и затянув пояс на пальто, она медленно шла по набухшей от дождя дороге в сторону остановки, от которой её забирал служебный автобус. Настроение паршивое. Болела голова, тянуло грудь и низ живота.

Автобус подъехал, как всегда, точно по расписанию, и это, с одной стороны, было хорошо, потому что определённости – это всегда хорошо, а с другой – не давало возможности опоздать, проспять. Ведь она не любила рано вставать, но работа есть работа – каждодневное преодоление «не хочу» и «не могу».

Иногда ей казалось, что она живёт ради того, чтобы доказывать себе и окружающему миру, что вот она – такая маленькая и беззащитная – добилась всего сама в своей жизни. Всё. Только. Через каждодневный. Изматывающий труд.

Работа. Дом. Муж. Всё это – ненастоящее, просто картинка, иллюзия счастливой жизни, которую она старательно поддерживает, исполняя роль состоявшейся успешной женщины перед коллегами и родственниками. А что же осталось в ней? Ничего. Она как тростниковая палочка: пустая внутри и пожеванная до такой степени, что ею невозможно писать; несмотря на это, кто-то пытается что-то вывести на свитке жизни, но только рвёт и портит пергамент...

Автобус медленно тронулся от остановки со странным названием «Путевая машинная станция-80». А дождь всё так же выстукивал: «Потом, потом...»

ХИНАХАКИ

На губах осталась нежность латте. Зачитанный Ёса Буссон смотрит буквами в потолок. Она медленно проводит языком, убирая молочную пенку из уголка рта. В жизни так много маленьких радостей...

А жить радостно почему-то не получается. Она словно бы потерялась или потеряла саму себя. Вот бы поехать на сумасшедшей скорости по автострате, но на спидометре редко бывает больше восьмидесяти. У неё хроническая усталость, хроническое недосыпание и ещё какая-то хитрая болезнь на букву Х. Нет, не подумайте, что это хрен его знает что, судя по симптомам, у неё хинахаки, которая весной входит в стадию обострения, хотя на самом деле симптомы болезни беспокоят её круглый год.

Тучи затянули небо. Дождь за окном пробивает в сердце дыры, которые тут же заполняет зелёная трава, выбрасывающая метёлки. И вот уже семена струятся по сосудам. Хочется, чтобы в сердце вместо злаков распустились её любимые пионы, хочется нежности и ласки, и может быть, именно поэтому она так любит цветы.

Адонисы, лилии, розы, гвоздики, бессмертники, ирисы, пионы. Когда она видит незнакомое растение, её одолевает навязчивая идея завладеть им любым способом. Порой она покупает растение, несёт домой, пересаживает и пытается найти свободное место на подоконнике, и так уже сплошь заставленном цветами. Перед витриной цветочного магазина она в лучшем случае замедляет шаг, но обычно – останавливается... На дверях магазина объявление с фото: «В продаже имеется шахматный рябчик». Естественно, она не удержалась и купила пять луковиц, но вынесла из магазина семь...

Шахматная партия под названием жизнь. Фигуры стоят на своих местах. Чёрная клеточка, белая, если ходить королём или пешкой. Ферзём можно ходить куда угодно, но только по свободному полю. Конём ходят только буквой Г, но у этой фигуры есть свои интересные возможности, можно перепрыгивать через другие. Вот она и скачет, пытаясь победить хинахаки, надуманную болезнь из-за неразделённой любви, которую можно вылечить только двумя способами, и она почему-то выбрала второй. Только вот любой выбор имеет последствия, вот и приходится расставаться с чувствами и эмоциями...

Ежедневная рутина поглощает всё доброе и светлое. Только где-то в дальнем уголке сознания теплится надежда, что когда-нибудь в её сердце раскроются пионы. А горячая ванна ждёт...

Осыпался.

Но в сердце будет цвести всегда

Этот пион.

Валерий ГОЛЕВ

Родился в 1961 году в рабочем поселке Эртиль Воронежской области. Окончил штурманский факультет Ленинградского высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола. Служил на подводных лодках Тихоокеанского флота. Живет в селе Семёновском Поречского района Чувашской Республики, работает старшим воспитателем в средней школе.

Автор нескольких книг и многочисленных публикаций в газетах и журналах. Лауреат Всероссийского литературного конкурса им. генералиссимуса А.В. Суворова, межрегионального литературного конкурса маринистики им. К.С. Бадигина в номинации «Малая проза».

POST FACTUM

При жизни не был я известен.

Как умер – многим стал знаком.

Эти строчки – обо мне. И их написал не Шекспир.

Я умер в 73 года в расцвете физических, духовных и умственных сил. По неосторожности.

Я не собирался рассказывать о себе миру.

«Я жил, как мог.

И умер, как случилось»...

Я воевал. Перед самым окончанием войны, в 23 года, получил орден Красной Звезды. Меня всегда спрашивали – за что? Я не любил вспоминать, что убил много людей. Мне было их жаль.

...Весной 1945-го мы шли по Чехословакии с боями. Освобождали один населенный пункт за другим. В каком-то городке мы уже дошли до окраины, когда вдруг из-за домов выскочил грузовик, набитый фашистскими солдатами. Я был пулеметчиком, но в этот раз вооружился и трофейным фаустпатроном.

– Васильев! – закричали мои товарищи, – Стреляй! Бей из фауста!

Я и сообразить ничего не успел. Вскинул оружие на плечо и выстрелил.

– Молодец! Молодец, Васильев! Попал! – услышал я крики.

Мы подбежали к раскуроченной машине и стали считать убитых. Их было больше двадцати.

В День Победы я надевал награды, встречался с ветеранами и обязательно пил водку.

Почему я вспоминаю об этом? Потому, что это явилось событием в моей жизни, значительность которого не вызывала никаких сомнений

и состояла в том, что я убил других людей, распорядился чужими жизнями и судьбами. До сих пор мне слышится: «Васильев! Стреляй! Бей из фауста!.. Молодец! Молодец, Васильев! Попал!!!»

Наверное, я вспоминаю об этом потому, что преступил важнейшую заповедь «не убий», но при этом не чувствовал себя преступником. Напротив, товарищи считали меня героем, хорошим солдатом. Потому что защищал Родину, народ, мать. А это – святое.

В своей не самой короткой жизни я совершил все-таки мало поступков. Об этом я думаю с сожалением.

Я избегал перемен. Жизнь текла свободно и естественно, как равнинная река.

Одна из таких ситуаций, которая могла бы стать событием, интересной страницей в моей судьбе, осталась только воспоминанием о нереализованных возможностях...

...Апрель 1965 года. Мне 43, и я – отец солидного семейства: жена, две дочери и сын. Плюс хорошая должность и диссертация на подходе.

Я лежал в больнице. В соседней палате находилась на излечении моя бывшая студентка, которой когда-то я преподавал физику. Полторы недели мы ходили по больничному коридору и беседовали, вспоминая общих знакомых и смешные моменты, случавшиеся в студенческой жизни. Этих полутора недель оказалось достаточно для того, чтобы Надя влюбилась в меня. Сильно, пылко и безответственно. Что меня, признаюсь, удивило: ей, симпатичной, аккуратненькой блондинке, – чуть за 35, муж – умница, две чудесных дочурки; на работе вроде всё ладилось. А моя абсолютно голая голова и начинавший округляться животик не делали меня похожим на актера кино Кадочникова.

Я считал наши *случайные* беседы в коридорах общими, поверхностными, ничего не значащими и ни к чему не обязывающими. У меня не было в планах продолжать наши какие-либо контакты после выписки. Что, собственно, и произошло по отношению к другим людям, с которыми я общался в больнице.

Что же привлекло Надю во мне?

Возможно, ей нужен был источник, который давал бы силы пережить то угнетенное состояние, в котором она находилась. Можно допустить, что у нее все-таки были проблемы в семье. Мы не говорили об этом.

После выписки из больницы я получил от нее несколько писем, и мы даже трижды встречались: в парке, у Волги и на вокзале.

Мы просто шли рядом и беседовали о том о сём. У меня сложилось впечатление, что Надя отождествила себя с героиней «Бесприданницы» Островского. Фатальность была написана на ее лице, читалась в ее глазах, звучала в ее голосе...

Через два месяца она уехала в Москву и осталась там навсегда.

Перед отъездом мы сидели в кафе. При свечах. Звучала живая музыка. Скрипка, виолончель, фортепиано.

Моя бывшая студентка сама была музыкантом. Она получила классическое образование в училище; играла на фортепиано, домре, гитаре, неплохо пела.

Мы пили хороший кофе. Разговаривали. Курили. Возможно, то, что она курила, а также её редкая целеустремленность, логика (она хорошо играла в шахматы), твёрдость характера в сочетании с фатальностью,

романтичностью, с поволокой глаз, с неким флёром, присущим её одежде, причёске, походке, манере беседовать (несмотря на стройность изложения мыслей), – возможно, всё это расположило меня к ней. Иначе почему я сразу же твердо и решительно не прервал наших встреч, бесед, гуляний?

В кафе Надя передала мне письмо. Она придумала сказку, в которой использовала язык бытовой физики – чтобы мне было понятнее. И я её понял.

Письмо я помню от первого до последнего слова. Вот оно.

Уважаемый О. К.!

Позвольте предложить Вашему вниманию сказку. Про обычную электрическую лампочку.

Жила-была Лампочка. Всё было у неё как у всех, и так продолжалось бы и дальше, но вдруг в сети повысили напряжение. Лампочка встrepенулась и стала гореть ярче. Всем стало светлее. И сама Лампочка почувствовала прилив сил и желание дарить ещё больше света, она все разгоралась, потеряв осторожность и не думая о последствиях, которые не заставили себя ждать – однажды её сопротивление резко упало, и произошло короткое замыкание. Лампочка перегорела.

Её ещё можно было встряхнуть, и вольфрамовая спиралька, хитро качнувшись, ещё ухватилась бы за жизнь и восстановила бы возможность светить. Но Хозяин взял молоток и легонько стукнул по Лампочке. «Что ж, – сказал он, – придётся купить новую лампочку!»

Уважаемый О. К.! Вам тоже придётся купить себе новую лампочку!

Надя передавала мне письма при личных встречах. Иногда не одно. Я бережно хранил их в укромном месте и любил время от времени перечитывать; особенно некоторые места. Например, это.

Дорогой О. К.!

Простите меня. За то, что было, есть и авансом за то, что будет. Решила покаяться. И за это простите.

Я люблю Вас. Это правда. Мы никогда не будем вместе. Это обидно. Всё пройдет. Это одновременно и правда, и обидно. Понимаю... (Далее шли неуклюжие рифмованные строчки.)

...Это называется бред на рассвете – сейчас 5 часов утра. Хочется потихоньку выйти из дома и побежать на Волгу. Она сейчас такая тихая и спокойная. И подарить ей себя. И поплыть. Но на берегу непременно должны ждать Вы. Иначе всё неинтересно. Я уже начинаю путаться в Вы – Ты. Но не хочу переходить на ты. Хочу на Вы. В этом – романтика наших отношений.

А вот и дождик пошёл. Так что Волга отменяется. Но не отменяется мой Вам телефонный звонок на работу в понедельник. Я Вас услышу. И обрадуюсь. И всё будет хорошо.

Я даже выучил наизусть её самое первое письмо ко мне.

Дорогой О. К.!

Давно не писала писем, хотя всегда любила это делать. Вы – благодарный повод вспомнить эпистолярный жанр. Спасибо Вам за это. К тому же возникла необходимость объясниться. Вернее, объяснить

самой себе, что происходит. «И все-таки, что ж это было, чего так хочется и жаль...»

В юности я вела дневник. Он сохранился. Иногда перечитываю свои записи.

Я не изменилась с тех пор – или ещё не вышла из детства, или всегда была взрослым ребёнком. Иногда хочется вернуться в прошлое. Даю Вам эту возможность, когда лет через 20 Вы возьмёте в руки пожелтевшие страницы этого опуса. Хотя мужчины не сентиментальны. Да и бывают трусоваты... Впрочем, к Вам это не относится. Вам ни к чему избавляться от всякого рода избалованных вещей. Во избежание...

Вас не в чем избаловать.

Май полностью оправдал свое название. Я маялась. Я болела. Я перемогалась и втянула Вас в этот процесс. Простите великодушно.

Вы – удивительно добрый человек. Ваша доброта – всеобъемлющая. Она огромна и неисчерпаема. Я просто купалась в ней, погружаясь всё глубже... Никогда я не встречала таких людей. Я полюбила Вас.

И моя истерика дома после выписки из больницы была, конечно, следствием стресса от сознания того, что нас с Вами разлучили. Ну а дальше – больше.

Телефон стал моим мучителем. Но и спасителем тоже.

Я металась и не знала, как расценить Ваши прощальный (при выписке) поцелуй в щечку – как простую любезность или же как нечто большее.

И даже наше «стояние» на берегу Волги не дало мне уверенности ни в чем.

Апогеем всего, безусловно, был коньяк.

Вы за полчаса умудрились наговорить мне столько не просто добрых и приятных слов, но, на мой взгляд, ласковых, душевных, – сколько я не слышала за всю свою жизнь.

Меня обычно любили молча.

И вдруг – обрыв, недоумение, изумление, сомнение, обида и разочарование.

Вы искали причины. Потому что не хотели сближения.

А тот, кто хочет – ищет возможности.

По-моему, Вы испугались. Не за себя, а за всех тех, кто вокруг Вас. И только поэтому я могу Вам простить. Малодушные и трусость «за себя» я никогда не прощу.

Безусловно, это всего лишь моя трактовка происходящего, мое видение. И мои фантазии, если хотите.

Хотелось бы услышать Вашу версию.

Вы удивительный человек. Не хотелось бы прерывать наших отношений.

Предлагаю Вам дружбу с привкусом несбывшейся любви. Хотя, наверное, так не бывает. Кажется, Мопассан сказал: «Дружба между мужчиной и женщиной – это взаимоотношения либо бывших любовников, либо будущих».

А я думаю, что есть три стадии.

Первая: мужчина – знакомый. Вторая: мужчина-любовник. Третья: мужчина-друг. Предлагаю опустить вторую стадию, перейдя сразу к третьей.

Я успокоилась и снова приобрела способность здраво рассуждать и трезво анализировать. Хотя был момент, когда была готова разру-

шить всё, что имела. Это было так сильно! По-настоящему. Спасибо Вам за это.

Я люблю Ваш смех и надеюсь иногда его слышать.

Не пропадите. Звоните. Хороший Вы мой Человек.

С наилучшими пожеланиями,

Ваша Н.

Р. С. Простите великодушно, я не думала, что Вы так легко пойдёте у меня на поводу...

Особенно я оценил этот её по-дамски изящный укол в сердце: «Простите великодушно, я не думала, что Вы так легко пойдёте у меня на поводу»...

Что ж, Надя отомщена сполна...

Меня давно нет на свете, а я всё ещё вспоминаю этот постскрипtum, выведенный особенно чётким почерком.

...На следующий день после кафе, кофе, музыки и гуляния по парку я провожал Надю в Москву. У вагона пассажирского поезда она пылко поцеловала меня, сунула в руку листок бумаги и... уехала навсегда.

Это оказались стихи, написанные ею. О нас. Я их люблю. Они напоминают мне период, когда я истинно жил: мгновения человеческой теплоты, искренних чувств, глубоких переживаний, – всё то, что чего-то стоит в этом мире.

Посмотри на меня через пламя свечи.

И во лжи ты её не спеши уличить.

Я укроюсь в судьбу, как в мохеровый плед.

И не стану искать на вопрос свой ответ.

Посмотри на меня через пламя свечи.

Те слова мне скажи, прошепчи, прокричи.

Я укроюсь в слова, сердцу станет тепло.

Благодарна судьбе, что мне так повезло.

Посмотри на меня через пламя свечи.

Свою руку в мою положи. Промолчи.

Я укроюсь в туман из несказанных фраз,

Умоляя свечу, чтоб огонь не угас.

Через неделю Надя позвонила из Москвы мне на работу. Она сообщила о том, что послала письмо до востребования.

Я сжёг его, не читая.

Больше Надины звонки до меня не доходили.

А в шестьдесят я сам влюбился, как мальчишка, в сорокалетнюю, умную и красивую женщину, мать двоих детей, которые меня приняли, потому что приняла Она.

Сначала Она не пускала меня даже на порог. Долго и терпеливо я ждал приглашения. И дождался, наконец.

Теперь уже я писал записочки и письма, звонил по телефону, стремился увидеть предмет моего обожания.

Мне легко дышалось рядом с любимой.

Нет, я не оставил семью: ухаживал за больной женой, помогал детям. Но душа моя трепетала и жила только рядом с любимой женщиной. Это и была моя настоящая жизнь, которая длилась 13 лет, и в которой было много, очень много хорошего.

Кажется, я запомнил каждый день, и каждый из них был мне дорог.

Благодаря последним тринадцати годам жизни я понял Надю. Идеально, когда любовь взаимна. Но, как известно, это большая редкость...

Я стал умирать, когда моей любимой не было в городе. Она уехала с детьми на их родину, а я брал почту, присматривал за квартирой, проводил там восхитительные часы, купаясь в Её запахе, любуясь заведённым Ею порядком, прикасаясь к Её вещам, читая Её книги...

Через неделю, дождавшись их возвращения, я вздохнул с облегчением. И умер.

Мне было светло от их искренних слёз.

Я думаю о нереализованности человеческих жизней. О своей, в частности. И об упущенных возможностях.

Судьба всегда дает людям шанс. Может быть, и не один.

Надо было совершать поступки. А я уклонялся от них. Хотя был умным, здоровым, сильным мужчиной.

Я думаю о том, что большинство из живущих – по сути – мёртвые люди; что и на пороге смерти возможно возрождение. Именно это со мною и произошло.

СТАРИК БЕЗ МОРЯ

Мы познакомились в какой-то маленькой забегаловке близ порта. Здесь стоял ужасный шум от беспрерывно работающих механизмов. Стены мало глушили этот лязг и скрип, и звук ударов металла о металл.

– Почему не пьёшь? – строго спросил он меня, показывая взглядом на мою минералку. – Здесь хорошее пиво.

Он – это старикашка лет семидесяти; просто сморщенный жизнью старикашка.

– Не люблю.

– А чего ты здесь? Не пьёшь, не закусываешь... Здесь – пьют! Чего смотришь?

– От тоски, дедуля. От беспробудной тоски. Деть себя некуда. Да и в порту давно не был. Сухопутный я теперь человек.

– Хочешь, я с тобой поговорю? А ты меня пивком угостишь. Хочешь?

– Да-а... – я неопределённо махнул рукой.

Старик перенёс с соседнего столика ополовиненную кружку пива и воблий хвост и присел ко мне.

– О чём поговорим?

– О чём хочешь, старик. Просто говори что-нибудь.

Старик ушёл в свою память; взгляд затуманился, рот его приоткрылся, будто он уже начинал свой рассказ. Но он только тяжело вздохнул.

– Что ж говорить? Жизнь-то прожита. Вот и весь сказ. Жизнь – там (он показал воблим хвостом за спину), а я – ещё здесь.

Старик молча пил пиво и смотрел в себя. Мне казалось, это наигранным: взгляд внутрь памяти, взор с поволокой. Подумалось, что моему собеседнику вообще, может быть, от всей его жизни и вспомнить-то нечего.

Я сходил к стойке и принёс ещё две кружки пива и блюдечко чилимов. Старик сидел с закрытыми глазами и не подавал никаких признаков жизни. Я поставил добро на столик и тронул визави за плечо. Он открыл глаза и взглядом поблагодарил за подарок. Я еще раз сходил к стойке и принёс себе бутылку грейпфрутового сока.

– Хочешь, расскажу о себе? Что тебя интересует? Мне есть что рассказать.

– Рассказывай что хочешь.

Он вздохнул.

– Никому моя жизнь не интересна. Ни детям, ни тебе. Ни мне самому. Коли так, то и твоя жизнь мне не интересна. Что ты здесь смотришь? Вот это? Что здесь особенного? Суета, грязь, мерзость! Здесь ничего хорошего не может произойти. Только плохое случается – скандалы,

драки, торговля наркотиками и женщинами. Здесь ничего хорошего не хочется. Даже жить. Неужели тебе совсем некуда податься?

Удивительно, но старик разговаривал ровным, спокойным тоном и тихим голосом; без всплесков эмоций, хотя, мне казалось, что он вот-вот начнёт кричать, а то и ударится в истерику. Я видел сцены с истериками, которые начинались так же, как сейчас.

– Вот я – человек. И ты – человек. И он, и он, и бармен, и тот, что выходит – тоже люди. Все мы родились маленькими, голенькими, беспомощными, равными в правах и подающими миру и родным большие надежды. Отчего же тогда столько сволочи вокруг? Отчего вся эта мерзость, всё это разорение? Исконно люди что-то строят. И на многострадальной Руси тоже – то одно, то другое. То княжество, то империю, то республику. Когда – капитализм, когда – коммунизм. А выходит всё не то, что строят. Всегда выходит нищета, убожество, рабство. Кажется, нужно-то, чтобы все жили по-людски, по совести. По совести, видишь ли, кто не может, а кто не умеет. Всегда ведь умники найдутся, которые себя выше других ставят.

Собеседник немного помолчал, потягивая пиво.

– Я ведь не пьян. Что ж, с кружки пива разве опьянеешь?

– Непьющий опьянеет.

– Я о себе говорю... Как я, по-твоему, одет?

– Хорошо одет... Даже франт... И говоришь модно.

– Да не модно, – обиделся старик. – Мне лет много. Я тоже в море ходил. Вот там, в море – жизнь! Там многое про неё понимаешь. И про людей. Но в море меня уже не пускают. Старый, говорят. Не положено. А во мне ещё сил много. Мне бы в море пойти, воздухом вольным подышать. А меня – на пенсию. Списали вчистую. Не по состоянию, а по возрасту, по сроку службы. Вот и пошёл враздрай. Одной ногой – ещё вперёд, другой – реверс. Пфу! Самому противно.

Мы снова помолчали. Я пил свой сок, а дед думал свои мысли.

– Ну, ладно. А ты заметил, что я брит?

– Да.

– А ка-ак же!.. Слушай, будь добр, купи мне сигарет. Хороших каких-нибудь...

Я дал ему рубль.

– Сам купи.

– Спасибо, уважил.

Старик ходил за сигаретами. Забегаловка гомонила разными головами и чадила табачным дымом. Воздух не то чтобы был несвежим – он прокис.

– Сдачу оставлю себе?

– Оставь, конечно.

– Благодарю.

Он стал вскрывать пачку.

– А всё-таки почему ты здесь?

– Шёл-шёл и пришёл. Захотелось побыть среди людей, но – одному.

– Как это?

– А вот так. Будто не знаешь.

– Здесь? Одному? Ты шутишь! Да здесь таких акул, как я, – полно! Одному! Шутишь! Да здесь к тебе в два счёта прилепится какая-нибудь пиявка, хлеще меня! И будет сосать душу и карман. Нет, брат! Один ты здесь не побудешь, лучше уходи.

– Ты здорово не цепляешься. Сидишь – и сиди, говоришь – и говори. Годится.

Старик сделал несколько спешных глотков.

– Ты не серчай. Я, может, на тебе больше не заработаю – ты не пьёшь. За угощение и рублик – спасибо. Может, ещё что дашь? Подари ручку-перо.

– Иди, старик. Иди. Ты же моряк.

– Был моряк. Да весь вышел. Ну, пошёл.

Он в два приёма переместил нажитое добро на другой столик, подошёл и протянул руку.

– Меня здесь все Пашком зовут. Даже молокососы.

Я пожал руку.

– А по-настоящему как звать?

– Петром.

– А по отчеству?

– Егорыч. Пётр Егорыч.

– Ты на меня тоже не серчай, Пётр Егорович.

– А на тебя-то за что?

– За невежливость, например. Да уж за что-нибудь прости.

– Чудной ты. Ну, пока. Побудь уж... один. А я поработаю.

Просидел я ещё с полчаса. Смотрел, как Егорыч «работал» с новым посетителем. Мой новый приятель иногда подмигивал мне, демонстрируя таким образом своё особое расположение.

Во Владивостоке я был ещё несколько раз. Виделся и с Петром Егоровичем. Он продолжал жить по-прежнему.

А однажды его сильно избили какие-то пьяные отморозки.

Пётр Егорович перестал «работать» в портовой забегаловке. Я переехал жить «на материк». Больше наши пути не пересекались.

Амирам ГРИГОРОВ

Поэт, публицист. Родился в 1969 году в Баку. По образованию врач-биофизик, окончил Российский государственный медицинский университет. Учился в Литинституте имени Горького на отделении поэзии.

Работал заведующим отделом физиологии человека в Биологическом музее, преподавателем в разных вузах Москвы. Стихи переводились на иврит, армянский и грузинский языки.

С 1993 года проживает в Москве.

**ПОСЛЕДНЯЯ РОДИНА,
Я ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ БОЛЕН...**

* * *

Буфет санаторный, в меню – запеканки и клёцки,
И в чёрных бобинах – положенный мёртвый Высоцкий,
И море за нами, линейка поёт и хохочет,
И мишка с шарами, летящий из радиоточек.

Последняя родина, я этой памятью болен.
Как ты поднимала пустую породу из штолен,
Впотьмах утирала горячие слёзы мартенам,
Кораблики атомных тромбов пускала по венам.

Ты стольким делилась, но я это благо забуду,
Украли твоё угощенье, побили посуду,
Исчезли портреты, медалей звенящие диски,
И ниobelисков, ни вечных огней авестийских,

И только когда, раз в году, обязательно снится
Твой свет негасимый рубиновых звёзд над столицей,
Рычащий Высоцкий, компот, запеканка на блюде –
Боюсь просыпаться, вернее, боюсь не проснуться.

* * *

Не спюют тормоза и не свистнет авто колесом,
Город слёг до утра, жар спадает, за стенкой ни звука,

Постарайся уснуть и увидеть старательский сон –
Заматают Москву золотые пески Учкудука.

Это прошлый двадцатый своих оставляет себе –
Собирает, боясь потерять, как талоны на водку.
Полетят космонавты в один необъятный Тибет,
И рабочие люди уйдут в неоплаченный отпуск,

И в иной стороне без предела продолжится БАМ,
Магомаев споёт, и заменит хрусталики Мильман,
Будет жарить минтая столовая по четвергам,
И глазами стрелять – Робин Гуд из одесского фильма.

Ты меня отпусти, мой отцовский двадцатый, не трожь,
Я одно из твоих нелюбимых поточных изделий.
Все «икарусы» вышли в тираж и закрыто метро.
Помаши на прощанье пятнистой ладонью Фиделя.

* * *

У сталинки с граффити «русский, не квась!»
Асфальт многослойный положен,
Когда-то тут кирха на солнце пеклась,
На сложенный зонтик похожа,

А новое время, не знавшее кирх,
Оставило клумбу-корыто,
А дальше, на сровненном кладбище – цирк,
Похожий на зонтик раскрытый.

Всплывает весна, и растопленным днём,
В котором тонули черешни,
Прошли мимо цирка мы с мамой вдвоём,
Сквозь свет нестерпимый, крошечный,

Сквозь шорох акаций и пенье песка,
Сквозь царство непуганых кошек,
И помню сандалии на ремешках
И мамино платье в горошек,

Плескались на белых домах простыни –
Плакаты со словом «товарищ»,
Асфальт проминался, точь-в-точь пластилин,
И наши следы оставались,

И вдруг надо всем, в голубой высоте,
Со звоном побилась посуда,
Затем темнота наступила, затем
Явились, незнамо откуда:

Буфет полосатый, не дуб, не орех,
Нездешний цветок на гардине,
И тень колокольни на заднем дворе,
Поломанная в середине.

* * *

Там, где госзаказ фабричным дымом
Поднимается столбами ввысь,
Александр Валентинович Климов
Выйдет по Саратову пройтись.

Будет догорать цветное лето,
Будет в сером он дождевике,
И дымиться будет сигарета
В крепком пролетарском кулаке.

Он увидит – встали, как скульптуры,
Позади музея моряков
Григоров, завсектором культуры,
И начальник смены Пермяков.

Подойдёт к товарищам и спросит
О здоровье каждого из них,
Выполнен ли план на сенокосе
Иль внештатный вдруг момент возник?

Те же станут счастливы, как дети,
Чудо волжских зорь плеснут в стакан.
Наконец-то появился третий,
Это словно в трио музыкант.

Время есть, не будет нагоняя,
Просыпается район родной,
И поёт про свадьбу Магомаев
Из раструба возле проходной.

Выпьют, постоят, закурят «Приму»,
И, вставляя в строфы матерок,
Прочитает стих товарищ Климов,
Свежий, словно с Волги ветерок.

* * *

Ржавый костяк механизма,
Весь оплетённый лозою,
Кажется анахронизмом
Как метрострой в мезозое,
И на застывшем заводе,
Ветреным вечером мгlistым,
Криками чайки разводят
Редкого гостя туриста.

В эту осеннюю пору,
От унижения горбясь,
Словно поверженный Форум,
Смотрится брежневский корпус.

Тут создавали машины,
Делали не для наживы.
И разошлись старожилы
В нашей эпохе паршивой.

Старые спят терриконы.
Этот пейзаж Украины
Словно срисован с иконы.
И зарастают руины
Дикой лозою упругой
Так, что выкашивать впору,
И оглашает округу –
Титом Лукрецием – ворон.

* * *

Герману Титову

Море чуть слышно стонет, переходя на свист
Вот он стоит на склоне, гипсовый мой горнист.
Мой одинокий, жалкий – там, где кипит паслён
И пузырьки фиалки поработили склон.

Южная часть России, степи её, леса.
Что же так облупились белые корпуса?
И не скрипят качели у небольшой реки.
Что же так заржавели детские турники?

Ты воструби, мой ангел, вплоть до небесных сфер –
Встанут танки и танки, бедный СССР,
И на заре заводы трубами задымят.
Детям твоим сегодня стукнуло пятьдесят.

Ты нам сыграй на счастье – только не вострубит,
Нет у него запястья, горн у него отбит,
И не узнать, хоть тресни, так ли они нужны,
Эти жемчужки песни в раковинах ушных.

* * *

Вот-вот прикроют русские бистро,
Свернут все тенты, спрячут всё квасное,
И голый сквер запахнет так остро
Всеобщим возвращеньем к перегну.

Я помню эту осень в двух веках,
До тополей над переулком Тёплым,
До патины на бронзовых руках
Калинина, до ржавчины на стёклах,

Ещё до всех погромов в новостях,
До красных луж узбекского портвейна,

И мусора, залиvisto свистя,
Сгоняли нас с брусчатки мавзолейной,

Ещё цвели невзрачные кусты,
И гром рычал, субботний день венчая,
У водосточных рукавов пустых
Раскачивались пальцы иван-чая,

Москва скрывалась плёнками дождя,
И, сквозь туман, не говоря ни слова,
Ты мне рукой махала, уходя
По переходу площади Свердлова.

* * *

До войны, как до сотворения мира,
Что, наверно, соотносимо,
Так библейски давно, что жара не томила
И дожди проходили мимо,

Четверть нашего сада, довольно ловко
Отхватили соседи. Прежде
Было кладбище маленьким, а грунтовку
До райцентра насыпал Брежнев.

Мы уехали в город, комфорта ради,
А соседи, стыда не чуя,
Ели яблочки с яблонек, что наш прадед
Прививал, как учил Мичурин.

«Я недавно была в том краю, и краше
Нет пейзажей, наверно, милый, —
Посреди пустыря лишь яблони наши
И до самой дороги — могилы».

Я молчу, одряхлевшей соседке внемлю.
Пробивается дождик робко,
Довоенные люди уходят в землю,
Довоенные яблони — в топку.

* * *

Жизнь прошла, но не вышла,
Наверное, выхода нет.
Над останкинской вышкой
Ползёт переменчивый свет.

Дождь пройдёт над столицей,
От ветра не будет вреда,
И ещё настоится
На белой сирени вода.

Сад, что клевером выткан,
Очнётся и станет тенист,
И сквозь новую плитку
Настурция выбросит лист.

Сердце чисто созижди,
Пускай эти знаки малы
Но к растительной жизни
Вернутся сухие стволы,

И глядишь без опаски
(Теперь наши взгляды близки),
Как в анютины глазки,
В картофельные глазки.

Михаил САДОВСКИЙ

Родился в городе Богородске Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета. Преподаватель высшей категории.

Инициатор и организатор поэтических турниров и фестивалей студенчества. Ведущий и организатор фестивалей и творческих акций «Библионочь», «Ночь искусств». Ведущий городской акции «Читающий Нижний». Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», «День литературы», альманахах «Академия поэзии», «Вселенная Учитель», журналах «Невский альманах», «Нижний Новгород». Живет в Нижнем Новгороде.

ИСПОВЕДЬ ПОДСОЗНАНИЯ

Определение поэзии

Олегу Рябову

Поэзия, исповедь подсознания,
В сны врывается, вероломная,
Размахиваешь: любовь словно зная;
Исповедальности тяга огромная.

Исповедальности тяга подспудная,
Грешно безгрешная – вся! –
Так планы спутала, как бес попутал,
И – исповедуешься!

Зачем ты сносишь башню поэта?
Я на тебя наложил табу.
Но сквозь преграды и все запреты
Врываешься
в мою судьбу.

Ах, Татьяна, та страсть Онегина
Не тобой ли беспардонно разбужена?
И потому в веках живут, не отнекиваясь,
Исповедальные строки Пушкина!

Что ты творишь, вытворяешь с нами?
Это душа не позволяла, не грезила...
Поэзия – исповедь подсознания,
Исповедь подсознания – поэзия!

Александру Боброву

Владимиру Скворцову

Мы на крылечко вышли,
Как на бережок.
Вдруг магниевой вспышкой
Нас озарил снежок!

Ночь

Божественный спадает локон,
Пряча взгляд сияюще искренний.
Звезд космическая солонка
Осенит светозарными искрами.

Отражается, словно в Узоле,
Всё во мне. «Красота!» – назови.
Нас с тобою роднит пуд соли
И к нему – семь пудов любви.

Песня

Вероника, Вероника,
Из каких таких миров,
Неземная, ты возникла?
Называется: любовь?

Вероника, Вероника,
Спрячу я от всех ветров –
Ты к плечам моим приникла.
Называется: любовь?

Вероника, Вероника,
Нам с тобой не надо слов –
Губ лесная земляника.
Называется – любовь!

Имя

Словно жар, повторяю губами сухими:
«Я забыл твое имя, я забыл твое имя».

Память не подвластна никаким лекалам.
Как занозу, имя из небытия извлекаю.

Рана ноет, стонет, ревет, болит,
Словно пространства рвущий болид.

Я забыл твое имя, забыл, прости.
Имени твоего не воспроизвести.

Я ли забыл или ты ли забыла?
Но между нами все было, было...

Порхало бабочкой платьице летнее...
Но забыть... Это дело последнее.

Александр Сергеевич, зная гения пыл,
В заветном списке чье-то имя забыл...

В веках никогда не живут вне имени
Благоуханные Рим и Римини.

Имя ищу, мучась, впадаю в отчаянье:
Растворилось, как сахар в чае.

Жизнь мчится резвая, звеня трамваем.
Я забыл имя... Мы забываем...

...Плавно плыло облачко безымянное,
Лучики просвечивали духмяные.

Лесное озеро утренним паром
Так безымянно в душу запало.

Забыв имя автора, строчку твержу без запинки.
Бежит безымянная вдаль тропинка.

...Не возгордитесь висками седыми.
Не зная имени, творите Во имя!

Комбат

Памяти Игоря Грача

Зайдется ли снегопад,
Завоет ли вьюга истошно —
Всё кажется: всё невтопад.
И на душе так тошно.

Будто я в чем виноват...

Взгляды ли, поцелуи ли —
Всё невтопад, невтопад...
Лишь попадають пули
в друзей...

И слёз не удержит комбат.

Реплика в дискуссии о смысле жизни

Среди всемирного кошмара,
мой друг, не потеряй лица:
мы живем, чтоб радовать маму,
бабушку, деда, отца...

Сергей МИХЕЕВ

Родился в 1974 году в рабочем поселке Вача Горьковской области. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, затем финансовый факультет того же вуза. Работал директором ГБУ «Рекшинское профессиональное училище-интернат для инвалидов», генеральным директором ООО «Госорг-контакт».

Живет в Нижнем Новгороде.

ВЕЛИКИЙ ПОСТОВОЙ

* * *

Мыши тысячу раз перебрали крупу,
И фореитор пропил свою шпагу,
Тень живёт у меня в гардеробном шкафу
И оттуда ни шагу.

Я до дыр заносил свой парчовый камзол
И без этого видевший виды,
Мне бы Золушку выбрать тогда из двух зол –
Не держала б обиды.

Не рвала б сюртуки и не крала б носок,
Не звала бы чертей на подмогу.
Всё равно не покинуть ей дом из досок,
Не уйти босоногой.

Я закрыл в шифоньере бродячий сюжет,
Не гулять ему вновь по Европе,
Не увидит теперь никогда белый свет
То ли Золушку, то ли Родопис.

Да и мне гардероб не пополнить никак,
Не составить отшельнице пару.
Скрысил старый фореитор хрустальный башмак
И отнёс антиквару.

* * *

То заклинают людей экзорцисты,
То Кьеркегор, то Сартр.
В Нижнем Новгороде цветут нарциссы,
Значит, в Париже март.

В венецианских каналах дельфины,
Но мост Риальто пуст.
На Ковалихе тонут машины,
Значит, Венеция тут.

Закрыты в Сан-Пьетро врата Филарета,
Пьету не увидеть.
Но рядом с вокзалом в Канавине где-то
Тихо плакала мать.

Вдоль Волги стоят пароходы на рейде,
Diamond Princess в порту,
На Тенерифе волнуется Тейде,
Я у окна вздохну.

* * *

Выйди к Пале-Роялю ночью в окно Парижа.
Зачем тебе двери и лестницы? Так быстрее и ближе.
Бейся хвостом и лапами, переплывая Сену,
Но не царапай острыми когтями старые стены.

Сядь на восьмую линию, покинув Дворец инвалидов,
И вынырни неожиданно где-нибудь в сердце Мадрида.
Выпей немного пингуса, поразмышляй о вечном,
И каникулы римские будут тебе обеспечены.

Смотри, как цветут нарциссы, крокусы и магнолии,
Но не ищи справедливости, бродя вокруг Капитолия.
Там ты найдешь только лестницу между двух Диоскуров
И конного Марка Аврелия – бронзовую скульптуру.

Смешаются в воображении люди, фигуры и лица,
Пусть вечно тебя преследует сражение под Аустерлицем.
С видом на площадь Венеции скромно постой на балконе,
И все мировые столицы сольются в одном флаконе.

Числители и знаменатели придут вскоре к общему мнению,
Найдут параллельные линии точки соприкосновения,
И, не соблюдая приличий, не зная ни чина, ни ранга,
Тебе улыбнется во Франции загадочная итальянка.

Сенная площадь

Санкт-Петербург – он как телефон –
Такой же многоканальный,
Река протекает с названием Фон-
танка меж старых зданий,

Витиеватый барочный роман
С бульварным романом дерутся,
Шавермой становится шаурма
В умелых руках бейрутца.

Он подпирает стену стеной
И аркою Триумфальной...
Пахнет свободой в метро на Сенной,
А наверху – хинкальной.

Майор Федоренко

Я помню, прямо на Большой Покровской,
Почти не нарываясь на скандал,
Курили мы по кругу папироску
И пили в арке Цоя спирт «Роял».

Растрачивая жизнь страстям в угоду,
Мы всё же видели, как гордой головой
Здесь, возвышаясь над толпой народа,
Ходил один Великий Постовой!

Его пытались гнуть через коленку,
Под нос совали много разных ксив,
Но капитан ГИБДД А. Федоренко
Был неподкупен, строг и справедлив.

Он не был ни стяжателем, ни вором.
В народе почитаем и любим.
Но вот беда: представился майором
Лет в шестьдесят... ну, может, с небольшим,

И вместе с ним закончилась эпоха
Людей, которым был не важен чин...
А мы на задних лапах ловим крохи,
Мня из себя порядочных мужчин.

Олег ЗАХАРОВ

Родился в 1961 году в селе Новоликееве Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы.

Поэт, публицист. Автор книг «Кстохмы» (2006), «Нежданный гость» (2011), «Иронист.ру» (2016), «Есть повод!» (2016). Лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 2007 и 2012 годов. Призер международного литературного конкурса «Жизнь прекрасна!» (г. Аахен, Германия). Серебряный лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России. Живет в Кстове.

КОНТРОЛЬНАЯ РИФМА В ВИСОК

Пародии

Садовод-любитель

*Цветущий сад в росе,
Плоды роняют сливы...
Мне тоже, как и всем,
Быть хочется счастливым.*

Дмитрий Терентьев,
Нижний Новгород

Чтоб в обществе блистать
Солидней с каждым годом,
Хотел я с детства стать
Великим садоводом.

Но пропустил урок
Про пестик и тычинку.
Учёба мне не впрок,
Познания в новинку.

Сады цветут весной,
Плоды роняют в осень:
Я новостью такой
Был опростоволосен.

Пишу, а в горле ком —
Еды в дому ни крошки.
Декабрь за окном.
Пойду нарву картошки.

Лох-несское чудовище

*Я нужен, как сумерки, свету,
Как тихому омуту бес,
Как Йети последний – Тибету,
И чудище – озеру Несс!*

Леонид Колганов, Кирьят-Гат, Израиль

Не скрыть уже этого факта,
Такая случилась беда:
В Шотландии будучи как-то,
Я вышел на берег пруда.

Я помню момент этот остро,
Виски и поныне седы:
Увидел я голову монстра
Над призрачной гладью воды.

Всё вышло как в слабенькой пьесе,
Ведь я в географии плох –
Воскликнул я: «Это же Несси!»
А Несси ответило: «Лох!»

Семейное счастье

*Были там любовь и счастье, были дети.
Я ходил ногами по большой планете...*

Борис Родин, Санкт-Петербург

Много разных женщин на большой планете,
Но ходил ногами я к одной лишь Свете.
Я глазами видел женщину в расцвете
И считал, что Света лучше всех на свете.

Обнимал руками Свету на рассвете,
Целовал губами ночью и при свете.
От любви и счастья появились дети.
Но процессы эти
Я держу в секрете.

Всё, что нужно...

*Ты все так долго искал
Покая. Созвучья. Участья...
...Россия. Распутин. Байкал...
Ну что ещё нужно для счастья?*

Диана Кан, Оренбург

Посмотришь, бывало, вокруг:
Край отчий. Россия. Отчизна.

Радищев. Москва. Петербург...
Ну что вам ещё для туризма?

В дубраве слышны голоса,
Зимой отголосок их гулкий.
...Сусанин. Поляки. Леса...
Чего вам ещё для прогулки?

К душе обратите свой взор,
Почувствуйте, счастье какое! –
Раскольников. Бабка. Топор...
Пожалуй, есть всё для покоя...

Осторожно, стихопад!

*Стихопад, стихолёт, стиховой...
Рифмы всюду, как листья, кружатся.
То взлетают, то тихо ложатся
На поляны, как между бровей...*

Станислав Афонский, Н. Новгород

Нам, поэтам, в любые века,
Видно, с рифмами должно сражаться.
А они то летят, то кружатся,
То как пули свистят у виска.

Как-то шёл я тенёчком аллей,
Безобидный стишок сочиняя.
Тут какая-то рифма шальная
Залетела мне между бровей.

Что такое случиться могло б? –
Голова совершенно пустая...
Оказалось, она разрывная –
Эта рифма, попавшая в лоб.

Так я свой не закончил стишок.
Сочиню тогда новый, и точка!
Только вымучил первую строчку,
Тут контрольная рифма в висок...

Поэзия вдыбь!

*Земле тепло и без огня вулканов,
Красива и без волн морская зыбь,
Но скучно моряку без океанов,
А конь красивее, когда поднялся вдыбь.*

Василий Сочнев, Нижний Новгород

Бесстрастные стихи приятно слушать,
В них нет ни потрясений и ни дразг.

Но лишь тогда стихи тревожат душу,
Когда от строчек чувствуется встряск.

А чтоб в стихах не проявлялась немощь,
Вы у меня учитесь, молодежь!
Для этого творю и в утръ, и всенощь.
Я сочиняю всядь и даже влѣжь.

Творю безостановочно я, ибо
Зачем тогда талант мне Богом дан?!
Поэтому пишу, какой бы ни был –
И вдрызг, и влом, и даже вдрабадан!

Писатель я речистый, норовистый,
Ну, а стихи – как в тёмном царстве луч!
Вот только получил от пародиста
Я, как обычно, взбучь и нахлобучь...

Ранний талант

*Смолкнул гул канонады и грохот атак...
В дороге мотор не заглохнул ни разу...*

Александр Потапов, Рязань

Я рано постигнул к писательству тягу,
Способности смогнул заметить в себе,
И вот потому и перо, и бумага –
Первейший набор у поэта в судьбе.

Стихи свои смело читаю со сцены.
Моих почитателей ширится круг.
Мне в этом помогнул талант несомненный,
Исчезнула робость, ослабнул испуг.

Вдруг что-то случилось, пошло не по плану.
Я снова в печали. Я снова в тоске.
Затихнул, зачахнул, поникнул, увянул,
Очнувшись от фразы: «Потапов, к доске!»

Весна на казённой улице

*Но разнотравно, разноцветно,
Вон из-за тех далеких гор
Вступает лето незаметно
Здесь в силу, словно приговор...*

Иван Мигалкин, Республика Саха.
Перевод: Евгений Каминский, СПб.

Когда весна придёт – не знаю,
Тут каждый свой мотает срок,
Но нынче утром вертухаю
Запела птичка-стукачок.

Случайно выглянешь в оконце:
В цвету весь лагерь от и до.
Уж из-за гор выходит солнце
Чуть раньше срока.
По УДО.

Пришла весна легко и плавно,
Как прокурор наш городской.
Всё разноцветно, разнотравно
В кустах малины воровской.

И я от вас уже не скрою,
Что просто кругом голова.
От чувств, проснувшихся с весною,
В душе рождаются слова,

И я пишу...
Не ради славы.
Надежду хрупкую храня,
Пишу повинную маляву,
Что с зоны выведет меня.

Неожиданное открытие

*Когда берёзы раздевают платья,
Гляжу на них из вечности тайком...*

*...Моих стихов мой город не читает,
Ведь городу сейчас не до стихов!..*

Виктор Тихомиров-Тихвинский, г. Тихвин

Надеть или одеть? Скажи на милость,
Какой глагол использовать и как?
Вчера со мною вот что приключилось:
Я друга снял, раздев с него пиджак.

На самом деле я нормальный, братцы!
Заботливый и папа я, и муж.
Тут как-то раз, собравшись прогуляться,
Надел жену, обув её к тому ж.

Я точно помню (я же не невежда!),
Нам свет простое правило прольёт:
«Надеть Надежду и одеть одежду».
А может быть, совсем наоборот?

На склоне лет – ведь я уже немолод –
Вам горестную тайну разглашу:
Вот почему читать не хочет город
Моих стихов,
Которых я пишу...

Михаил СМИРНОВ

Родился в 1958 году в городе Салавате Башкирской АССР. Образование среднее техническое. Печатался в литературных изданиях «Нижний Новгород», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Молодая гвардия», «Новая литература», «Сибирские огни», «Север», «Бельские просторы» и других.

Автор ряда книг прозы. Лауреат международной премии «Филантроп», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и других.

Живет в Салавате.

НАШ СЫН И ВАШ БРАТ

Вечером, вернувшись с работы, Семён отмахнулся от мужиков, которые играли за столиком в домино, поздоровался с соседками, сидевшими на лавке возле подъезда, медленно поднялся по лестнице, открыл дверь, повесил авоську с пустой банкой на гвоздь в прихожей и молча стал разуваться.

— Сёма, — вытирая руки, из кухни вышла жена и полотенчиком шлёпнула сына, который подбежал и принялся тормозить отца. — Алёшка, не мешай. Отстань от папки! Слышь, Сёма, — опять сказала она, наблюдая, как муж медленно разулся, прошёл в зал и уселся на стул, устало вытянув ноги, и принялся растирать лицо ладонями. — Устал, да? Сейчас покормлю. Чутьочку потерпи. Что хотела сказать... Телеграмма пришла. Матвей возвращается...

— Матвейка? — Семён нахмурился, и взглянул на жену. — Кто сказал? Он же... — и неопределённо кивнул головой.

— Да, правда, твой брат приезжает, — пожала плечами жена и погрозила пальцем ребятишкам, которые носились по квартире. — Надя была в деревне. Сказала, что принесли телеграмму. На Троицу Матвей возвращается. Дед велел всем приехать на праздник и чтобы все мужики были с наградами.

— Зачем? — опять нахмурился Семён.

— Хочет встречу устроить. Он ещё передал, что свинью надо заколоть. Это тебя попросил сделать. Сказал, что у тебя рука лёгкая, — жена прикрикнула на ребятишек, которые устроили войнушку в квартире, и опять повернулась к мужу. — Надо съездить, Сёма. Всё-таки ваш брат

и сын приезжает. Столько лет не был дома. Наверное, срок отсидел, и освободили.

– Наш брат или... – Семён замолчал, поднялся, доставая папироску, и вышел на балкон. – Где он был, когда мы воевали, а? – он тяжело взглянул на жену и задымил: густо, нервно и озлобленно. – Не успеешь в деревне появиться, как встречные-поперечные начинают носом тыкать, что Матвей...

– Сёма, не заводись, успокойся, – перебивая, сказала жена. – Отец велел. Значит, надо ехать.

– Ну, если отец велел... – помедлив, повторил Семён и вздохнул. – Ну хорошо. Съездим и встретим. Ишь ты, брат... – он мотнул головой и, плюнув, выбросил окурочек на улицу.

...Семён долго сидел на низком чурбаке, почёсывая свинью. На зиму откармливали её, чтобы на всех поделить, но теперь придётся резать, так велел отец, а ему нельзя перечить. Семён вздохнул. В сторонке всполошно заорал петух, захлопал крыльями – пыль поднялась, – подзывая несколько молоденьких кур, и принялся торопливо клевать. Видать, что-то нашёл в старой соломе.

– Сёмка, ну как там? – донёсся тихий голос матери, и она заглянула в сарай, стоявший на заднем дворе. – Долго ещё ждать?

– Не мешайте, пусть успокоится, – буркнул Семён, продолжая чесать свинью, и кивнул на толстую перекладину над головой. – Приготовьте верёвки.

Он хмуро осмотрел сарай. Несколько кур копошились, разгребая старую солому. В углу завохтала наседка. Потягиваясь, появилась пёстрая кошка. Запрыгнула на перегородку, посидела, словно прислушивалась, и быстро исчезла в тёмном углу. Полезла на сеновал. Видать, услышала мышиную возню. Семён осмотрелся. После войны, когда он вернулся, тяжело было жить, сарай пустовал, всё съели за годы войны, долго восстанавливали хозяйство, а сейчас хоть какая-никакая, но скотинёшка появилась: коза и овечка, да вот эта свинка, а ещё куры бегают. На лето стали ребятишек отправлять в деревню. Соседка приносит молоко. И ребятишки все каникулы проводят здесь. Хорошо, вольготно, не то что в городе. Опять заскрипела дверь. В проёме появилась мать. Прислонившись к столбу, наблюдала за ним. Семён мельком заметил, как братья готовили пучки соломы и проверяли паяльную лампу. Потом приволокли корыто. Мать вышла, быстро сполоснула его и приставила к стене, чтобы стекла вода. Братья столпились возле входа, закурили и зашептались, стараясь не мешать.

Свинья похрюкивала, тыкалась грязным пятком в колено и старалась прислониться. Семён, похлопав по холке, осторожно отодвинулся и продолжил чесать свинью. Пошарил за спиной, нащупал рукоятку, крепко зажал в руке, на мгновение застыл, глядя на свинью, потом перехватил её за переднюю ногу, резко дёрнул вверх, всадил длинный трофейный штык-нож и провернул. Свинья рванулась в сторону, завизжала, дёрнулась и повалилась на землю. Семён поднялся, продолжая держать в руке окровавленный штык-нож. Схватил верёвку, быстро захлестнул петлёй задние ноги, позвал братьев, волоком дотащили свинью до перекладки и, перекинув толстую верёвку, подняли над приготовленным корытом. Придерживая голову свинье, он размашисто располосовал горло. Забулькала кровь и струёй стала стекать в корыто. Семён протёр клинок, поднялся на крылечко, в сенях подсунул штык-нож под бревно, вышел и принялся отмывать руки.

– Всё, заколол, – коротко сказал он и вздохнул. – Хорошая была свинья. Даже жалко стало её. Ладно, можете разделявать.

– Сёма, выпей, – рядом стояла мать, протягивая на тарелке старую обшарпанную кружку с мутной жидкостью и повядший огурец. – У тебя лёгкая рука, не мучаешь животину. Мясо вкусным будет. На, выпей.

Взяв кружку, Семён хмуро взглянул из-под кустистых бровей. Медленно выпил. Поморщился. Отмахнулся от огурца. На ладонь вылил остатки самогонки и, крикнув, растёр шею, потом подошёл к корыту и, зачерпнув полную кружку крови, неторопливо выпил.

– Эх, хорошо, – сказал он, вытирая окровавленные губы. – Вкусно. Полезно для организма.

– Пап, папка, – подскочил Алёшка, крепкий мальчишка, лет семи-восьми, одетый в коротковатые штаны и в клетчатую рубашку с латками на локтях, и махнул длинным прутом. – Правда, вкусно? Дай попробовать, а? – и потянулся к отцу.

– Да, Алёшка, кровь – это полезная штука, особенно для тебя, – сказал отец и протянул кружку. – На, пробуй, – и протянул кружку сыну. – Я всегда пил, сколько себя помню. Вкусно!

– Фу-у, дрянь какая-то, – попробовав на язык, Алёшка брезгливо поморщился и сплюнул. – Я-то думал, что вкусно. Баб, когда кушать будем? А, ну ладно. Позовёшь. Папка, я побежал играть. Вон, мальчишки ждали, – и громко крикнув, помчался за калитку, где ждали друзья.

Семён вышел на улицу. Постоял, осматривая небольшую деревню. Отдельно стояла школа. Сейчас каникулы. Там тишина. И замок висит. Рядом с домом тётки Клавы, которая лечила травами и заговорами, на скамеечке сидело несколько человек. Наверное, болеют, а может, просто подошли поболтать. Тётка Клава всех привечала. Ночью постучись, и она откроет дверь и пойдёт в ночь, в непогоду, в любой мороз или дождь, если это нужно людям. Хорошая она, добрая.

Он оглянулся. Возле палисадника, где росла бузина, стояли и разговаривали соседки – старухи, кто неподалёку жил. Они пришли, чтобы посмотреть на гостей. Прознали, что должен приехать Матвей, и теперь отцу покоя не давали. Семён нахмурился, развернулся и подошёл к крыльцу. Уселся, достал папиросы. Закурил. Выпустив облачко дыма, осмотрелся по сторонам. Братья на заднем дворе разделяли тушу. Переговаривались, о чём-то спорили, громко смеялись. Изредка выпивали, когда мать подносила кружку с самогоном, и снова брались за работу. Тревожно завывала собака, почуяв кровь, и умолкла, забила в конуру, когда кто-то бросил в неё камень. А кошка крутилась рядом с корытом, надеясь что-нибудь утащить, а потом припала к лужице крови, которую нечаянно пролили на землю.

В сенях хлопнула дверь, и на крыльцо вышел отец: высокий, моластый, с виду ещё крепкий старик, в старых штанах с заплатами на коленях, рубаха навыпуск и босоногий. Постоял, покручивая длинный ус, исподлобья посмотрел на сыновей. Потом взглянул на внуков, которые носились по двору, мешая взрослым. Цыкнул на них, погрозил узловатым пальцем – малышня бросилась врассыпную. Громко зевнул и, поглаживая лысину и узенький венчик волос, присел рядом с Семёном.

– Наташ, поди-ка сюда, – позвал жену, дождался, когда она подошла, и взглядом показал на старух, которые собрались возле палисадника, о чём-то разговаривали и изредка, словно невзначай, заглядывали во двор, смотрели, что делается у них. – Наташ, скажи, чтобы разошлись. Негоже под чужими окнами торчать, негоже. Угощу всех, когда придёт время. Всех

позову, а сейчас пусть не путаются под ногами, не отвлекают. Не до них, – а потом ткнул пальцем в дочерей. – Скажи нашим девкам, чтобы требухой занялись. Нечего бездельничать и лясы точить с соседями. Стоят, ворон ловят да кости перемывают, как бабки старые, – и не удержался, погрозил пальцем. – Надька, сейчас крапиву возьму и не посмотрю, что взрослая деваха, – отлуплю! Клавка, живо взяла тазик и пошла работать. Эй, ребятаки, – окликнул он взрослых сыновей. – Хватит хаханьки разводить – не бабы базарные. Чище опаливайте свинку, чище. Сами же будете кушать. Свиные уши опалите, разделите и отдайте ребятишкам – вкусно. И шевелитесь. Нечего гонять лодыря. Время не ждёт, в рот пароход! – и, нахмурившись, привстал на крыльчке, когда увидел, что во двор зашёл невысокий мужичок. – Ну-ка, пошёл отсюда, сволота! Ещё раз увижу, взашей выгоню. Вон отсюда! Сколько можно говорить, что в мой дом дорога закрыта для тебя! – дождавшись, когда мужик выскочил и скрылся за палисадником, он опять присел на крыльце. – Гад, все деревенские мужики воевали, а этот метрику подделал и прятался за спинами наших баб. А сейчас в грудь кулаком стучит, что, если бы не он, вся деревня бы передохла от голода. Тоже мне, спаситель нашёлся. Сволота! – опять повторил он.

Таким он был всегда: грозным, но в основном только с виду и на людях, вечно хмурым, редко улыбался. Сам за двоих работал и других заставлял. А когда вернулся с тяжёлым увечьем с войны, пришлось почти всю тяжёлую работу перекладывать на сыновей и дочерей. Нужно было поднимать хозяйство. Ладно, семье удалось выжить, с голоду никто не умер, хоть и опухали, как бабка говорила. Тяжёлые времена были, голодные. Всё продали, лишь бы девчонок спасти от смерти. Если удалось пережить зиму, весной облегчённо вздыхали. На траве держались да на рыбе, что ловили. Сети плели, верши готовили и весной выходили на речку. Все становились рыбаками, от мала до велика. Если взрослые не могли, тогда дети уходили на реку, а вечерами улов делили по едокам. Так и жили всей деревней. Он не испытал этого, не видел. Вместе с сыновьями на фронт ушёл. Считал, что отделались малой кровью. Шестеро ушли на войну. Один сын в танке сгорел. Второй, Матвей, в начале войны попал в плен, а когда союзники освободили из концлагеря, он отправился домой, но по дороге его арестовали и дали десятку без права переписки, нужно было страну поднимать из руин. Отсидел срок, но не стали освобождать, наоборот, ещё добавили несколько лет и отправили на поселение. Лишь недавно Матвейку выпустили, и сегодня он должен приехать домой. А остальные вернулись, хоть и все были с ранениями и контузиями. Главное – живые, а остальное – это ерунда.

– Давай-ка, выпьем, Семён, – старик подтолкнул сына и крикнул. – Слышь, Наташ, нам по рюмочке подашь? – так, в рифму, привычно сказал он и, достав из кармана папиросы, закурил.

Скрипнула дверь. Донесли шаги. На крыльце появилась старуха в юбке до пят, в тёплой кофте с длинным рукавом, несмотря на летнюю погоду и в платке. Поставила две потёртые кружки на ступеньку. Налила. Рядом поставила щербатую тарелку, положила несколько четвертинок лука, щепотку соли и кусочек ржаного хлеба и, поправив платок, молчком вернулась в избу.

– Видать, сегодня болеет, – кивнув на неё, сказал Семён. – Так и мается головой, да?

Отец взял кружку. Заглянул, передёрнулся от сивушного запаха, и медленно выпил. Поморщился. Вытер длинные усы и, шумно вздохнув, отложил в сторону кусочек хлеба.

– Да, Сёмка, хворает мать, – взглянув исподлобья, сказал старик. – И война подкосила, и Федька погиб, и голод, а потом со мной замучилась, когда с фронта привезли, да ещё столько лет прождала Матвейку. Бывало, ночью проснусь, поднимусь с полатей, чтобы водички глотнуть, гляжу, а она перед иконами стоит и шепчет. Вроде как и не ложилась даже. Петух загорланит, а она уже на ногах и хлопочет по хозяйству. Наверно, с часок вздремнула, и всё, а может, и того не было. Да, досталось нашим бабам, в рот пароход, – дунул, табак вылетел из папироски, он достал другую, размял и прикурил, выпустив облачко дыма. – Эх, жизнь!

– Правду говоришь, батя, и во время войны досталось, и после неё – проклятой, – тяжело вздохнув, буркнул Семён. – Я всю войну прошёл, а моя Нюрка поседела. Частенько бывает, ночами начинаю воевать, кое-как меня растолкает, а сама плачет. И ребятишки плачут. Залезут на одну кровать, в угол забьются и плачут. Боятся меня. Эх, ёшкин малахай! – он кулаком ударил по колену, поморщился и достал папироски. – Бывает, что себя боюсь, как бы чего не натворить спросонья. Всё война снится, – а потом взглянул на пачку и протянул. – На, кури, батя. Ну и что, что покурил, ещё бери. Про запас дыми. И я с тобой затянусь. Эх, да...

Они опять задымили. Молчали. Семён задумался, злые морщинки возле глаз появились. Сидел, не шелохнувшись, не обращая внимания, что папироска давно уж перестала чадить. Не видел, что отец поднялся и как был босиком, так и пошёл на задний двор к сыновьям. Покручивая между пальцами длинный ус, что-то долго объяснял им, показывая на разделанную тушу, потом кликнул дочерей, опять ткнул пальцем в мясо, вернулся на крыльцо и снова присел рядом с сыном.

– Ну ничего не могут без меня сделать, обормоты! – запыхтел он и погрозил пальцем. – Ух, не посмотрю, что вымахали, сниму кнут со стены, всех отстегаю. Разгильдяи, в рот пароход и в задницу корабль! – это было его любимое ругательство.

– Батя, неужели и меня отлупишь? – хохотнув, сказал Михаил, и поправил тяжёлый китель с множеством орденов и медалей. – Я же по званию намного старше тебя.

– А тебя в первую очередь, Мишка! – насупившись, рявкнул старик и, повернувшись, стал всматриваться в полутёмные сени в поисках кнута. – Не посмотрю, что в офицерах ходишь. Нацепил погоны и награды и думаешь, что на тебя управы не найдётся? Отлуплю как сидорову козу. Понял? Я – главнокомандующий в семье! И не забывайте об этом! Бабка, иди-ка сюда. Ну-ка, выпиши наряд вне очереди этому охламону, – и ткнул в сторону сына. – Отправь чистить навоз. Как раз для его офицерского кителя с сапогами. Будет знать, как отцу перечить. Ишь, стоит, бахвалится!

И Михаил, под хохот братьев и сестер, нахмутив густые бровищи, повесил китель на забор, молчком подхватил вилы и скрылся в сарае.

– Ох, суров ты, батя, суров, – покачивая головой, буркнул Семён, взглядом провожая брата. – Глянь, ведь послушался!

– А куда денется, охламон, – нахмутившись, старик опять погрозил пальцем. – Пусть попробует не выполнить. Враз вожжи или кнут возьму да пройдуся по одному месту, неделю сесть не сможет! – и неожиданно повернулся. – Сёмка, скажи правду, что думаешь про своего брата, про Матвейку?

– А что говорить о нём? – помолчав, пожал плечами Семён. – Столько лет не виделись. Вот приедет, потолкуем. Посмотрим, что у него на душе.

– Я что хочу сказать, Сёмка, – старик посмотрел по сторонам, не подслушивают ли случайно, а потом опять повернулся к сыну. – Столько лет думаю о нём и не могу поверить, что наш Матвейка сдался в плен. У него же характер – о-го-го, в рот пароход! Он костями ляжет, чем спину прогнёт. Он же комсомольским вожаком был, идейный – страсть! Всё носился по деревне с такими же, чуть не так, сразу мозги вправлял, сразу на собрание вытаскивал и песочил. Ну, а если взглянуть с другой стороны, как он смог попасть в плен, почему всю войну провёл там, а не сбежал? Ведь столько лет был в плену! Неужели не нашёл лазейку для побега? Не верю этому, в рот пароход, не поверю! Меня же таскали в органы из-за него, всё расспрашивали, всё допытывались. А что я мог рассказать? Меня же не было рядом, когда Матвейка в плен попал. Даже не знал об этом, пока в органах не сказали. Как обухом промеж глаз саданули. Думал, с копыток слечу. Всё допытывались, почему он оказался у фрицев, где пробыл всю войну, почему союзнички освободили в конце войны из концлагеря, как он попал туда. А я-то почём знаю! Потом какая-то бумага пришла. Видать, про Матвейку. Они поворчали, но отстали от меня, зато в деревне быстро прознали про это, и каждый сморчок проходу не давал, всё Матвейкой попрекали, мол, фашистский прихвостень, коль в плену побывал да на них работал. Идешь по улице, а у тебя словно печать на лбу стоит – на всю жизнь заклеямили и букочки видны – «Отец прихвостня», – и засопел, нахмурившись.

Семён снова пожал плечами.

– Не знаю, что у него на уме, – сказал он, вытащил папироску, дунул в неё – табак вылетел. – Многих война ломала. Крепче, чем Матвей были, но словно тростинки ломались. А он... Жизни не видал, хоть и был идейным, сразу на фронт попал. Сам же знаешь, батя, что в первые месяцы войны творилось. Неразбериха. Погибали, раненые попадали в плен, а другие, кто ломался, первыми погибали, а бывало, что в дезертиры подавались или к фашистам уходили, лишь бы свою шкуру спасти. Всяко бывало. И пока с Матвеем не поговорим, не увидим, с чем приехал, что в душе у него, мы не можем его судить, да и не имеем права, – так, не поднимая головы, раскачиваясь, глухо сказал Семён и опять вытащил папиросы. – Я сынка, Алёшку, отправил на остановку. Когда появится Матвей, ребяташки прибегут и предупредят. Посмотрим, что у него на душе, а потом подумаем...

– Да я всё понимаю, – досадливо стукнул кулаком по колену старик, а потом похлопал по груди, – но вот здесь болит, покоя не даёт. Столько лет прождал его, чтобы вернулся, а сейчас как на иголках сижу. С тобой болтаю, а у самого глаза в сторону калитки смотрят. Мы же до сей поры не знаем, как он оказался у фашистов. Ладно если раненый попал в беспамятстве – это ещё можно понять, а ежели, как ты говоришь, что сломался и добровольно ушёл, тогда, как к нему относиться? Вроде бы простить должен его, всё же наш сын и ваш брат, а с другой стороны – он предал нас, нашу семью, тебя, меня, свою мамку – всех. Тогда как, а? – старик замолчал, раскачиваясь, задумался, а потом сказал. – Вот возьми меня, в рот пароход. Я прошёл три войны. Три! И в окружении бывал, и в плен попадал, но всё же вырывался и опять пробирался к своим. А сколько раз было, что могли поймать, но я находил лазейку и смывался. Вон там, – он махнул рукой в сторону лесопосадки, – во время Гражданской у нас стоял омёт. Я был в дивизии Чапая. В нашей деревне стояли белые. А у меня же семья большая! Мне приходилось пробираться сюда, чтобы своих проведать, чтобы кусок хлеба принести,

лишь бы с голоду не померли. И один раз, когда появился, меня кто-то предал. Беляки бросились искать. Чую, что не успею скрыться, тогда огородами пробрался и спрятался в омёте. Они всю деревню перевернули, меня, чапаевца, искали, а потом взяли вилы и стали всаживать в омёт со всех сторон. И знаешь, Сёмка, меня спасло, что втыкали вилы – поперечина не дала глубже вогнать, а если бы стали штыками колоть, тогда мне кранты, убили бы – это точно. А потом, едва они кинулись к мельнице, я задами огорохов выскочил из деревни. До леска добрался, а там стояла привязанная лошадь. Вскочил и помчался к своим, а беляки поскакали за мной. Дважды меня ранили, но я всё же вырвался. Чуял, что смерть придёт, если поймают, в рот пароход. А Матвейка столько лет был у фрицев и живой, а я бы на его месте все жилы перегрыз, лишь бы в плен не попасть, а он живой... Почему? – и старик опять замолчал, нахмутив и без того морщинистый лоб.

Отряхивая замызганные галифе, посматривая на испачканные сапоги, к крыльцу подошёл Михаил и облокотился на перила.

– Батя, приказ выполнен, – устало хохотнув, сказал он и принялся вытирать грязные руки. – Весь навоз уничтожен... Нет, на корыте вывезен на огород и уложен в кучки. Какие будут дальнейшие указания?

– Что говоришь? – старик взглянул, потом растёр лицо ладонями и вздохнул. – А, ладно, сынок. Молодец! Одежка грязная. Почистись и умойся. Негоже в таком виде щеголять перед всеми – офицер всё же, а не дитё малое, – и, нахмурившись, погрозил. – Да, а где зятя – Колька и Витька? Кольша с нашим Петькой покрутились, пока свинью раздывали, а потом оба умотали. Почему до сей поры не появились? А куда Витька запропал? Ну-ка, живо к ним сбегал и сказал, чтобы пришли при параде. Во всей красе предстанем пред нашим сыном и вашим братом.

Достав расчёску, Михаил быстро привёл волосы в порядок. Подозвал ребятишек и велел им, чтобы позвали дядек, а сам принялся чиститься и отмываться под рукомойником.

Распахнулась калитка, и донёсся громкий крик.

– Папка, папка, фу, еле добежал, – запыхавшись от быстрого бега, заскочил Алёшка и помчался к крыльцу, за ним забежали ребята и тоже подошли, едва переводя дух, а потом выстроились в очередь перед ведром с водой и, толкаясь, принялись звучно пить из большой кружки. – Там, там дядька и тётка идут от остановки. Не деревенские – чужие! А больше никто из автобуса не выходил. Правда! Они сюда пошли по дороге, а мы с мальчишками напрямки пустились.

Едва Алёшка крикнул, что видел незнакомых людей, все переполошились. Заметались, не зная, за что хвататься, чем заняться. Мать заголосила, бросилась к калитке, но осеклась от грозного окрика старика и, прикрывая ладошкой рот, скрылась за избой. Старухи, стоявшие возле калитки, вразнобой заговорили и, прикладывая к глазам ладонь лодочкой, стали всматриваться вдаль, надеясь рассмотреть приезжих.

– Сёмка, выйди-ка, посмотри, – отец кивнул в сторону улицы, закрихтел, нахмурился, но сын заметил, как он заволновался, как заелозил по ступеньке, а потом поднялся. – А я схожу, проверю, что ребята сделали. Всё ли подготовили, да и самим нужно пиджаки набросить, – и, покрикивая на сыновей и дочерей, пошёл на задний двор, но быстро вернулся и скрылся в избе.

Семён вышел на улицу. Долго стоял возле палисадника, хмуро наблюдая, как по тропинке между кустами, то исчезая, то появляясь, мед-

ленно шёл крепкий мужик с невысокой женщиной. Изредка приостанавливались, он осматривался, махал рукой, что-то показывая, а потом опять шагали. Вон присели на старый пенёк. Там все останавливаются, чтобы отдохнуть на широком пне. Видно было, что мужик курил. Много курил – одну за другой. Видать, волновался. Потом опять побрели, а его спутница всё время поправляла на руке плащ или пальто – не разберёшь издали.

– Батя, готовься к встрече, – вернувшись, сказал Семён, взглянув исподлобья на отца. – Это Матвей идёт. Нет, я не ошибаюсь. До сих пор помню его походку. Идёт, словно подпрыгивает. Он приехал. Точно. А рядом с ним, наверное, жена.

Старик заволновался, но старался не подавать вида. Засуетился, оглаживая чистую рубашу. Потом зашёл в избу и вернулся в пиджаке, на котором посвёркивали несколько наград.

– Ну-ка, сынки, быстро ко мне! – держась за шаткие перильца, сказал он, и провёл ладонью по медалям, и принялся командовать. – Колька, я кому сказал, живо набросил китель. Петька, почему не надраил медали? Так, чтобы у всех грудь колесом была. Пусть наш сынок, а ваш брательник посмотрит, как мы воевали. Девки, всем быть на заднем дворе. Нечего пялить глаза на них. Ребятишек заберите с собой. Негоже по двору носиться в такой час. Мать, – он повернулся к бабе Наташе, – не вздумай обниматься, пока я не увижу, кто перед нами – сын или фашистский прихвостень, а то ему быстро сделаю от ворот поворот, а если кто-то к ним сунется самовольно, чтобы поздороваться, кнутом до полусмерти отстегаю. Чтобы все стояли, не шелохнувшись. Я буду вести разговоры. Всем понятно? – и хмуро посмотрел на сыновей.

– Ладно, батя, не шуми зазря, всё поняли, – вразнойбой сказали они. – Сам командуй.

Вскоре соседки-старухи зашептались, подталкивая друг друга, раздались в стороны, освобождая проход.

– А вот и гости долгожданные появились, – раздался протяжный старческий голос за забором. – Здравствуйте, Матвей Ильич! Ой, как вы изменились! Постарели, однако. А были-то каким молодым! А сейчас... А это кто рядышком – жена, да? Это хорошо! Проходите, проходите...

– Тьфу ты, появилась сорока языкая, принесла её нелегкая, – чертыхнулся старик и крикнул соседке. – Лизка, дождёшься, отстегаю, за-раза! Ну, погодь у меня...

Скрипнула калитка, распахнулась. Во двор медленно зашёл Матвей: поседевший, лицо, иссечённое глубокими морщинами, взгляд хмурый и недоверчивый, в тёмном костюме, запylённых ботинках, а в руке хозяйственная сумка. Рядом с ним была невысокая худенькая женщина: гребешок в тёмных волосах с проседью, простенькие серьги, серое платье с белым воротничком и потёртое пальто в руках, несмотря на то что стояла тёплая погода. Матвей исподлобья – взгляд как у отца, медленно осмотрел всех, шагнул вперёд, сдёрнул фуражку и низко поклонился.

– Ну, здравствуй, батя, – он посмотрел на постаревшего хмурого отца, потом на мать, которая стала ещё меньше росточком, словно высохла, – она стояла возле забора и смотрела на него, прищурившись, – задержал взгляд на Семёне, поперхнулся, сильнее сминая в руках фуражку, отвернулся и глухо сказал. – Здравствуй, мамка. Я вернулся. Я живой...

– Матвеюшка, сынок, – мать не выдержала, заголосила и бросилась к нему, но не добежала, вздрогнула от окрика, запнулась, чуть не упала

и остановилась, продолжая смотреть на постаревшего сына, которого не видела с начала войны. — Матвейка приехал, а ты... Ну как же так, отец? — и растерянно оглянулась на старика.

У Матвея задёргалась щека. Он стоял неподвижно и молчал, медленно осматривая пустой двор и родную избу. Взглянул на баньку, что стояла посреди огорода, потом на заросли черёмухи, что были за заборами. Нет, даже не заросли, а густой лес, и каждую весну, когда черёмуха расцветала, над землёй появлялось огромное белое облако, а запах такой, что голова кружилась. И этот запах он чувствовал даже во сне. Матвей глубоко вздохнул и опять посмотрел на всех. Отец и братья тоже молчали. Семён скрипнул зубами, дёрнулся было, словно хотел выйти навстречу, но остался стоять, лишь ниже склонил голову. Изредка доносились всхлипы матери, на заднем дворе слышны женские и детские голоса и за забором шептались старухи.

Прошмыгнула пёстрая кошка. Запрыгнула на завалинку и принялась умываться. Гавкнула собака, почуяв чужака, но умолкла и спряталась в конуре от резкого окрика.

Долго стоял отец, посматривая на сына. Молчал, покручивая длинный ус. Потом вздохнул, потёр щетинистую щеку и нахмурился. Насупившись — брови сошлись на переносице, взглянул исподлобья на Матвея и его спутницу и поправил пиджак, брякнув медалями и орденом.

— Ну, сынок, пройди в избу, расскажи нам, — прищурившись, он обвёл рукой сыновей и зятьёв, стоявших на крыльце в кителях и пиджаках, на которых сверкали награды и орденские планки, — где и с кем воевал, и как воевал, что-то не замечаю твоего иконостаса, — он провёл рукой по наградам и опять нахмурился. — Хорошо ли воевал, не опозорил ли нас, родителей и своих братьев и сестёр? Не стой как столб, пройди в избу. Негоже во дворе разговоры вести. Посидим, послушаем, что расскажешь. А твоя баба пусть на крыльце остаётся. Ничего с ней не случится. А у нас будет долгий разговор, — и тут же повернулся к жене. — Так, бабка, не дай бог, если кто-нибудь зайдёт в избу! Увижу, в кровь ислещу. Кнутом отстегаю любого, кто сунется в избу! Всем понятно?

И, не обращая внимания на сына, Матвея, развернулся и первым прошёл в избу. За ним потянулись сыновья и зятья. Матвей последним поднялся по ступеням, провёл ладонью по старым перилам, остановился, окинув взглядом избу, опять посмотрел на дальний черёмушник, потом прошёл вслед за всеми и захлопнул за собой скрипучую дверь.

Приостановившись в полутёмных сенях, Матвей вздохнул, осматриваясь. Возле двери стояла старая кровать. Раньше её не было, как не было выцветшего дождевика на стене. Видать, отец с фронта привёз. Старая потёртая кацавейка на гвозде, подбитая мехом, а рядом драная фуфайка. Кочедык и крепкий кнут висели на своих местах, и серп там же был воткнут. Как и раньше, как в его молодости. У отца было принято, чтобы каждая вещь лежала на своём месте, и не дай бог, если возьмут и не положат.

Разувшись, он поставил запylённые ботинки возле пары стоптанных кирзачей, рядом с ними разбитые опорки, а чуть поодаль виднелись обрезанные подшитые валенки. Наверное, мать шаркает в них, а раньше не носила. Дальше в полутьме мелькнула дверь в чулан. Частенько в нём прятался, когда с мальчишками играл — это было давно, словно в прошлой жизни, словно не с ним. Матвей вздохнул. Наклонившись, он прошёл в избу и остановился на пороге. Свежий запах выскобленных полов и кисловатый запах опары — это мать всегда скоблила косарём широкие

доски, а потом начисто промывала, и поэтому в избе стоял свежий хвойный запах, как и кисловатый – опары. Мать выпекала хлеб на капустных листах, а иногда на кленовых, но чаще подкладывала капустный лист – ей так больше нравилось. И эти запахи преследовали все годы, с той поры, как ушёл на фронт. Ушёл пареньком, а вернулся взрослым мужчиной... Матвей медленно обвёл взглядом избу. Низкая стала, небольшая, как ему показалось, не то что раньше была – светлая и просторная. А сейчас хотелось пригнуться, чтобы не задеть потолок. Большая русская печь. За ней были полаты, на которых спал отец – это он хорошо помнил. А вон в том закутке видны чугуны, ухваты и стол – это хозяйство матери, куда она никого не подпускала. Её мирок. Рядом с занавеской висит тусклое зеркало в коричневой деревянной раме. Сколько себя помнил, зеркало всегда висело на этом месте. В углу виднелась икона и еле заметно теплилась лампадка. Старая кровать с лоскутным одеялом вдоль стены. Мать спала на ней, да и сейчас тоже, наверное. А возле окна, напротив кровати длинный широкий стол – семья-то большая была – и несколько лавок. Вот и всё. Как было раньше, так и осталось, хоть прошло столько времени, много лет не был в родной избе... Матвей протяжно вздохнул. Растёр лицо ладонями – глаза покраснели. Исподлобья взглянул на сурового отца, который сидел во главе стола – это его место, хозяина, по бокам расселись братья и зятья. Сидели, курили и молчали, наблюдая за ним. И Матвей шагнул к столу...

– Ох, чует моё сердечко, что-то будет нынче, – едва закрылась дверь, запричитала мать. – Вся душа изболелась! Рассерчал отец, разгневался, как самовар кипит, того и гляди заплещет. И зайти-то запрещено – шкуру спустит. Ему нельзя перечить – хозяин, – она поправила платок, принялась осматриваться и ткнула корявым пальцем. – Слышь, как звать-то тебя, дочка?

– Татьяна, – коротко сказала спутница и устало прислонилась к перилам.

– Танька, значит, – закивала головой баба Наташа. – А я Матвейкина мамка, – и невольно оглянулась на дверь, опасаясь, что услышит старик и отлущует. – Присаживайтесь на крылечко. Не гневайтесь на отца. Характер такой. Хозяин! Пить хотите? – и помахала рукой. – Дочки, напоите её. Я бы накормила с дороги, но не могу – отец запретил заходить в избу. Потерпи, пока не поговорят. Валя, – старуха позвала сноху. – Побудь на крылечке. Гляди, чтобы никто не зашёл, а я сбегаю на огород, чутко повожусь на грядках, пока они разговоры разговаривают, может, полегче на душе станет, а то места не могу найти.

– Баб Наташ, – кто-то окликнул из-за забора. – Ну что там, как сынок?

– Отстаньте, не до вас, – отмахнувшись от назойливых соседок, баба Наташа ушла на огород, что был позади дома, принялась было дёргать сорняки, но не удержалась, подошла к грядке, надёргала лук и вернулась к крыльцу, держа в руках небольшой пучок. – Скажи правду, Тань, как на духу, а когда нашего Матвейку выпустили из каталажки? – спросила у приезжей.

Татьяна отставила помятую кружку с водой на крыльцо и пожала плечами.

– Ему давали десятку, но в конце срока ещё добавили несколько лет, – тихо, блёкло, сказала Татьяна, видно было, что ей уже надоели с такими расспросами. – Когда освободили и разрешили выезжать, мы собрались и сюда поехали. Матвей скучал, хотел всех увидеть, но в то же время опасался, что на порог не пустите, выгоните.

Продолжая теребить в руках пучок лука, баба Наташа внимательно слушала, покачивала головой, а потом, словно решившись, оглянулась на дверь и прошептала:

– Скажи как на духу, а Матвейка – предатель или нет?

Отшатнувшись, Татьяна в лице изменилась – пятнами пошла, потом резко побледнела и хотела что-то сказать, но в это время из избы донёсся громкий протяжный крик, а потом с треском разлетелась табуретка.

– Всё, беда пришла, – запричитала баба Наташа, прислушиваясь к шуму, положила пучок лука на завалинку, едва стала подниматься по ступеням, чтобы зайти в избу, но вспомнила, что дед запретил заходить, и тогда торопливо принялась осматриваться. – Сейчас смертоубийство начнётся, – забормотала она, а потом протяжно закричала. – Ребятишки, подойдите сюда! – и замахала руками. – Побыстрее...

Оглянувшись на крик, Алёшка поддёрнул сползающие штаны, что-то сказал друзьям, с кем играл возле ворот на полянке и, открыв калитку, они подбежали.

– Что, баб? – вразнобой заговорили они. – Зачем звала? Мы же играем, а ты мешаешь.

– Прoberитесь в избу, ребятаки, – наклонившись к ним, тихо сказала баба Наташа. – Потихонечку погляньте, что там творится, – и ткнула пальцем. – Слышите, как ругаются. Дед Илья запретил взрослым заходить в избу, а вас, мальцов, не тронет, если заметит. Он любит вас. Прокрадитесь и послушайте. А я каждому карамельку дам. Вкусные! – и принялась шарить в кармане фартука.

– Не, баб, не пойдём, – загомонили ребятишки и вздрогнули, когда донёсся шум и громкие голоса. – Страшно! Вон, пусть Алёшка сбегает. Дедка никогда не ругает его. А мы постоим возле двери и покараулим. Лёшка, что говоришь? Ай, не бойся! Мы же рядышком будем. Иди, посмотри, – и принялись подталкивать его. – Ты же самый храбрый!

– Ну ладно, сейчас схожу, – шмыгнул Алёшка, и посмотрел на окна, плотно закрытые занавесками. – Ух, как дедка кричит! Баб, а на кого ругается, а?

– Вот и глянешь, на кого кричит, – сказала баба Наташа. – Иди, иди...

Прислушиваясь к шуму, Алёшка быстро поднялся по ступеням крыльца и исчез в полутёмных сенях. Ребятишки поднялись на крыльцо и притихли, наблюдая за ним.

Приподнявшись на цыпочки, баба Наташа старалась заглянуть в запылённое оконце, но за плотно зашторенными занавесками ничего не было видно. Перебралась к другому окну. Опять заглянула, но бесполезно. И в третьем окошке ничего не видно. Всё наглухо закрыто от постороннего взгляда. Взмахивая руками, она заметалась по двору, то торопилась к дочерям на задний двор, то опять возвращалась к крыльцу. Старухи, сидевшие на лавочке возле палисадника, тоже громко заговорили, поднялись и норовили заглянуть во двор.

Постояв возле двери, Алёшка долго прислушивался к разговору, потом с трудом приоткрыл дверь, присел на корточки и медленно заглянул. Увидел, что дед поднялся, потом стал стучать кулаком по столу, что-то говорил, поперхнулся и закашлялся, закрутил головой и направился к ведру с водой, которое стояло возле входа. Видать, в горле пересохло. Алёшка испугался, что его могут заметить, тихонечко притворил дверь, и опрометью бросился из сеней.

Ребятишки скатились по ступеням и сгруппировались возле бабы Наташи.

– Ох, дедка ругается, – появившись на крыльце, сказал Алёшка и поддёрнул штаны. – Сильно. Красный стоит, руками размахивает и по столу стучит. Баб, а там все ругаются, правда. Дядька Матвей? Он тоже орёт. Нет, не орёт, а громко говорит, говорит, а сам торопится, а потом снова все начинают спорить и руками махать. Все ругаются, а мой папка сидит, голову обхватил руками и молчит. Почему, баб?

– Ой, горюшко-то какое! – заплакала баба Наташа, и принялась вытирать слёзы кончиком платка, а за ней заголосили дочери и снохи, кто был во дворе. – Смертоубийство произойдёт. Дед разошёлся не на шутку. Теперь его ничем не остановишь. Ой, беда пришла! – и, вскарабкавшись на завалинку, опять прижавшись к стеклу, стала искать хоть небольшую щелку, чтобы заглянуть внутрь.

Следом за ней дочери и снохи облепили окна, стараясь рассмотреть, что творится в избе. Некоторые прижались к двери, надеясь услышать, о чём разговаривают мужики. Опять раздался крик, потом загалдели в избе, послышались громкие удары. Все отбежали от окон и дверей, опасаясь попасть под горячую руку старика. Девки скрылись на заднем дворе. Некоторые мелькнули на огороде и сразу принялись драть сорняки, словно и во дворе не были. Лишь Татьяна, спутница Матвея, продолжала сидеть на крыльце и о чём-то думать. Держала кружку в руках, изредка поднимала голову, осматривая двор, а потом опять задумывалась.

– Помогите, люди! – обхватив голову, заголосила баба Наташа, медленно спускаясь с крыльца. – Ой, соседи дорогие, они же поубивают друг друга! Да что же вы попрятались, а?

– Нет, баб Наташ, я не пойду, – замахала руками молодуха в ярком платочке и фуфайке, наброшенной на плечи, и, оглядываясь, пошла к соседнему двору. – Дед злой, как собака. Не посмотрит, что баба перед ним, быстро по шеем накомстыляет, что полезла не в свои дела. Ну его... Я лучше дома посижу, – и скрылась, захлопнув калитку.

– А я чем помогу? – зашамкала скрюченная старуха, опираясь на клюку. – Ты уж, Наташка, сама разберись. Это ваша семья. Илюшка сразу нос прищемит, ежели сунемся, – сказала, присела на лавку и, что-то бормоча, закачала головой.

Остальные соседи, что прибежали, услышав громкие крики, столпились возле забора, но опасались зайти в избу, зная крутой характер деда Ильи. Все хорошо помнили, как он одним ударом чуть было не убил здорового племенного быка, когда тот разорвал толстенную цепь и помчался по улице, заметив ребятишек, которые играли на дороге. А старик возвращался с мельницы и увидел. Бросился ему навстречу, ухватился за рог, рванул, разворачивая к себе, и всего лишь один раз ударил, и племенной бык остановился, помотал башкой и повалился набок. Все уж подумали, что убил быка. С трудом, но всё же удалось отлить его водой, беднягу. И сейчас, если сунутся, а вдруг под горячую руку попадёшь? Дед Илья не станет разбираться, врежет разочек, и костей не соберёшь. Он хозяин в семье. А в чужую семью нельзя соваться, так было принято в деревне.

– Эх, помощнички, – баба Наташа махнула рукой. – Только и умеете, что кости перемывать другим да за столом сидеть и самогонку глушить.

– Зря так говоришь, баб Наташ, – донеслось из-за забора. – Мы всегда придём на помощь, ежели потребуется, но в семью не полезем. Сама знаешь, что будет, если сунемся. Ваша семья – сами разбирайтесь. Извиняй...

Соседи стояли, переминались и шептались, поглядывая на избу, откуда доносился шум. А потом крики прекратились, и наступила непонятная тишина. Резко замолчали. Бабка прислушалась. Тихо в избе. Очень тихо. Это больше напугало, чем крики и ругань. Все стояли на улице и не могли понять, что там произошло. Лишь ребятишки ни на что не обращали внимания. Голосили, носились по двору, по улице, лезли на чердак и сеновал, а оттуда спрыгивали и опять принимались играть.

Оглянувшись, баба Наташа едва успела ухватить внука, который пробежал через двор, на ходу стреляя из деревянного автомата, который сам смастерил из сухих веток. Прижав к себе, она принялась что-то ему шептать. Алёшка недовольно заворчал, зашмыгал носом, потом вздохнул и кивнул, соглашаясь.

Он вскарабкался на завалинку. Прижался к стеклу. Посмотрел. Ничего не видно. Поглядывая с опаской на окна, Алёшка медленно поднялся по ступенькам в сени, тихо, чуть дыша, на цыпочках добрался до двери, приоткрыл её и сполз на пол, а потом улёгся и, едва приподняв голову, долго смотрел, что происходило за столом. Потом поднялся, притворил дверь, на цыпочках вышел и кубарем скатился с крыльца.

— Ну, что там, Алёшенька? — увидев его, встревоженно сказала баба Наташа. — Что случилось? Что дедка натворил? Говори...

— Баб, да они водку пьют! — запыхавшись, сказал Алёшка, подхватывая деревянное оружие, и помчался к огородам. — Много пьют. Кружками! А папка выпил, посмотрел на дядю Матвея и пальцем погрозил. Ладно, баб, отстань, я же играю, не мешай нам, — упал на землю и скрылся между грядками.

Раньше бы за такое отхлестали крапивой, что они балуются на огороде, а сейчас никто внимания не обращал, чем занимаются ребятишки.

— Ну всё, сейчас зальют за воротник и раздерутся, как пить дать, — опять всполошилась баба Наташа, оглядываясь на дочерей. — Стоит только мужикам губы помазать, и всё, дурная кровь в бошки ударяет, и начинают кулачищами размахивать направо и налево. Ой, соседи дорогие, уходите от греха подальше! — и замахала руками, провожая старух, которые стояли возле калитки. — Вы знаете наших мужиков, ненароком зацепят, мало не покажется. Идите, идите... — и увидела внука, который опять появился во дворе. — Алёшенька, а ты видел, что там дядя Матвей делает?

— Ай, тоже водку пьёт, — поморщившись, отмахнулся Алёшка и подёрнул сползающие штаны. — А мой папка как дёрнул рубашку, так пуговики во все стороны разлетелись. Теперь мамке придётся пришивать, если найдёт пугвочки. А зачем он кулак показывал дядь Матвею, а, баб? А дядь Петя под нос сунул кулак и что-то говорил. А зачем, баб?

Покачивая головой, баба Наташа стояла возле крылечка, о чём-то думая, потом размашисто перекрестилась, медленно поднялась по скрипучим ступеням и принялась стучать в дверь.

— Ребятки, сынки, не трогайте Матвеюшку, — громко закричала она. — Это же ваш брат. Не берите грех на душу, не надо! Ребятки... — и опять заколотила. — Отец, слышишь меня? Проклянну!

Но дверь не открывали. Видать, серьёзный разговор. Очень тяжёлый. Было слышно, как в избе громко разговаривали, почти переходили на крик, потом затихали, а через некоторое время опять начинали ругаться и стучать кулаками по столу, что-то доказывали, о чём-то спорили до хрипоты и опять громыхали по столу — того и гляди развалится.

Баба Наташа вернулась во двор. Уселась на завалинку и тихо заплакала, прижимая платок к глазам. Дочери и снохи сгрудились возле забора и молча наблюдали за ней и за избой, внимательно прислушиваясь, что там творится. Вдруг наступили тишина. Баба Наташа вытерла слезы и прильнула к запylённому стеклу, стараясь рассмотреть, что происходит. Опять поднялась по ступеням. Прошла в сени. Прислонилась к двери, ничего не услышала. Покачивая головой, она вышла на улицу. Приложив к глазам ладонь, долго смотрела в сторону ребятишек, которые играли неподалеку от дома и, заметив внука, опять замахала рукой.

— Алёшка, подь сюда, — дождалась, когда внук прибежит, и снова подтолкнула к двери. — Ты же знаешь, как заглядывать в избу, чтобы не заметили. Ты уж посмотри, что мужики делают. Нам же запретили заходить. Кнутом исхлещет. А дед не тронет тебя. Не бойсь. Он любит тебя, — она повторила. — Я знаю. Зайди, внучок, поглянь. Душа не на месте.

— Баб, я кушать хочу, — недовольно забубнил Алёшка. — Дай пирожок! Мне надоело глядеть. Что я бегаю и бегаю... Сама иди да гляди, а я есть хочу, аж в животе урчит, — и отвернулся, обидевшись. — Все мальчишки играют, ты не трогаешь их, а меня заставляешь. Иди с ними и смотри, — он продолжал недовольно бубнить.

— Подожди, внучек, подожди, попозже накормлю, — прижимая к себе, сказала баба Наташа. — Сам же видишь, что творится. Дедка никого в избу не пускает. А ежли ты зайдёшь, он не заругается. Любит тебя, — и опять повторила. — Сходи, внучек. А я кашку успела приготовить. В печке сготовила, натомила с пенкой. Вкусную, как ты любишь, пшёнку с молочком и тыковкой. Сладкая — страсть! Ну погляди, а?

Недовольно заворчав, Алёшка медленно поднялся по ступеням. Добрался до двери. Прислонившись, долго стоял, прислушиваясь, потом опять приоткрыл дверь — щелочку, чтобы одним глазком взглянуть, присел на корточки и застыл, наблюдая, что делалось за столом. Потом прикрыл дверь. На четвереньках выбрался на крыльцо, поднялся и пошёл к калитке, не обращая внимания на бабу Наташу.

— Эй, Алёшенька, Алёшка, куда помчался, а? — недовольно окликнула баба Наташа. — Что молчишь-то, как в рот воды набрал? Что мужики делают? Ну-ка рассказывай...

— Чего-чего... — буркнул Алёшка. — Плачут они.

— Как — плачут? — с недоумением взглянула баба Наташа. — Подожди, куда побежал?

— Как-как... Глазами плачут! — опять буркнул Алёшка, захлопывая за собой калитку. — Все сидят, разнылись, словно девчонки. Даже дедка глаза трёт и сморкается. Фу, глядеть противно! Вот только мой папка не плачет. Уставился на дядю Матвея, а сам молчит, — сказал и скрылся за калиткой.

Поправив платок, баба Наташа потопталась, поглядывая на окна, потом перекрестилась и исчезла в сенях. Приоткрыла дверь, долго смотрела на деда, на сыновей, которые сидели за столом. Облако дыма повисло над ними. Накурили, хоть топор вешай. Наконец, решившись, она зашла, сделала маленький шагок и остановилась, поглядывая на старика. Дыхание перехватило, когда дед взглянул на неё и нахмурился, хотел было что-то сказать, а может, заругать, но не стал, а лишь махнул рукой. И баба Наташа торопливо перекрестилась, облегчённо вздохнула и медленно вышла на улицу.

Прислонившись к косяку, она неспешно обвела всех взглядом. Поправила платок. Посмотрела на гостью, что приехала с сыном,

с Матвейкой, потом взглянула на соседей, которые продолжали толпиться за забором, и улыбнулась, прикрывая беззубый рот ладошкой.

– Всё, бабоньки, радуйтесь! Мой дед принял Матвейку, – крикнула она и, махнув рукой, заторопилась обратно в избу. – Дочки, пора столы накрывать. Гулять будем. Наш сынок и ваш брат вернулся. Радость-то какая! Эй, ребяташки, – она приостановилась на пороге, подзывая внуков. – Ну-ка, быстро сбегайте по соседям и всех зовите в гости. Всех! – сказала и скрылась в избе.

И загудела небольшая деревушка. Прихорашивались бабы, вытаскивая наряды. Мужики степенно заходили во двор и закуривали, прислонившись к забору, и заводили долгие разговоры ни о чём. А потом, когда баба Наташа и дочери накрыли большущий стол, расставляя разнокалиберные тарелки, чашки, миски, где лежала картошка в мундирах, квашеная капуста, огурцы и помидоры, горки жареной рыбы, вяленая лежала, пожелтевшее сало мелкими кусочками было нарезано – его доставали только на праздник, и отдельно подали свежатину и всех пригласили за стол. Гости чинно расселись, дожидаясь, когда дед Илья первым возьмёт ложку, а потом уж остальные за ним. Раньше нельзя! Сидели, поглядывая на стол, на деда, который был во главе стола, и, заметив, что он взял ложку, положил небольшой кусочек в чашку и взял рюмку, гости неторопливо потянулись к свежатине. Не каждый день увидишь мясо в деревне, особенно в летнее время. Подняли рюмки, стаканы, кружки и выпили. Закряхтели, закашлялись. Крепка самогонка, крепка! Опять выпили и снова налили и выпили. И зашумели, заговорили вразнобой, поздравляя деда и бабу, поздравляя всех, что вернулся сын и брат. И так много раз. Курили на улице, возвращались и снова усаживались за столы. Вели долгие разговоры, плакали, вспоминая войну, иногда, исподтишка недобро посматривали в сторону Матвея, но отвлекались, а потом пели песни, протяжные, грустные и весёлые, и ещё плясали. Так плясали, что пыль столбом, что мебелишка тряслась. Снова садились, чтобы поднять стаканы и кружки. И так гуляли до глубокого вечера, пока не стемнело на улице, отмечая приезд долгожданного сына.

А вечером, когда гости разошлись по домам, Семён вышел на крыльцо, присел на ступеньку и молчал, задумавшись, закуривая одну за другой папироски. Молчал и думал. Рядом, прислонившись к перилам, на крылечке сидел Матвей и тоже молчал. Изредка вздрагивал, внимательно прислушивался, если где-то раздавался лай собак или всполошенно спросонья орал петух, закуривал папироску, торопливо курил в рукав, быстро тушил и опять застывал, слушая ночь.

– Справная бабенка, – буркнул Семён.

– Да, неплохая, – помедлив, сказал Матвей.

– Где познакомился?

– На поселение отправили, там работала, – прикурив, сказал Матвей. – Сошлись. Так и живём. Уже двое ребяташек. А у тебя сколько?

– Семеро по лавкам.

– Ты в деда пошёл, – сказал Матвей.

– Да и характер такой же, как люди говорят, – Семён опять закурил. – Что решил, навсегда приехал или как?

– Не знаю, – пожал плечами брат. – Как народ примет.

– Уезжай, – сказал Семён, поплевал на окурок и сунул в баночку.

– Почему? – опять помедлив, сказал Матвей. – Я отсидел своё. Искупил вину, какой не было.

– Уезжай, – опять повторил Семён. – Так будет лучше и для тебя, и для отца с матерью. Тебя не примут в деревне. Поверь. На своей шкуре испытаешь...

– Я уже испытал, – перебивая, повысил голос Матвей. – Такого не смотрелся, другим не пожелаю.

– Мы тоже не за печкой прятались, – звякнули награды на груди, Семён достал мятую папироску и закурил. – Тоже пришлось повидать и испытать вот так, – и он ребром ладони провёл по горлу. – До сих пор воюем по ночам.

– Да я...

– Вот поэтому уезжай, – перебивая брата, буркнул Семён. – Недельку поживёшь. Пусть мать с батей успокоятся, а потом соберёшься и уедешь. Здесь не будет житья.

– Как батя с мамкой?

– Тяжело было, – покосившись, сказал Семён. – Батю подчистую списали после ранения. Приехал кожа да кости. Мать радовалась, что живой вернулся, а ночами плакала. Сама болеет и его выхаживала. И соседи проходу не давали, когда слух прошёл, что ты в плену всю войну пробыл, а потом ещё в лагеря отправили. В глаза одно говорили, а за спиной шептали – предатель.

– Но я же... – возмутился было Матвей.

– А ты хотел, чтобы тебя с распростёртыми объятьями встречали, да? – не выдержал, психанул Семён и ударил крепким кулаком по ступеньке. – А ты заслужил? Люди устали от войны, от смертей, от похоронок. Сам знаешь, что в деревне разговор будет короткий. В плену был? Был! Работал на фашистов? Да, работал! Значит, предатель! Получил лагеря? Да, получил. А потом ещё срок добавили и на поселение отправили. А почему? Значит, в чём-то была твоя вина, о которой не хочешь рассказывать. Вот и пораскинь умом, что должны про тебя говорить люди, что должны думать мы – твои братья и сёстры, как пережили это родители и как в дальнейшем переживут. А вот ты не задумывался над этим, нет. Прикатил и грудь колесом. Ишь, кум королю, сват министру! Сам же видел, какую встречу на крыльце приготовили. Это ещё цветочки увидел. А мог бы на лютики полюбоваться. Радуйся, что отлуп не дали, что сразу взащей не выгнали, а сначала решили поговорить. Посмотреть, что у тебя на душе. А тебя пожалели мужики. Да. Из-за бати и матери пожалели, а не будь их, сразу бы салазки завернули. Почти все мужики из деревни прошли войну, многие не вернулись, почти в каждом дворе похоронки, а то и две, даже по три есть, а некоторые вообще остались без кормильцев, и ты должен понять, как к тебе будут относиться, что с тобой будет, если останешься, – Семен выбросил окурок. – В общем, поживи несколько дней, побудь с батей и матерью, пусть порадуются, а потом забирай свою бабёнку и уезжай отсюда. Новую жизнь начинай в другом месте. А здесь, в деревне, не тревожьте людей, не злите. Иначе будет беда. Большая беда.

И развернувшись, Семён зашёл в дом и захлопнул дверь.

Матвей долго сидел, курил папироски одну за другой, о чём-то думал, а потом застонал: тяжело, протяжно и безвыходно.

Павел ЛАПТЕВ

Родился в 1971 году в городе Выксе Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Работает инженером в электроэнергетике.

Прозаик, поэт. Участник Форума молодых писателей России в подмосковных Липках. Автор двух книг, ряда публикаций в российских журналах. Член Союза писателей России. Живет в Выксе.

ОБРАЗ

Весна в этом году выдалась ранняя. Но вот тёплые мартовские деньки пролетели, а апрель затянуло тучами. Пётр ослабевшими руками еле отпер замок в гараже, открыл дверь, зашёл и включил свет. Глянул на своё отражение в запylённом зеркале. Похудел-то как за эти недели, даже куртка велика стала. Пётр провёл рукой по зеркалу, оставив след от пальцев. Так мы жизнь свою запylяем, как это изображение в зеркале. Дела ненужные, слова пустые, как пыль, пшик, и нет их. А изображение, образ, «я» остаётся. Пётр посидел немного на старом пахнущем плесенью диване. Вот она, думал он, жизнь человеческая. Копим всякую рухлядь, это, как говорят, материальное, складываем, а зачем? С собой после жизни ничего не возьмём. Ничего. Раньше был здоровым и не думалось так не о чём. А тут – материальное, пыль, образ... Пётр медленно начал разбирать полки, бросать в мусорный мешок детали и провода. Из-за слабости и боли в животе часто отдыхал на диване.

Он и стопку старых книг, лежащих плашмя на полке, скинул на пол. Отсырели даже, в гараж притащили когда-то, потому как выкинуть жалко. В мире миллионы книг учат, как жить, а счастья настоящего на земле нет. Есть комфорт, богатства, а счастья нет.

Пётр сел на диван, согнулся и в мешок книги начал одну за другой бросать. Последнюю открыл, пролистал, сборник стихов разных авторов. На одном остановился:

Я искал вездесущего Бога,
Не узнать мне о Нём из газет.
Я ушёл от родного порога,
При апрельской неспешной грозе.

Я искал Его и в урагане,
В сильном ветре, в огромной волне.

Может быть, Он в огне, на вулкане,
Или в небе покажется мне.

По земле исходил километры,
Потерял я свой сон и покой.
Он пришёл в дуновении ветра,
Шелестящем мне тихо листвою...

Дверь гаража открылась, была не заперта. Зашли два мужика неопрятного вида. Пётр книгу положил в мешок.

– Здорова! – сказал один. – Слышь, зёма, выручи на фанфурик.

– Как? – не понял Пётр.

– На боярышник. Выпить бы.

У Петра были деньги в кармане джинсов, но он не хотел давать.

– Нет у меня, – сообщил мужикам.

– Да, блин, ты чо, двадцатник всего, – сказал второй.

– Идите, нету, – повторил Пётр.

Мужики осмотрелись, первый подошёл к Петру и ударил по лицу. И второй подбежал тоже, попал кулаком по груди. Пётр упал и потерял сознание. Когда очнулся, уже наступил вечер, свет горел, дверь была открыта. Он ощупал карманы, кошелёк был на месте. Встал, осмотрелся и обнаружил, что пропал мешок с хламом и книгами и ещё много чего из гаража. Но, главное, он увидел на полу алюминиевый кулон, иконку нагрудную на верёвочке с изображением Богородицы. Пётр вспомнил, что давным-давно она потерялась.

Домой он не пошёл, не хотелось. И там никого, и здесь тоже. Один. Это отец говорил: живёшь с людьми, а умирать один будешь. Так он пролежал на диване с иконкой в руке, даже не смог заснуть. От боли, от озноба, от мыслей... Отец говорил ещё, что как хочешь, чтоб с тобой поступали люди, так и ты поступай. А эти мужики, дурные...

Под утро пошёл дождь, и под мерный шум его, под стук капель с крыши он, почему-то надев на шею иконку, ненадолго заснул.

Утром проснувшись, Пётр подумал пойти в ближайший от гаража храм. Он знал из газет, что в Иверском Выксунском женском монастыре в большом храме восстановлен придел. Решил сходить, чтобы узнать название иконки. Или просто от тоски.

Идти было тяжело, но Пётр за час прошагал по лужам из микрорайона по улице Краснофлотской в район монастыря. Как давно он не был здесь, как всё преобразилось! Выросла в пять ярусов колокольня с часами, а рядом храм с голубыми куполами и золотыми звёздами. Сквер с памятником преподобному Варнаве Гефсиманскому и с мозаичным панно с видом монастыря, какой он был до разрушения. Но главное – люди. Таких лиц, радостных, светлых в городе не увидишь.

Пётр повернул налево и дошёл до храма в строительных лесах, на мраморной доске которого было выбито «Троицкий Собор во имя Живоначальной Троицы построен в 1909 г., в 1927 г. взорван...» Возле храма были несколько рабочих. Чёрная кованая дверь была заперта. И надпись, что богослужения совершаются в Успенском храме. Наверно, вон в том, храме справа, с голубыми куполами, подумал он. Там и людей рядом много.

Пётр сел на лавочку возле деревянного креста отдохнуть. Он посмотрел на наручные часы: 12:12. И тут же часы на колокольне прозвонили. Опять... Не может быть... Эти одинаковые цифры, они начали

преследовать последнее время. Как ни посмотришь сколько времени, так восемь-восемь, девять-девять, как будто кто-то невидимый что-то хочет сообщить... Не может быть... Жил вот так, как все, и на тебе, заболело в животе, онкология. Кто-то пьянствует неделями, курит как паровоз и живёт до глубокой старости. А тут обычная жизнь. В спортзал даже ходил. Ну пиво, бывало, ну с женой ссорился-развёлся, так что уж, злостный грешник?

Пётр поднялся было идти, но дверь чёрная отворилась и вышла красивая девушка в чёрном одеянии, в очках – монахиня.

– С праздником! – сказала. – Вы не поможете, молодой человек?

Ничего себе молодой, сороковник. Пётр усмехнулся.

– Да не, я больной, – кашлянул.

– А тут всего ничего, два ведра, – позвала девушка.

Пётр покачал головой, поморщился и медленно пошёл.

– А какой праздник? – спросил.

– Пасха ж! Вы что? Христос воскрес! – радостно произнесла монахиня. – Пасхальная неделя... Ой, а у вас синяк, в Пасху-то...

– Бывает, – сказал Пётр и добавил, как принято: – Воистину.

Они прошли в храм, людей не было.

– Здесь пока ремонт, – сообщила монахиня. – Вот вода в ведрах, её надо вылить в канализационный колодец, увидите, такой квадратный с крышкой. Ага?

Пётр в маленьком помещении под лестницей взял ведра и понёс на улицу, вылил в колодец, сел отдохнуть на лавочку. И упал назад.

– Господи, что с вами? – подбежала эта молодая монахиня, помогла подняться, усадила.

– Простите, я ж говорю, болен. Рак у меня.

Девушка покачала головой.

– Меня простите, я как-то... Но вы правильно сделали, что пришли, надо исповедоваться, причаститься и...

Пётр закашлял.

– Да я пришёл-то чего, узнать название вот этой иконки, может, знаете, – снял с шеи образок, отдал девушке. – Это было в году восемьдесят восьмом. Я был учеником в профтехучилище третьем, ПТУ, на электрика учился. Сейчас духовное училище?

– Да, я знаю, – подтвердила монахиня.

– Да, и нас попросили перенести этот... столик такой...

– Аналой?

– Аналой, наверно, в молитвенный дом здесь, в Выксе. Перевезти на грузовой машине училища то есть. Несколько ребят с урока отправили подсобить. И тогда одна старушка мне подарила иконку. Ну, дала и дала, зачем она мне, молодому, здоровому, бодибилдингом занимающемуся. Неверующему, конечно. Я её бросил куда-то в гараже и забыл о ней. А тут вот с этой болезнью... Стал в гараже разбирать, думаю, умирать скоро, старый мусор вынести надо. И нашёл эту иконку.

Монахиня отдала Петру иконку.

– Она дешёвая, но я не понимаю в живописи, – сказал Пётр. – Как она называется?

– Живописи? Это образ Иверской Божией Матери. А чем икона отличается от любой картины, знаете? – спросила монахиня. – Бесстрастностью. Изображённые на ней святые не танцуют, не смеются.

– А плач? – предложил Пётр.

– Это сокрушение о греховности. Там нет страстей, вечеринок. Бог благ, бесстрастен и неизменен. Уподобиться ему, прикоснуться к его

блаженству можно лишь через Христа Спасителя. Только через Сына Божия.

Прилетели несколько голубей, начали ходить и ворковать подле них. Пётр надел иконку на шею, покопался в карманах куртки, щепотку семечек достал и бросил голубям.

– Хочешь жить, за любую соломинку схватишься. И я вот надел иконку на шею на старости лет, будучи неверующим, – усмехнулся он.

– Обрёл, значит. Неслучайно, наверно, – предположила монахиня. – У Бога не бывает случайного.

Пётр опять усмехнулся, ещё бросил голубям несколько семечек.

– А зачем она, иконы зачем? – выпытывал он.

– Молодой человек, – опять она так его назвала. – Почитая образ, мы поклоняемся первообразу. Вот Божия Матерь у нас одна, а образов много.

– Логично, – сказал Пётр и закашлял.

Голуби вспорхнули и улетели. Монахиня подала Петру свой платок с вышитым в углу восьмиконечным крестиком:

– Возьмите.

– Спасибо, – поблагодарил Пётр, вытер лицо.

– Оставьте себе, – подарила платок девушка.

– Спасибо. Вы такая молодая, красивая... – сказал Пётр. – Я думал, только бабушки в монахини идут или у кого проблемы какие.

– Никаких, – серьёзно сказала монахиня. – Просто я невеста Христова, выбрала этот путь, и всё.

– Это счастье? – спросил Пётр.

Девушка улыбнулась и кивнула.

– Это мой путь к Богу, – сказала.

На несколько мгновений солнце выглянуло из-за туч, словно подмигнуло. Спряталось, снова вышло.

– А тяжело здесь? – спросил Пётр.

Девушка пожала плечами, улыбнулась.

– С помощью Божией всё ладно, – ответила.

– А я не знаю ничего, не понимаю, – сказал Пётр.

– Для всего нужно время, – заметила монахиня.

– Какое уж тут время, – усмехнулся Пётр.

Часы на колокольне прозвенели. И ещё.

– Какое уж... – повторил Пётр.

– Сходите в Успенский храм, служба закончилась, но... Там очень красиво, росписи на стенах, вам понравится. И большая икона Иверская там слева от иконостаса. Как на вашей иконке. И если можете... Подайте нуждающимся, только тихонько, тайно, чтобы никто не видел. А Господь увидит, – улыбнулась монахиня.

Пётр тоже улыбнулся, на небо взор свой направил, но прищурился, глаза опустил.

Солнце скрылось за тучи, и ветер, лёгкий, ласковый, подул. Пётр голову свою погладил, будто прежние волосы разгладил.

– Спаси, Господи, за помощь, я ведра снесу, – поблагодарила девушка и быстро скрылась за чёрной дверью.

Пётр зашёл в Успенский храм, втянул носом благоуханный воздух, осмотрелся. Несколько человек молились. Он купил свечку и подошёл к иконе в золочёном окладе, увешанной многочисленными золотыми украшениями, и неумело перекрестился. Он зажгёт от лампадки свечку и поставил на подсвечник. Но она вырвалась, упала на пол. И погасла. Он

поднял, снова зажёл от другой свечи и так долго устанавливал, что горячий воск капал на руку. И установил. Постоял и попросил шёпотом об исцелении. И поцеловал оклад. И долго стоял так, как не перед висевшей на стене иконой, а как перед настоящей живой Девой с младенцем Иисусом. Смотрел в глаза, почему-то веря, что и они знают всю его жизнь, плохую или неплохую, обычную жизнь. И словно ждали его в этот день.

Рядом с образом сидела пожилая монахиня в одеянии с капюшоном, на котором были белые кресты.

– А почему Иверская? – спросил её Пётр.

Монахиня сказала:

– Из Иверского монастыря на Афоне. В девятом веке-ти она... – хотела рассказать историю образа, но Пётр прервал:

– А эти украшения...

– Это люди отдали свои кольца и серьги с просьбой какой или с благодарностью, – ответила хриплым голосом женщина.

Пётр снял с шеи свою иконку, протянул монахине:

– Повесьте, пожалуйста.

– Ой, у меня ключа нет сейчас, – махнула рукой монахиня. – А ты приходи завтра, понял? На архиерейскую службу-ти, епископ нашей епархии Варнава будет служить литургию.

Слова-то какие новые, Пётр пожал плечами, спрятал иконку назад. Собрался уходить, но снова обратился к женщине.

– А заповеди можно все исполнить? – почему-то спросил он.

Пожилая монахиня улыбнулась.

– Заповеди-ти? Это но-орма, – хрипло и протяжно сказала она. – Это жизнь обычного человека, не героя. Бог создал человека свободным по образу Своему и подобию. Образ в нас, а подобие мы заслуживаем, заповеди исполняя. И происходит наше обожение. Понял? Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Бог Един по Существованию, но троичен в Лицах. В единстве любви. Бог есть Любовь. А Любовь есть жертва...

Пётр достал кошелек и тихонько раздал все деньги старушкам, что-то в ящик «на восстановление монастыря» опустил.

И пошёл из храма. Солнце опять ослепило глаза. Он закрыл их руками, несколько мгновений постоял так, потом открыл и увидел на крыльце маленькую девочку лет пяти. В цветном платочке, в потрёпанной, местами рваной курточке и ободранных туфельках. Девочка вытягивала ладошку и молчала, но выражением своего лица просила. Ладошка была без нескольких пальчиков, другой ручкой она поддерживала её. В этот миг что-то произошло в душе Петра, будто внутри его зажёгся огонь. Тепло и в груди, и в животе стало. И для него и он, и мир весь вокруг вдруг стал этой девочкой, она заполнила всё, всё его естество, все мысли, желания. И вся наука, технологии, смартфоны, социальные сети стали такими ненужными, мелкими по сравнению с этим ребёнком. Пётр сел перед ней на колени и заплакал.

– Я всё раздал, все деньги отдал... – всхлипывал он.

А она, такая маленькая, кроткая, погладила его по лысой голове и ручкой без пальцев утёрла его глаза. И сказала тоненьким голосом:

– Пусть.

Пётр встал, снял с шеи образок и отдал девочке. Она обрадовалась, поцеловала его и спрятала в карман.

– Ты где живёшь? – спросил он.

Девочка посмотрела карими глазами, помотала головой и сказала:

– Родители пьют, бросили нас. Мы здесь...

– Будешь здесь завтра? – спросил Пётр.

Девочка кивнула.

– Я приду тогда, к тебе приду. Тебя как зовут?

А она не ответила, побежала в храм.

Здесь же Пётр услышал разговор немолодого священника с человеком в костюме.

– Если Бог добр, почему же войны на земле? – спросил человек.

Священник ответил:

– Православие учит, что человек сам делает себе плохо и сам наказывает. Представь, что есть закон всемирного тяготения. Ты о нём знаешь и принимаешь его, иначе бы жизнь твоя была другой или её вообще не было. И зная это, ты лезешь на крышу дома. И прыгаешь вниз. И ломаешь ноги. Так и с духовными законами, данными Богом. Ты знаешь, что нельзя убивать, пьянствовать, красть, но нарушаешь. Таким образом, сам себя и наказываешь.

– А умирающие дети? Или невинные люди, или калеки? – допытывал человек.

Священник помолчал, гладил седую бороду, потом ответил:

– После грехопадения прародителей изменилась природа их и на нас, потомков перешла. И мир изменился. Вот здесь-то и появляется ответ на ваш вопрос, зачем Христос пришёл в мир, зачем спасение, зачем Церковь, где Божественное Откровение распространяется через Священное Предание и Священное Писание. Сын Божий как врач исцеляет. При содействии Святаго Духа в Таинствах. Потому кто говорит, что у них Бог в душе и им не нужны храмы, глупцы...

Священник дал человеку в костюме крашеное красное яйцо со словами «Христос воскрес», но тот тут же отдал его стоявшему рядом Петру. А Пётр ответил радостно:

– Воистину воскрес!

Когда Пётр шёл домой, он ел это пасхальное яйцо и думал, что прикоснулся сегодня к огромному миру, красивому, доброму. Даже и уходить отсюда не хотелось. Один день здесь стоил всех дней прожитых. Найти Бога, быть с Ним – вот где счастье истинное. Пётр захотел больше узнать о православии. Но хватит ли времени, хватит ли...

Вечером дома Пётр заметил, что боль в животе поутихла, впервые за долгие дни. Температуру измерил, в норме оказалась. Он положил рядом с кроватью на столике платок монахини и достал из книжного шкафа бабушкину Библию. Посмотрел на часы: 00:00.

– Чудеса, – прошептал и усмехнулся. – А может, и нет его, уже, рака. Хотелось бы верить, как хотелось бы верить... Господи, дай здоровья... – хотел спросить себе, но проговорил: – Людям, которые были у меня в гараже. Я их прощаю.

Пётр открыл Книгу, прошелестел пожелтевшими страницами, будто листьями на ветру. И вот остановился на одной странице. Сначала пробежал глазами удивительные поэтичные строки, а потом шёпотом, и вот уже громко прочитал:

– Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит... Любовь никогда не перестает...

Ирина СОЛЯНАЯ

Родилась в 1976 году в Воронежской области. Окончила юридический факультет Воронежского государственного университета. Кандидат юридических наук, действующий судья.

Публиковалась в «Литературной газете», в журналах «Аврора», «Южная звезда», «Сибирские огни», «Молоко», «Русский Переплёт», «Юность» и других изданиях. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Живет в городе Калаче Воронежской области.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ...

Вот, мама, взгляни на своего Андалеба. Я на чужой земле, с чужими людьми. Разве этого ты хотела? Всегда говорила, что в мире даже пылинка находит пристанище. Где же мой приют в этом мире?

Мальчишкой я пас с Валижоном овец и думал, что нет ничего хуже выжженной степи, пекла, вечной тропинки в гору да нашей старой собаки, которая совсем меня не слушается. Я ошибался, мама, та степь была мне родной, и впереди была надежда. Теперь я немолод и снова пасу отару фермера Красильникова. И степи под Воронежем такие же пыльные и однообразные. Тощие овцы разбредаются и ищут укрытия в овраге, а лохматая собака спит под скрюченным тополем, вывалив язык.

Мама, не кори меня за то, что говорю с тобой, а не молюсь. Я жду, что ты донесешь мои беды до ушей Аллаха и поможешь моему отчаявшемуся Андалебу.

Гулдаста заставила меня построить тандыр во дворе. Можешь себе представить? Моя Гулдаста, которая изучила все премудрости кухонь мира. Она стала сварливой и изображает из себя настоящую таджичку. В пику мне! Что же, пришлось подчиниться. Глуп тот мужчина, кто спорит с женщиной. Мне удался только третий тандыр: жар держит долго, хворосту почти не требует и не перегревается. Хотя стены не полопались при кладке, Гулдаста все равно недовольна. Смотрит косо, будто я виноват, что лепешки ее подгорают. Здесь совсем не купить свежего хлеба, пекарня закрылась еще до нашего приезда, а в район ездить за хлебом – мороки не оберешься.

Иногда я смотрю на Гулдасту исподтишка: она сидит, безвольно опустив руки на колени, и плачет. Она так не плакала, когда врачи сказали нам: детей не будет, живите друг для друга. Мы просто крепко с ней обнялись. Теперь же Гулдасту согнула беда, а меня – вина, и мы отделились друг от друга.

Натираю наждаком крупные деревянные бусины для тасбих. Когда-нибудь четки будут готовы: тридцать три круглые и одна овальная. Придется вспоминать все девяносто девять имен Бога, которым ты учила меня, мама.

Возможно, всё случившееся со мной оттого, что я усомнился.

Знаешь, мама, когда я в детстве смотрел на небо, у меня текли слёзы. Бьющие в глаза яркие лучи не давали мне рассмотреть размытые очертания кучевых облаков. Мне казалось, что там, в вышине, в белых небесных чертогах ждет меня прекрасная принцесса. Однажды я спросил брата, верит ли он в сказку про кузнеца, победившего семь дивов и золотого дракона, забравшего в награду красавицу Есмин. Знаешь, что сделал Валижон? Он рассмеялся, хлопнул меня по затылку так, что слетела тубетейка. Мама, он сказал, что сыну кузнеца суждено молотом махать, сыну пастуха – стеречь отару а красавица Есмин достанется сыну падишаха. А мне, Андалебу, сыну чабана, бродить до конца дней по степи и выкликать стадо: «Где вы мои козлятки, Алюль, Булюль и Хиштаки Саританур?» Я разозлился тогда.

Мама, ты решишь, что я назло Валижону стал бортпроводником? Нет. Он и думать забыл о том разговоре. Я хотел посмотреть на белые чертоги, оттолкнуться от пыльной и горячей степи, скрипящей песком на зубах, и взлететь к ним.

Через двадцать лет на похоронах дяди Эргаша наш плешивый староста Сархат, похожий на скрюченный саксаул, покачал головой: «Человеку место на земле. Эдак ты возгордишься, перестанешь Аллаху хвалу возносить! Возомнишь себя подобным богу!» Я не ответил ему, что молюсь, когда поднимаюсь на борт списанного «Боинга», потому что только ладоням Всевышнего дано удержать этого ржавого индюка в облаках.

Мама, когда я поднялся в вышину в первый раз, мы пролетели над Душанбе. Лоскутное одеяло города мелькнуло под нами, а следом распахнулась степь, но всего лишь на пару минут. Её серо-жёлтые тона скоро сменились зеленью Гиссарского ущелья и причудливым узором трех рек – Кафирнигана, Каратага и Ширкента. Я вспомнил твои слова, мама: «Чтобы соскучиться, надо уехать». И понял, как остро скучаю по нашей степи.

Мама, ты знаешь, что я побывал в тридцати двух странах, изучил девять языков, увидел долины и горы, озера и океаны, людей всех цветов кожи и волос, что можно себе вообразить, мне не удавалось подняться над собой. Цвела моя гордыня, я устал желать, иной раз мне было скучно. А теперь я снова пасу отару и забыл о скуке. Горе и нужда без устали обихаживают меня, и я стал ближе к небесному чертогу. Жаль одного: мне не по зубам не только изнеженная принцесса Есмин, но и моя суровая Гулдаста – женщина, которую ты выбрала мне в жёны.

Мы ссорились с Гулдастой из-за моей работы. Ревнивой женщине свойственно видеть дива в каждом ягненке. Я убеждал её в том, что в небе мои мысли о земле, но она бросала в ответ: «А на земле все мысли о небе!» Мама, я не рассказывал ей о слепящем свете, тумане, молниях, крошечной тьме и безотчетном желании приземлиться на спокойную твердь. Она не знала о списанных бортах, вынужденных посадках, воздушных ямах и сердечных приступах. Моя Гулдаста ни за что бы не пустила меня дальше порога! Я решил, мама, пусть жена ревнует меня к гуриям в синих пилотках!

Свой последний полёт я помню очень хорошо: мы доставили Саида Абдулло Нури для высоких переговоров с Эмомали Рахмоном. Знал ли

я тогда, что больше не поднимусь на борт, что меня назовут вором? А что я украл, мама? Ни куска пирога, ни толики власти.

Я вырезаю бусины, добиваюсь гладкости дерева наждачной бумагой. Собака пригнала очередную глупую овцу в стадо и устало легла рядом. В ее глазах вопрос: «Когда ты покормишь меня, человек?» Я улыбаюсь и достаю из кармана лепешку Гулдасты и ломаю ее надвое.

Так когда-то я все делил пополам с Валижоном. Когда Саид Абдулло Нури предложил твоему Андалебу перейти из гражданской авиации под свое крыло, я думал: а какое мне дело до его мятежа против президента? Но война и мой брат решили за меня. Валижон сказал: «Полбеда, если тебе небо закроют. Будешь упираться – никому из рода Хасановых места на земле не будет». И я пошёл за ним, брат есть брат. Мама, не ты ли учила нас быть вместе? Или только я услышал твои слова: «Валижон и Андалеб – бусины тасбих на одной нити»?

Мой гордый язык ни разу не повернулся назвать Валижона предателем. Для этого была мне дана моя Гулдаста, а она никогда не отличалась сдержанностью. Она и теперь кричит на него и трясет кулаком, но Душанбе далеко, и ее обвинения услышать некому.

У Валижона вся грудь в орденах! Ты бы гордилась таким сыном, мама, или бросила ему под ноги свой платок? Когда подписывали «Общее согласие о мире», Валижон сидел по правую руку с Саидом Абдулло Нури, а я охранял аэропорт. Гулдаста спросила меня: «Отчего же ты, болван безвольный, молчал? Когда пришли за тобой, отчего не сказал о брате?» Я сто тридцать дней звал его из камеры, но охранник насмехался и кормил меня черствым хлебом и чечевичной похлебкой. И тогда я выбросил свои тасбих, которые еще в детстве выточил мне старший брат из засохшей алычовой ветки. И я не молился Аллаху целых три года.

А здесь, мама, никто не знает о том, что седой и горбатый беженец Андалеб Хасанов — бывший начальник службы бортпроводников Ленинабадского отряда воздушной авиации. Наверное, ты бы смеялась, если бы слышала, как меня здесь называют. Чурка! Это такое бревно, годное только на щепу топить очаг. Теперь я часто слышу: «Следите за ним, как бы этот чурка чего не утащил».

Сегодня ко мне приехал фермер Красильников: «Андалеб, поедем к следователю. Украли прицепное с сеялки». Я сказал: «Ты меня знаешь, Красильников, я не вор». Тогда хозяин рассмеялся, показав золотой зуб сбоку: «Знаю, Андалеб. Украл не ты, а Салех. И теперь дурака валяет: не знаю русского, ничего не понимаю. Нам переводчик нужен. Я знаю, что ты тоже из Душанбе. Помогии». Мама, впервые за три года ко мне обратились за помощью! До этого только я обивал пороги.

После переезда в Воронежскую область наша диаспора помогла нам с Гулдастой оформить гражданство, дали заём на покупку дома. Помнишь, мама, как ты говорила мне: «Одной рукой двух арбузов не поднять»? Все три года я только и знаю, что жонглирую арбузами. И почему проблемы не встраиваются ко мне в очередь?

О всякой мелочи мне не с руки просить нашу диаспору! К тому же земляки разузнали обо мне кое-что: «Брат Валижона Хасанова? Отчего же ты не обратишься к нему?» Они говорят мне с усмешкой: «Бери пример с брата, Андалеб! Себя ругай, а не солнце за то, что сад твой так и не зацвел».

Мы приехали с Красильниковым к следователю. Молодая женщина, совсем юная, в мятой юбке, замызганных туфлях и с мешками под

глазами встретила нас в обшарпанном и прокуренном кабинете и спросила, как чабан может быть переводчиком. Она насмеялась над фермером и назвала его фантазером, а эта насмешка прозвучала как площадное ругательство. Я вспыльчиво ответил этой девчонке, что не имею диплома и сертификатов не потому, что ничему не учился, как чурка, а потому, что мой дом в Душанбе сожгли. Я произнес это на трех языках, а мог бы и на девяти! Анна Петровна замолчала. Мама, это был первый в моей жизни случай, когда мне удалось переспорить женщину. Видела бы это моя Гулдаста!

А через три дня я снова приехал с Красильниковым в район. Но уже не к Анне Петровне, а к ее подруге – Вере Александровне, адвокату, и мы направили запросы в нужные инстанции. О моей работе, о моем образовании.

«Владеешь языком – облизывай конверты», – посмеивался Красильников надо мной, но я не обижался. Я назвал про себя его перстом Аллаха, и в этом, мама, совсем не было богохульства.

Вера Александровна спросила: «Отчего вы так долго ждали обращения к юристу?» Я растерялся. Не мог же я сказать, что все мои сбережения растаяли быстрее, чем ожидалось. Адвокат кивнула головой, а в такт ее движениям качнулись крупные коралловые серьги. Мама, я не удержался и рассказал ей историю о вынужденной посадке на Фиджи, где нас оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение экосистемы коралловых рифов. Штраф, в триста раз превышающий стоимость доставленного груза. После этого полтора года авиакомпания «Точикистон» заставляла нас летать бесплатно. Вера Александровна засмеялась, сняла серьги и бросила их в ящик письменного стола.

Мама, я знаю, что придется ждать результата, писать снова и снова. Прошло немало времени, мама, и я был бы рад рассказать тебе о том, что безбедно живу на гонорары переводчика. Увы, пока у Аллаха на меня другие планы. Да и пенсию мне никак не назначат. Молчание свободного Таджикистана весьма красноречиво: он не спешит помогать выкидышам. Но мы с адвокатом не теряем надежды и стучимся во все закрытые двери.

Мама, когда-то я смогу сказать своей жене: «Гулдаста, мытарствам конец! И это значит, что я потратил мои сорок лет-часов не только для того, чтобы летать в молодости, но и для того, чтобы осесть на земле в старости».

Кстати, все бусины для тасбих выточены. Даже та, крупная овальная. Я украсил ее едва заметной вязью: «Аллах не оставит нас».

Максим ВАСЮНОВ

Родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета. Главный редактор газеты «Козельск». Снимает документальные фильмы, в том числе на окололитературные темы («Чехов Интерстеллар», «Деревенский Данте», «Доктор Пауст», за последнюю ленту удостоен телевизионной премии ТЭФИ). Преподает журналистику в Калужском государственном университете.

Публиковался в журналах «Урал», «Наш современник», «Знамя», «Юность», «Дружба народов» и других. Участник Форумов молодых писателей России и стран СНГ (Липки). Автор сборника стихотворений «От стрекозы до Луны» (Калуга), повести «Rassolniki» (Санкт-Петербург), готовится к изданию сборник прозы «Фабрика игрушек». Живет в деревне Богдановке Калужской области.

ОСЕНЬ НА ПИЛОРАМЕ

В тот день я вышел из дома под самый заводской гудок – наш район находился вблизи металлургического комбината, на котором по старинке начало дневной смены обозначалось продолжительной сиреной. Мне она нравилась: я представлял себя моряком, спешащим на отплывающий корабль. Обычно гудок сопровождал всю мою дорогу до школы, но в этот раз, едва я вступил на тополиную аллею, занимавшую чуть ли не половину моего пути, знакомый звук перебил другой шум – что-то безостановочно ритмично взвизгивало и сотрясало воздух.

Через несколько шагов – новые непривычные изменения. Щиплющий запах свежего опила. Как же я полюбил впоследствии воздух аллеи в такие моменты – засохшая осень, пыль усталых тополей, распиленная древесина... Когда все это смешивается и раздувается ветром, то ощущение, будто ты попал в самое нутро природы, в самую ее сердцевину, и чувствуешь теперь ее первозданный, ничем не испорченный запах. Но всем этим я наслаждался позже, а в тот день я с любопытством ускорил шаг – кто, где и что пилит? Да так рьяно, так настырно!

Звук и запахи шли с пилорамы. Так называлось продолговатое одноэтажное здание в конце аллеи, если идти в школу, и в начале – если возвращаться домой. До этого дня здание стояло заброшенным, но в это утро двери пилорамы были гостеприимно распахнуты. Я подошел ближе: что-то внутри снова взвизгнуло – и в проем дверей полетели брызги опилок. Любопытство все больше раздирало меня – и вот, дождавшись, когда прекратят пилить, я осторожно заглянул внутрь. Большое вытянутое помещение освещалось всего одной лампочкой. Под

ней стоял стол, чуть в стороне от входа – станок с диском, который и распиливал подставленную к нему доску. За этим станком работал рыжеволосый парень. Он улыбнулся мне и махнул рукой, мол, заходи. Но от стеснения я не сделал больше и шага.

Разделав доску на несколько реек, рыжий передал их другому столяру, тот понес их на стол, зажал в тисках и принялся строгать рубанком. Был там еще один рабочий. Он возился с чем-то в углу – я тогда не разглядел.

Впечатления от увиденного весь день не давали мне покоя. Я мечтал, как после уроков снова пройду мимо пилорамы, снова услышу взвизгивание от встречи железа и дерева и снова вдохну этот пьянящий всех мальчишек запах опил!

И вот после уроков я бегу к тополиной аллее. Еще издали я услышал шум станка, удары молотком, легкие перекрики мужских голосов. Как же я удивился, что на этот раз работа кипела на улице, под лучами яркого солнца, которые пробивали кроны тополей и поджигали рыжие и красные листья на асфальте. А также – покрытую лаком древесину. Доски отливали золотом, а местами – благородным загаром.

Станки, стол, люди – все было на улице. Из пилорамы тянулся к широкой железной пиле лишь длинный провод. Рядом с входом стояли уже готовые оконные рамы, двери. Еще одни двери сейчас домазывались олифой на столе.

– Ну вот! Видал?! – похвастался мне рыжеволосый. – Иди скажи родителям, что если нужны двери, то мы сделаем по дешевке!

Об увиденном я, конечно, рассказал бабушке. Она заинтересовалась: ей было важно даже не то, что некогда работавшая пилорама снова заработала и превратилась в столярную мастерскую, а именно то, что там делались двери. Все происходило в 97-м году, новости о квартирных кражах и взломах приходили каждый день в таком количестве, что бабушка моя даже придумала целую систему защиты своих хлипких типовых дверей. Со стороны коридора она приставляла к ним табурет, на табурет ставила швейную машину. «От взлома не спасет, но когда будут открывать дверь, то это упадет, я хотя бы успею соскочить с постели», – говорила бабуля.

Двери заставляли не только мы – в те годы страх быть обворованными, избитыми, изнасилованными крепко въелся в кровь и мозги людей. Цена человеческой жизни снова, как во времена революции, упала ниже плинтуса, а произвола при этом становилось все больше. Те, у кого в семье были мужчины, обзаводились ружьями и ножами; у нас же мужчины не было, да и нож был в одном экземпляре, старый.

На следующий день бабушка пошла провожать меня в школу. Мастерская уже работала. И мы зашли, чтобы поговорить о цене. В то утро там был вчерашний рыжеволосый, он строгал длинный брусок. Он узнал меня:

– А, это наш любопытный! Повезло вам! – сказал парень бабушке, кивая на меня.

– Ой, не говорите! – ответила она. Рыжеволосый улыбнулся:

– Двери нужны?

Дальше бабушка в привычной своей простой, доверительной манере рассказала мастеру о своих раздумьях, что она пожилая и взять у нее в доме нечего, но если зайдут, то последнее унесут, а времена нынче такие, что даже посуду уносят и розетки выкручивают. Страшно. Она уже забыла, когда крепко спала, на каждый шорох в подъезде реагирует.

Соседей с пятого этажа на прошлой неделе обворовали: шубы вынесли, золото. Дальше бабушка снова повторила – она любила это повторять, – что у нее-то брать нечего, одни искусственные дубленки, а из золота – только зуб, на котором держатся вставные челюсти. Но все равно если залезут, то напугают Максима, то есть меня, а она одна воспитывает мальчишку, а если, не дай бог, замахнутся на ребенка... В общем, подводила бабуля, давно подумывает она сменить свои тонкие двери на какие-то более прочные.

– Денег у меня, конечно, нет, – сказала она, – придется занимать, поэтому вы уж сильно не дерите.

– С вас возьмем только за материал, – пообещал мастер и погладил меня по голове, – меня Леша зовут, а тебя Макс, значит?

Я кивнул.

– Диктуйте адрес, мы придем вечером, замерим. Дальше договоримся.

Вечером пришел Леха. Померил раму, назвал цену. Бабушка усадила его за чай с лепешками. Лепешки бабуля пекла чудные – толстые, жирные, я их уплетал с вареньем будь здоров. Больше таких вкусных лепешек не ел никогда.

За чаем Леха рассказал, что он давно со своими друзьями положил глаз на заброшенную пилораму, а тут как раз его сократили с завода, несмотря на то что в семье двое детей. Еще одного друга уволили с мебельной фабрики, надо было срочно что-то делать. Вот и взяли в аренду у местных властей пустующее здание. Позвали в дело еще нескольких знакомых. «Теперь лучшие двери и окна будут у нас», – прорекламировал Леха. Он вообще был в первое время нашего с ним знакомства на оптимистичной волне. Строил планы, радовался, как с первых дней удачно пошел их бизнес, обещал бабушке со временем, как раскрутятся, бесплатно поменять оконные рамы.

– Ой, да ладно! – пыталась отказаться бабушка.

– Нет-нет, не думайте, я от чистого сердца, больно уж мне мальчик ваш понравился, у меня-то сына нет, все – дочки!

Дня через два бригада плотников во главе с Лехой сняли наши старые двери, приставили их к стенке, а вместо них – провозившись часа два – установили новые – крепкие, деревянные. Для большей прочности сверху обили их толстыми рейками.

Я запомнил тот день. Он для меня оказался очень важным.

Когда рабочие только пришли, Леха протянул мне пакет: «Это тебе. На память». Однако я почему-то не стал, как свойственно детям, сразу же лезть в пакет. Я замороженно наблюдал за работой плотников, как они долго сверлили бетонные стены, как пилили рейки, как вставляли коробку в проем, как подцепляли саму дверь. Все это было ново для меня. К тому же мне нравилось, как легко и слаженно действуют рабочие, обмениваясь при этом между собой и бабушкой легкими добродушными шутками.

– От кого, бабуля, запирается вздумала? Кавалеры одолели? – смеялся один из рабочих.

– Да ну тебя! – улыбалась смущенная бабушка. Раздавался общий хохот.

Когда работа была сделана, бабушка, конечно же, всех усадила за свои лепешки. Тут-то только я вспомнил про подарок. Раскрыл пакет и увидел толстую-претолстую книгу в твердом желтом переплете. Золотые буквы сообщали, что в руках я держу антологию зарубежной поэзии.

Я обожал книги и так обрадовался этому подарку, что тут же обнял Леху, хотя обычно был довольно сдержанным и стеснительным мальчишкой. Первым делом я, конечно, посмотрел, сколько страниц в этом кирпиче – около семисот. Перелистывая на ходу, я увидел, что там еще есть и цветные иллюстрации.

– Это же, наверное, очень дорого? – обеспокоилась бабуля.

– Нынче книги ничего не стоят. Ему нужнее будет.

А еще этот том издавал головокружительный запах старых почерстевших страниц, а от иллюстраций, которые были отпечатаны на более качественной бумаге, чем стихи, дышалось какими-то кислыми примесями. Примерно так пахли листья тополей поздней осенью.

Эта антология стала одной из важных книг в моей жизни. Именно с нее началось мое осознанное увлечение поэзией. Именно из нее я впервые узнал об Артюре Рембо, влюбился в него по ушли. Именно в этой антологии я вычитал все про поэтические образы. И с тех пор, мне кажется, живу в этих образах. Как же все-таки неслучайны встречи людей на земле. И какие интересные узоры плетет Промысел. Через плотника мне была передана книга большой и настоящей поэзии! Почему через плотника? Почему именно тогда? Почему именно иностранной поэзии? Леха был провидцем? Как он узнал, что я буду писать стихи и даже выпускать свои книги? Или Леха не знал и это кто-то иной через Леху оставил на моей судьбе промыслительную зарубку? На эти вопросы лучше не искать ответов, это я уже понял. Остается только излагать факты. Причем сухие – это хотя бы избавит текст от лишней воды.

С того подарка мы подружились с Лехой, я стал часто по дороге из школы забегать в мастерскую, меня учили строгать и шкурить доски, забивать гвозди, покрыть древесину олифой – с тех пор я обожаю любую работу, связанную с обработкой дерева.

Но больше всего мне нравилось смотреть часами, как огромный диск ровно расщепляет доску на две или ровняет ее, при этом в разные стороны, как вода из пробитой трубы, льются фонтаны опилок. Они были такие мягкие, что когда я подбирал щепотку свежих опил с пола и растирал ее пальцами, то она превращалась в пыль. Пальцы потом долго пахли щепой.

В перерывах мы с мужиками пили крепкий мятный чай. Хотя перерывами это назвать трудно – рабочее то и дело ходили по мастерской, держа в одной руке и кружку, и сигарету, а другой то ощупывая дерево, то уже готовые двери. При этом все время обсуждались разные тонкости – какой материал лучше пойдет для обивки шкафа, чем смазать дерево перед тем, как покрывать лаком, чтобы лучше пропиталось, на каком расстоянии от пола просверлить глазок для новой двери, ведь ее заказала совсем низенькая старушка? К этому времени меня уже привлекали к обсуждению некоторых вопросов, разговаривали со мной совершенно серьезно, иногда советовались. Например, глазок для старушки высверлили под мой рост.

Я обожал эти свои походы в мастерскую, иногда задерживался там на несколько часов. Потом бежал домой счастливым через тополиную алею, все больше затапливающую асфальт в желтизне и все больше обнажающую свои кривые ветви! Кажется, тогда я впервые начал думать свои стихи.

Леха тоже часто стал заходить к нам на лепешки. На жареную картошку и бутерброды с шоколадным маргарином. Это все, что мы тогда ели сами, этим и угощали гостя. Леха рассказывал, что клиентов

становится больше, что он уже почти полностью выплатил долг, который взял на аренду пилорамы. Рассказывал о своей семье – жена пилит, что поздно возвращается с работы, ревнует, дочки растут красавицами. Много говорили о политике – в те годы вообще много о ней говорили, как и о бандитизме. Бандитов становилось все больше. Ими теперь вместо бабаек пугали непослушных малышей. Да и друг друга пугали. Но у медали была и другая сторона – связи с бандитами сразу же поднимали тебя в глазах знакомых. Так, как раньше укреплялся авторитет, если ты говорил, что знаком с космонавтом. Или с писателем.

Говорили мы с Лехой и о поэзии. Я взахлеб читал подаренную им антологию и каждый день открывал все новые потрясшие меня стихи совершенно гениальных поэтов. Леха, судя по всему, сам эту книжку не читал, но делал вид, что это и его любимые стихи. Иногда он просил прочитать мне что-то из особенно понравившегося мне.

Так прошло месяца два. Я вдыхал осень, опил и поэзию, переживая, наверное, самые счастливые свои детские дни.

Где-то в начале ноября, сразу после праздника – тогда еще по инерции отмечали годовщину революции – я как всегда, ровно в восемь, вышел из дома.

Улицы уже готовились к зиме. Были темными и сырыми. В воздухе пахло догнивающей травой. Да и сам воздух уже начал наполняться морозом, ветер все настырнее сдергивал с деревьев последние рваные листья и трепал мой вязаный шарф. Большой черный ворон, который неизвестно откуда прилетел этой осенью и обычно задиристо и надменно встречал меня на тополиной аллее, теперь кричал на небо, как проигравший Бонапарт, с обидой и тоской.

С пилорамы как обычно летели глухие звуки. По утрам там старались не включать станки, а занимались тихой работой – строгали, шкурили. Когда я подошел ближе, из цеха вышел Леха. Он был глубоко в себе, курил, медленно разматывал провод удлинителя:

– Сегодня, наверное, последний раз на улице поработаем. А то холодно уже, как думаешь? – спросил он меня так, будто от моего мнения и правда зависело, поработают они еще на воздухе или спрячутся до весны на пилораме.

И почему-то этот вопрос, эта Лехина интонация, с которой никто из знакомых мужиков пока еще со мной не разговаривал, весь день вертелись в моей голове, отвлекая от уроков и приключений перемены. Почему-то мне казалось, что этим своим вопросом Леха хотел сказать что-то еще, может быть, не мне, может быть, даже себе, или последней листе, или ворону. А возможно, я и правда стал ему другом, своим, что он вот так – как взрослый со взрослым – решил со мной посоветоваться. Вряд ли, конечно, так, но мне эта версия тогда была приятнее.

Со школы я, как обычно, шел быстро: за выходные соскучился по ребятам из мастерской, по Лехе, но – и это сразу меня встревожило – как бы ни ловил издали визжание пилы или частый стук молотков, ничего не было слышно. Еще больше я встревожился, когда увидел перед пилорамой пустую площадку. Только провод удлинителя одиноко разрезал засыпанную мокрым опилом землю на два неровных куска.

Дверь в пилораму была закрыта. И это совсем напугало меня. Я стал громко тарабанить и кричать: «Откройте, это я! Пустите меня!»

Спустя время дверь щелкнула и отошла, на пороге стоял Леха.

– Закрой за собой, – сухо сказал он и, повернувшись спиной, пошел к столу.

Что-то случилось – понял я. Догадки мои тут же стали подтверждаться. Помню, что сначала я учуял нездешнюю вонь. Если раньше в мастерской неизменно пахло деревом, то теперь стоял спертый запах перегара. Будто пили здесь годами и не проветривали. Такой же запах стоял в квартире наших соседей, безнадежных забулдыг. Потом я заметил, что все мастера о чем-то сильно грустят. Их лица да и вся эта сцена – взрослые мужики сидят за столом понурые, поникшие – все это напоминало похороны. Я очень часто бывал к тому времени на похоронах: умирали тогда многие – и старые, и молодые, и дети. Бабушка всегда брала меня с собой и прощание, и на поминки. Постепенно это стало для меня таким же событием, как поход на почту за дешевой газетой. Глаза людей на похоронах – потерянных и потерявших еще одну надежду на бессмертие – я к своим юным годам не перепутал бы ни с какими другими. Так мне самоуверенно казалось.

– Кто-то умер? – спросил я и испуганно посмотрел на парней.

Помню точно, что мне тогда не ответили. Усадили за стол, дали мятную конфету, спросили что-то про школу и про здоровье бабушки. Друг с другом они тоже не разговаривали, только пили из стаканов водку; лишь иногда то Леха, то круглолицый дядя Миша коротко спорили о чем-то мне непонятном и странном.

– Может, все-таки к Волку? – спрашивал Леха, постукивая толстыми черными ногтями по граням стакана.

– Да бесполезно все, говорю. Эти уроды даже ментов держат.

– Ты думаешь, они не под Волком?

– Под ним! Все под ним.

– Может, не он их. Может, сами? Как на лохов?

После нескольких таких реплик Леха резко встал со стола, быстро подхватил меня на руки, как малыша – я даже не успел удивиться – и выставил на улицу. Через пару секунд выскочил сам, в расстегнутой замшевой куртке.

– Пойдем, я тебя провожу, – предложил он. И снова замолчал. Я тоже не нашелся, как правильно спросить о том, что я наблюдал в мастерской.

В конце аллеи, если возвращаться по ней из школы, или в самом ее начале, если идти в школу – там, где обычно плакался ворон, – в этот момент притихший Леха взял меня за руку и повернул не в сторону моего дома.

– Сходи со мной. С тобой пустят, – сказал он нервно и снова закурил.

– Куда? – забеспокоился я, – а бабушка?

– Да мы недалеко, в гости тут к одному дяде, бабке твоей я сам все объясню.

Я очень любил бабушку и очень хорошо знал, как она любила меня – по этой причине мне влетало каждый раз, если я вдруг не приходил со школы вовремя. Но я не нашел никаких слов, чтобы перечить Лехе. К тому же мне было жалко на него смотреть. Он был сам не свой – даже рыжие волосы казались не его, какие-то они мятые, полинявшие, седые.

...Мы пришли в один из двухэтажных бараков, какими наш район был наводнен еще со времен грандиозныхстроек заводов и железных дорог. В таких же двухэтажках жили почти все мои друзья и одноклассники. Одно отличие – обычно в таких домах на этаже было три-четыре квартиры, а в подъезде, в который зашли мы, была только одна, на втором этаже – ступеньки пролета сразу же вели к ее порогу. На первом

же этаже был спортивный зал с барной стойкой. Здесь стоял такой же запах, как сегодня на пилораме.

Двери нам открыла пожилая низенькая тоненькая женщина в красно-черном халатике. Она напоминала учительницу.

– Я по делу. Передайте, что я с пилорамы, – сказал ей Леха, даже не поздоровавшись.

Женщина закрыла двери, но через минуту вернулась. Не обращая никакого внимания на Леху, она тут же накинулась на меня со всей ласковой стареющей горожанки:

– Какой красивый мальчик! Проходи скорее ко мне, я тетя Лиля, у меня есть вкусные чупа-чупсы и «Турбо»! Целая коробка! Я тебе подарю!

Наученный тем, что к незнакомым людям надо относиться с подозрением, я не поспешил в квартиру, а для начала вопросительно посмотрел на Леху. Тот махнул рукой, мол, все нормально.

– Раздевайся вот тут! Мы пойдем с тобой на кухню, пока взрослые буду решать дела, – женщина продолжала играть со мной в маленького: она сняла с меня пальто, поднесла тапочки, потрепала за волосы.

Пока тетя Лиля расстегивала мое пальто, я успел разглядеть длинный коридор: он тоже не был похож на коридоры, что были у моих друзей – уж коридоры-то мы детьми запоминаем лучше всего. В них мы проводим много времени в ожидании медлительных товарищей. Так вот, если в обычных коридорах комнаты расходились по разные стороны и этих комнат было максимум две, то здесь лишь с одной стороны виднелись двери, и дверей я насчитал пять или шесть. С другой стороны шла сплошная стена, заставленная книгами и журналами «Советский экран». Столько журналов я не видел больше никогда и нигде. За то собрание я бы сейчас отдал очень многое.

С Лилей мы действительно пошли на кухню, она напоила меня чаем с шоколадными конфетами, подарила чупа-чупс и коробку любимой жвачки. Расспросила о школе, о поведении, о том, каким занимаюсь спортом, – в общем, не была оригинальна. Я же спросил – откуда и зачем столько журналов?

– Это муж, он любитель кино.

– А это к вашему мужу пришел дядя Леша?

– К нему, да. А почему дядя? Отчим? – спросила Лиля и заулыбалась, пытаясь смазать мое впечатление от ее бестактного вопроса.

Я ничего не ответил. Мне почему-то эта улыбка показалась противной. Гнетущей казалась мне и обстановка. Кухня была уставлена дорогой по тем временам техникой – посудомойкой, новой газовой плитой, громоздкими шкафами, цветными лампами; под потолком висели старинные иконы, практически все – темные. Позже я узнал, что сочетание безвкусного богатства с религией было пискom моды для тех людей, чьим гостем я вынужденно оказался.

Я молчал. И Лиля молчала. Если бы в эту минуту вышел Леха и забрал меня отсюда, то я бы бросился целовать все эти иконы! Но Леха не шел, а меня мучило желание сорвать образа с этой кухни и унести бабушке. Так мне хотелось их спасти – не сами доски, а святых. Я остро почувствовал, как им здесь не место. То чувство я тоже запомнил на всю жизнь.

Наконец, появился Леха. Поблагодарил Лилю за то, что «повозилась с парнем», положил коробку «Турбо» за пазуху, и мы пошли на улицу.

Конечно, я тут же спросил:

– А кто это был?

Конечно, Леха мне не ответил правду:

– Так, одни знакомые. Прости, что тебя втянул в это.

– Во что?

Леха снова не ответил.

– Бабушка нас заждалась, поди! Вот нам попадет! – наигранно съезжал он с темы.

А дальше произошло еще одно, что на всю жизнь поселилось в моей памяти, стало ее маркером, меткой. Леха вдруг прижал ладонь к глазам...

Я впервые видел, как плачут взрослые мужчины. И был потрясен этим настолько, что встал как вкопанный. Ноги отказывались идти. Леха не заметил, что я отстал. Он шагал быстро по мокрому осеннему асфальту, его затылок, шея и спина дрожали. Помню, усилился ветер, и он гнал Леху в спину – коварно и жестоко.

С тех пор я не люблю холодный осенний ветер. Он приносит воспоминания о пилораме.

Леха проводил меня до дома. Бабушка пригласила его на чай с лепёшками. Тут только для меня все прояснилось. Из подслушанного разговора я узнал, что на пилораму приходили бандиты и требовали деньги, как тогда говорили, «за крышу».

Леха с мужиками идти на условия бандитов не хотели и искали разные возможности найти на них управу. Леха даже у бабушки спросил – нет ли у нее знакомых кого-нибудь из мафии или из органов. У бабушки таких знакомых не оказалось.

– Откуда у меня, ты что, – говорила бабуля, – у меня вон сосед тоже от мафии вечно прячется. Ко мне приходит. Не знаю, как и помочь.

Сосед дядя Витя действительно часто заходил к нам – уходил в спальню и там подолгу сидел. Или по канату спускался из окна на улицу. Мы жили на втором этаже, и окна спальни выходили в заросший высокими деревьями сквер, так что можно было вылезти из нашей квартиры абсолютно незаметным. У подъезда дядю Витю часто караулили подозрительные люди в дорогих машинах. Дядя Витя был директором цеха на металлургическом комбинате, его заставляли закрывать глаза на вывоз металла, но он был честным. Его постоянно ждали то у дома, то на проходной: разговаривали, угрожали, буквально не давали проходу.

– Вот же заразы, – часто сочувствовала бабушка соседу и сейчас повторяла все то же самое Лехе, – не дают житья честным людям! Нигде не осталось мужиков, одни хапуги. Но ты не отчаивайся. Как решил – так и поступай.

– Не понимаю, почему мы должны платить чужим людям за просто так. Нам деньги с неба не падают, – негодовал Леха.

– Бог им судья, все равно не доживет никто из них до лучших времен. Вон их как стреляют, весь город в табличках – тут убили, там взорвали. Скоро пустой стены не останется.

– В милицию не пойду больше, мне там сразу сказали – лучше заплати и не беспокой нас. Ох, и вкусные лепешки у тебя, мать!

– Кушай, кушай, я и детям заверну. А на милицию, да, надеяться бесполезно. Да и что это за милиция, у нас вон девки с соседнего дома участкового нашего избили. Он к кому-то из них приставать начал – они и испинали его до полусмерти. И смех и грех...

На прощание бабушка обещала Лехе молиться за него. Она это умела. Вставала на колени и до утра могла читать молитвы и плакать. Я верил, что она уговорит Боженьку помочь пилораме.

После того дня я заболел. Неделю не ходил в школу. К моему выздоровлению осень окончательно сдала позиции. Было уже совсем мерзко, бескрасочно и морозно. Я шел на уроки с заранее плохим настроением – по погоде. Заводской гудок встретил меня у самого подъезда, проводил до тополиной аллеи и повел по ней, ничем не перебиваемый – со стороны пилорамы не доносилось даже легкого стука. Потом в нос мне ударил запах пожарища. Помню, что ноги мои подкосились. И я все понял, ничего не увидев.

На месте пилорамы дымилась свалка угля и почерневшего металла.

С тех пор никого из рабочих я не видел, ничего о них не знал. По району ходили слухи, что пилораму сожгли даже не бандиты, а милиционеры – от греха подальше. Так в те времена было принято, так решались многие проблемы. Что касается Лехи, то его якобы убили. По другой версии, он сгорел заживо на пилораме, так как в ту ночь остался за дежурного. Я во все эти байки никогда не верил.

В школу с тех пор я ходил другой дорогой.

Прошло много лет. Я поступил в университет на заочку, устроился работать грузчиком на логистические склады. В одну из первых смен, когда переносил на погрузчик коробки с продуктами, вдруг услышал знакомый голос:

– Ну что, книжку с поэтами-то еще читаешь?

Это был Леха, постаревший, полысевший. Но я узнал его сразу. Вот только как он узнал меня?

– Слышал, бабуля твоя умерла, жалко... А ты почти не изменился. Вон глаза какие любопытные! – его голос был уже не такой задорный и пацанский, как раньше.

– Ты-то как, Лех?! Говорили, что тебя убили.

Леха рассказал, что у него все отобрали, оставили ни с чем, одного из друзей сделали инвалидом, остальные сами отвернулись.

– Это разве не убили? Жена с детьми ушла. К родне на Украину уехала. Тут вот теперь маюсь. Убили, это ты правильно понял.

Я не знал, что отвечать ему. Я вспомнил тот осенний вечер, когда я от жалости заплакал. Нет, сейчас мне уже не хотелось реветь – наоборот, я был страшно рад увидеть здесь того самого столяра, который научил меня заколачивать гвозди! Но все-таки где-то на подсознании Леха для меня ассоциировался с горем, со страшными девятидесятыми годами. А это те воспоминания, к которым мне и моему поколению еще нескоро захочется возвращаться.

– Слушай, а давай выпьем, – предложил я, – на мой участок завезли классный натуральный сок, пару банок распечатаем – за встречу!

– Не, лучше бабку твою помянем! Ее лепешки мне до сих пор снятся! – Леха засмеялся, и мы пошли напиваться соком.

На складе я работал чуть больше месяца, потом уехал на сессию в другой город, там и остался на несколько лет. Но по ночам мне еще долго снилась та серая мокрая аллея, противный навязчивый гудок, карканье ворона и сгоревшая пилорама. Во сне я даже чувствовал запах свежего пепелища.

Иван ЯКУНИН

Родился в 1984 году в Клину Московской области. Окончил Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, факультет зооинженерии. Работал два года по специальности, затем – в отделе продаж Клинского мясокомбината. Руководитель клуба русских забав «Ватага 1317», создатель и организатор праздника-турнира «Кила 700».

Публиковался в нижегородском альманахе «Земляки», журналах и коллективных сборниках, электронных СМИ. Лауреат международного конкурса «Всемирный Пушкин» (2019)», X международного конкурса им. Константина Симонова (2020)».

Живет в Клину.

ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ

Потерялись.

В лесу, который исправно дарил Сергею грибы много сентябррей подряд. Чаща предательски мельтешила незнакомыми голыми березами на замерзающем болоте. Под ногами хлюпает перемешанная кабанами грязь. Их следы повсюду. Сергей давно не замечал кабанов в лесочке у деревни. Вокруг шумно. Шоссе, деревни, обещали построить супермаркет на развилке. Тут не то чтобы кабанов встретить, потеряться невозможно было.

А они потерялись. В тот самый сентябрь после развода, когда подросшая дочь в компании матери согласились провести с ним выходные. Как в старые добрые времена.

– Давай вернёмся к стоянке, – ссутулившись, попросила Аглая. Она не скрывала страха – личико кислое, губки бледные, большие голубые глаза выглядывают из-под капюшона, сиротливо прижалась к резиновому сапогу плетеная пластмассой корзинка. – И снова попробуем. Должно же получиться.

– Давай, Серёж, – вступилась за дочь Ника, – пока недалеко отошли.

Сергей хмыкнул. Решение верное, жалко, предложили девчонки, неудобно как-то. Нехотя согласившись, он захлопал по разомлевшему болотному мху к упавшей березе, рядом с которой они ночевали. Вокруг сухие скелеты молодых елей на припорошенном насте из желтых иголок. Земля из податливой твердой становится у самой полянки с березой, расцветая зеленью вокруг колючего сумрака. Сергей помнит полянку, он ночевал здесь, может, года два назад.

Затушенный по-пионерски костёр тихонько шипел, обидчиво выдувая тонкую струйку дыма из мокрых углей. Ему недолго осталось.

Ещё примят папоротник, где спали Сергей с девчонками, тут же расположился пузатый пакет из супермаркета, полный оберток и всяческого мусора. Сергей оглянулся, выбирая по памяти дорогу к дому. Вокруг такие одинаковые деревья, наверху злорадно разразилась хохотом ворона. Сергей взглянул вверх – сегодня хороший день, небо, порезанное на дольки острыми верхушками деревьев, чистое и голубое. Запахов до головокружения много, терпкий еловый, кислый земляной с болотцем, мягкий, щекочущий нос аромат мха на дереве. Обязательно доберутся домой.

– Если за спиной болото, – авторитетно заявил Сергей, – то идти нам остаётся... туда.

Девчонки посмотрели по направлению руки. Такие же деревья, как и со всех сторон. А Сергей уже шагнул вперёд, аккуратно переступая трухлявую березку, перегородившую путь.

– Давай мусор заберем, – всхлипнула Аглая, – сам же говорил, что нужно уносить с собой. И не взял, когда костёр тушил.

– Оставь! – рявкнул Сергей, перспектива растерянню блуждать в знакомом лесу вызывала раздражение. – Непонятно, сколько идти. Ты с пакетом собралась таскаться?

Аглая испугалась и бросила пакет у пенька, прижавшись к матери.

– Я слышу шум, – виновато улыбнулся Сергей, – скоро выйдем.

Ника тревожно разглядывала бывшего мужа.

– Аглая, ты слышишь что-нибудь? – бросила она, не отрывая взгляда от него.

– Нет.

– Сергей, тут нет никаких шумов, кроме ветра наверху, – осторожно ответила она.

Грибник досадливо сжал губы. Вздохнул. Укоризненно посмотрел.

– Ты серьёзно? Шум дороги в лесу спутать невозможно.

Мать с дочкой не шелохнулись, пристально наблюдая за Сергеем.

– Тут нет никаких звуков, – повторила Ника. – Сергейю, что происходит?

Он медленно пошел вперед, прислушиваясь. Отодвигал ветки и следил, чтобы те не царапали идущих сзади девчонок. Аглая всхлипывала. Ника молчала. Женщина шла за грибником, держась на расстоянии, не сводя с бывшего мужа взгляд. Он чувствовал её спиной. Вокруг рябило от берёз, кривоватых, взращённых болотными соками, напоминавших старух из сказок про ведьм.

– Сергей, это из-за развода? Я понимаю, ты скучаешь по редким встречам с Аглаей...

– Идём. – обрубил грибник. – Громыхает совсем рядом.,

Девчонки переглянулись. Пронзительно скрипели сосны в вышине, о чём-то переговариваясь на своём древнем языке. Прислушаться и можно ощутить шорох мха, вздыхающего под тяжестью сапог. Но других звуков в лесу не слышно.

– Нет, нам страшно, – Ника остановилась, прижала дочь к себе.

– Идём.

– Впереди снова болото. Так не бывает, ты здесь столько раз ходил. Посмотри туда, – Ника кивнула левее намеченного пути, – там лес гуще, значит, нет болота.

– Но шум дороги...

– Папа! – испуганно вскрикнула Аглая, услышав про шум.

– Ладно, пойдём левее.

Он нехотя свернул с пути. Хрустнула под ногами старая шишка, земля обрела привычную твёрдость, и мох лежал не махровым ковром, а проплешинами на земле. Может, девчонки и правы, – усмехнулся Сергей, впереди показался просвет.

– Ну вот, – вздохнул Сергей, – пришли.

У пенька развалился пакет с мусором. В складках собрались большие капли влаги, проглотившие песчинки с иголками, сквозь поникшую петлю ручки нагло выглядывала этикетка сарделек. Папоротник и трава расправились, размывая недавнее присутствие людей. Окончательно погиб костер. Поднявшееся высоко солнце пробивалось сквозь ветки, ощупывая полянку и пакет с мусором.

– Надо мусор забрать. Он здесь чужой, – бросила Аглая, – совсем не нужный.

«Может быть, и хорошо, что дочь не понимает ситуацию», – пожал плечами Сергей.

– Оставь, растащишь мусор только, пока блуждать будем.

И тут же остервенело направился в сторону сгорбленных берёз – никаких поворотов, идём на шум.

Девчонки испуганно зашмыгали носами, сдерживая слёзы. Тёмный лес, ворочающийся в болоте, их не пугал. Страшно идти на шум, которого нет. Лес проснулся и ожил. Полуденное солнце приветливо разбивало сумрак чащи, заполняя лучами пространство. Щебетали птицы, гулял ветер, пахло хвоей и смолой. Всё. Ни скрипа тормозов, ни шороха шин об асфальт, ни опоясывающего деревни на километр вокруг лая собак, ничего людского не было слышно.

– Сейчас, – Сергей оглянулся на них, – будто машина колесом в яму угодила. Слышали?

Ничего не оставалось, как идти за мужчиной. Его темно-зеленый костюм впереди сливался в лесу, превращаясь в траву на земле, мох на деревьях, заросшие сфагнумом пни. Сергей шел уверенно, будто тянул за веревку в незнакомом лесу, выискивая тропу. К стрёкоту сорок в вышине добавилось хлюпанье мха под ногами, покрытые коростой лишайника тонкие деревца попадались чаще и чаще. Аглая пожаловалась, что замочила ноги.

– Сергей, дочь не виновата в нашем разводе... – снова, теперь тихо проговорила Ника. Она сдалась.

– Идём – бросил грибник. Женщина замолчала.

Болото подступало. Сергей уверенно двигался на шум. В полной тишине леса за ним обреченно шагали бывшая жена и дочь. Пришлось пробираться по упавшему стволу. Каждый шаг превращал в труху слабые волокна внутри мертвого дерева, шести для опоры будоражили темную застоявшуюся воду. Спрыгнув с дерева за болотцем, Сергей бросился вперёд через кусты.

Они встретились неожиданно. Сергей замер. Огромная морда лося, торчащая из кустов, застыла перед ним, горячее дыхание на выдохе окутало лицо грибника. Сергей медленно, выставив назад руку, отходил. Лось поступил совершенно иначе, вздёрнув голову выше кустов, с треском ломая тонкие ветки, развернулся и грациозно убежал вглубь болота.

Грибник вышел на отвоёванную полянку. Угли расплылись в разможжённом копытом кострище, теперь напоминавшем воронку. Под натиском убегающего лося окончательно завалилось дерево, у которого они ночевали. Пакет остался нетронутым, покрывшись налетом лесной

грязи, иголок, опавших листьев, веточек и шелухи шишек. За Сергеем вышли бледные Ника с Аглаей.

– Идём на шум, – упрямо повторил грибник, вслушиваясь в гул дороги.

Девчонки заплакали, повторяя, что нет никакого шума.

Сергей растерянно схватил пакет с мусором. Что-то нужно менять в бесконечном блуждании по лесу, сделать частичку городского мира больше. Он свой, пакет нужно забрать, быть вместе. И снова вперёд к болезненным березам на болоте, корячившимся в танце перед растерянным человеком.

Вечернее солнце пробивалось сквозь лес. Лучи больше не заполняли пространство, прошивая сумрак яркими нитями. Снова шагнув за знакомую березу на ковер мха, Сергей ощутил свет, наполненный гулом дороги, впереди чернела дорожная насыпь. Валяется красная канистра, покрытая стекающей с дороги грязью, солнце красит жёлтой серой асфальт.

– Ну, – победоносно воскликнул Сергей, – говорил же, на шум надо идти.

Грибник выбежал к дороге, обернувшись к девчонкам. Те затаились у одной из гнутых берез, прячась в тени. Смотрели испуганно, бормоча, что нет никакого шума, медленно отступая в сумрак леса. Их одежда, дождевики и сапоги сливались с рыжим настом иголок, со мхом на деревьях, с еловыми ветками чащи. Пока не растворились в потёмках чащи.

– Сергей! – впереди раздался голос Ники. Он всмотрелся в машины на обочине через дорогу. Вместе с бывшей женой и дочкой навстречу бежали мужчины из поискового отряда. Они гурьбой принялись обнимать, ощупывать, тискать грибника.

– Ну, ты чего? Дочь испугал, – плакала Ника, – отправил в машину, сказал – огонь затушу и приду. Мы её прогрели, ждали, спасателей вызвали. Ты где был целый день? Мы так кричали и на стоянку нашу ходили раз десять, наверное.

Ника размазывала слёзы по лицу. Аглая не понимала и потому не плакала, но видно было, что всё так интересно. Воздух пропах асфальтом, тонкий запах мокрых углей доносился из леса. Сергей поставил пакет с мусором на асфальт, надо будет не забыть его захватить, когда все начнут разъезжаться. Хочется домой.

Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 году в селе Плюхино Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Работал инспектором отдела гражданской обороны, военным руководителем в школе, секретарем городского комитета ВЛКСМ, начальником отдела администрации города Сарова.

Публиковался в журналах «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор 39 сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011). Награжден золотой медалью «Василий Шукшин» (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

АЛЬМА

Альма почуяла добычу издалека. Осторожно пробираясь по сугробам через завалы деревьев, она понемногу сокращала расстояние между собой и добычей.

Человек, сняв со своего домашнего питомца поводок вместе с ошейником, с умилением наблюдал, как американский стаффордширский терьер Биг, крупный, необычного седого окраса, резвился в пушистых снегах, с огромной скоростью носился по узким тропинкам, пробитым собачниками, в азарте грыз деревья и, будто секатором, срезал мощными челюстями молодую липовую поросль.

Увлечшись играми, терьер не сразу почуял Альму. А она уже была совсем близко. Она видела Человека, чем-то напоминавшего ей Хозяина, видела мускулистое тело добычи, которое металось между деревьями, с наслаждением расходуя накопленную в домашнем бездействии дикую энергию. Она ничем не выдавала своего присутствия, лежа, словно трухлявое осиновое бревно, в глубоком сугробе.

Но наконец терьер что-то учуял. Он встал как вкопанный, поднял голову и потянул носом. Из-за деревьев тянуло сладким запахом самки. Даже не оглянувшись на Человека, стаффордшир осторожно двинулся в глушь.

Альма подпустила его совсем близко, потом вскочила и, отбежав назад, остановилась. Оглянувшись, она убедилась, что добыча послушно следует за ней. Она рванула через пышные горбы, взбивая белые снежные облачка пыли. Терьер не отставал. Он легко торил борозду в глубоком снежном покрове, ведомый зовом плоти.

У Альмы была течка. Поэтому добычу так легко удалось увести от Человека.

Терьер уже бежал рядом, пытаясь на ходу прикоснуться к самке. Альма остановилась. И началась брачная пляска. В снегу быстро образовалась плотно утоптанная площадка, на которой вихрем крутились он и она. Терьер, обезумев от страсти, наскакивал. Альма ускользала, легко покусывая гладкошерстное тело самца, дразня его подскоками и увертками.

– Биг! Биг! – несло с опушки.

Человек, потеряв питомца из виду, забеспокоился и стал его громко звать. Но тот, увлеченный брачными играми, не реагировал. Для него не существовало ничего, кроме манящей, обворожительной самки.

Но вдруг Альма оборвала азартную карусель и бросилась дальше в лес. Терьер неуступно следовал за ней.

Человек, почувствовавший, что с любимым питомцем что-то происходит, пошел по его следу, не переставая кричать:

– Биг! Биг! Ко мне! Иди ко мне, мой мальчик!

Наткнувшись на место встречи двух собак, Человек еще больше встревожился и заспешил, насколько это было возможно в снежных капканах бурелома.

Альма и терьер еще несколько раз останавливались и заводили любовную пляску на полянах, где не было завалов. Все дальше и дальше Альма вводила настойчивого ухажера в лес.

И вот настал момент.

Из-за вывороченного корня лежащего тела березы первым, как всегда, выскочил нетерпеливый и азартный Рванный, молодой волк с надорванным в драке ухом. Он целился добыче в горло. Но промахнулся и попал в плечо. Стаффордшир, крутнувшись на месте, легко сбросил волка с себя и мгновенно вцепился в шею нападавшему. Если бы не густая волчья шерсть, Рванный умер бы в это же мгновение – челюсти у стаффордшира такие могучие, что легко, словно сахарные, разгрызают говяжьи кости. Терьер только прокусил кожу на шее, ощутив сладкий вкус крови. Волчья шерсть забила ему в нос, и он попытался, ослабив хватку, добраться до горла нападавшего. Но было уже поздно. Из-за густой ели выскочил Матерый, могучий взрослый волк, опытный и безжалостный. В огромном прыжке он упал на терьера сверху и вцепился ему в холку. Хрустнули шейные позвонки, и задние ноги жертвы подломились. Третьим на пса накинулся Ласковый – еще один молодой волк, пока не набравшийся опыта в охоте. Он впился терьеру в левую ляжку, не давая жертве возможности подняться на ноги. Но все уже было кончено. Голова стаффордшира безжизненно упала на снег. Очередная охота закончилась удачно. Волки потащили добычу вглубь леса.

Альма почему-то не пошла за ними. Она повернула назад и стала, подняв голову и принюхиваясь. Оттуда шел знакомый запах Человека.

– Биг! Биг! – кричал Человек, все еще надеясь на спасение любимца.

Когда Человек вышел на поляну, он увидел высокую крепкую овчарку, которая внимательно смотрела на него. Человек остановился и огляделся. За спиной собаки он увидел вытоптанную в снегу площадку, обильно политую кровью. Он понял, что питомца ему больше не видать.

Альма смотрела на Человека и вспоминала. Он действительно был похож на Хозяина. У него были точно такие же крупные черты лица и большая, грузная фигура. И очки. Точно такие же, как у Хозяина. У Хо-

зяина их было три пары. В одних он читал, в других смотрел телевизор, в третьих ходил на улице. И Альма всегда знала, когда и какие нужно было принести. Альма и Хозяин тоже когда-то гуляли здесь неподалеку на опушке, рядом с высотными домами. И она тоже резвилась в сугробах, устав бездельничать в каменном мешке квартиры. Но однажды во время прогулки Хозяин вдруг непривычно захрипел, закачался и упал на землю. Альма лизала его лицо, теребила за рукава, скулила, уже понимая, что Хозяин не поднимется. Его увезли на белой машине с красным крестом. И больше Альма его не видела. Еще какое-то время она жила рядом с его домом, питаясь в мусорных баках, шарахаясь от невзлюбивших ее дворников с большими лопатами и колючими метлами, а потом ушла в лес и пристала к стае.

Волки боялись людей, но Альма раз за разом приводила их к опушке. А сама уходила на охоту. Она знала, что именно здесь люди отпускают своих питомцев с поводков и те могут стать легкой добычей стаи. Альма вступала в игру и заманивала жертву в лес. А там уже приходила очередь стаи.

Человек, глядя дикой овчарке в глаза, медленно стал отступать. Он понял, что может разделить участь своего питомца.

Но он напрасно беспокоился – стая сегодня была уже сыта. Да Альма никогда бы и не напала на Человека. В ней еще жила добрая и ласковая частичка Хозяина.

Альма повернулась и побежала вслед за стаей.

Александр СМИРНОВ

Родился в 1986 году в Ярославле. Окончил математический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры теоретической информатики ЯрГУ.

Автор более 120 публикаций в различных изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Германии и Финляндии («Юность», «Журнал ПОэтов», «Нива», «Второй Петербург», «Вокзал», «Черновик», «Жемчужина», «Знание — сила: Фантастика», «Машины и Механизмы», «Очевидное и Невероятное», «Экология и жизнь» и др.).

Живет в Ярославле.

ХОМЯТКА

В большом доме жил Хомятка. Целыми днями бродил он по этажам, заходил в комнаты, наполненные невиданными диковинами, смотрел и удивлялся. Он никогда не покидал дома и даже не знал, есть ли из него выход. Хомятка прилетел сюда на самолётике настолько маленьком, что тот пролез в открытую форточку. Однако как он попал в самолёт, откуда летел и чем он там занимался, Хомятка, как ни силился, вспомнить не мог.

Верхний этаж этого необычного дома никак не сообщался с остальными. Там, среди скудной мебели, ничего не ведая о происходящем внизу, двое вели долгий разговор. Начался он давно и совершенно случайно.

— Ты когда-нибудь слышал, — сказала она, — такое стихотворение:

Когда Изольда, изо льда
Воздвигнув странные скульптуры,
Задумалась о смыслах бытия...

— Изольда изо льда? — прервал он.

— Скульптуры изо льда, — поправила она.

Но слово произнесённое оказалось материально, и в тот же миг в одной из бесчисленных комнат на нижних этажах дома возникла Изольда, прекрасная и неподвижная в своей ледяной наготе, окружённая причудливыми, пугающе холодными скульптурами.

А разговор продолжался.

– Погоди, ты не дослушал, там ещё есть:

Когда отправленные письма
Отравленными стали вдруг,

Когда пушистая, как выюга,
Из леса рыжая зверюга
На поле вышла в час полночный...

- А дальше?
- Дальше?
- Да. Если есть «когда», должно быть и «тогда».
- Возможно. Я не помню. Только эти три строфы...
- Давай тогда придумаем продолжение сами.

Так началась их словесная игра, своеобразный пинг-понг, в котором каждый пытался переоригинальничать другого, и остановиться они уже не могли. Любая метафора, удачная или не очень, тут же воплощалась внизу.

Месяц за месяцем, порождая сущности, продолжалась игра, прерываемая лишь ежедневным чаепитием. В одну из таких пауз, заметив, что он уплетает печенье, не дождавшись, пока вскипит чайник, она спросила:

- Как ты думаешь, что такое «сухомятка»?
- Ну, хомятка – это небольшой зверёк, – ответил он.
- А «су»?
- Самолёт, наверное.

Так появился Хомятка. Возможно, потому, что создан он был во время перерыва в игре, Хомятка обладал большей свободой, нежели остальные диковины, и мог перемещаться по дому. Выйдя из комнаты, где пылился не работающий более самолётик, пройдя по стеночке коридор стремглавного стремени, Хомятка попадал в помещение, где кактус пиковой масти, как туз нацепивший картуз, гордо рос в своей кадке. Оттуда вели три пути: к задумчивой ледяной Изольде, в чулан лани и на лестницу, где перила скрипели и пели. Наверху, сидя на заваринке – скамейке из чайных листьев, одержимый почтальон ставил штемпель за штемпелем на отправленные письма, а окна круглой комнаты все выходили на восток. Внизу весёлое вино кипело в бурдюках, и алела лампочка заката в маленькой глухой каморке.

И всюду – лестницы, переходы, виражи, ведущие из фантазии в мистирию, из мистерии в кошмар. Не зная, что он творение той же фантазии, бродил Хомятка по дому, словно по снам безумца, и сам всё чаще ощущал себя слегка безумным.

Когда впечатлений становилось слишком много, чтобы их усвоил разум, Хомятка приходил в комнату Изольды и сидел среди её безмолвных скульптур, странно умиротворявших его. В один из таких дней в душе Хомятки зародилась смутная тоска по родному дому, совершенно не фантастическому, дому, где живут такие же хомятки, как он, дому, которого он никогда не видел и которого у него на самом деле никогда и не было. Однажды зародившись, эта мысль постоянно напоминала о себе тихим зудом и постепенно превратилась в навязчивую идею, и теперь Хомятка плутал по коридорам лишь в поисках выхода, но не находил его.

А игра на верхнем этаже всё длилась. Подачу за подачей отправляли вдвое друг другу, и каждая фраза начиналась со слова «когда», и каждая порождала сущность внизу.

Когда в доме стало тесно, он начал трансформироваться. Пространство искажалось и обрастало измерениями – там, где раньше была одна комната, теперь умещалась целая их анфилада.

«Когда» следовало за «когда», в основном в стихах, но порой и в прозе. Мастерство игроков росло, и сущности всё усложнялись, однако никому из двоих не удавалось настолько превзойти другого, чтобы наконец выкрикнуть финальное «тогда». Игра стала бесконечной.

В лабиринте смыслов блуждал тоскующий Хомятка, а по ночам глядел в окно. Каждую полночь из близлежащего леса выходила рыжая зверюга и печально смотрела в ответ...

Стихи по кругу

Владимир КОРНИЛОВ

Братск

Байкал

Памяти Александра Вампилова

Зацвел багульник по угорам,
Зарёй окрасив лепестки.
И, сбросив лёд,дохнул простором
Байкал на сонные пески.

...Байкал. От сопок полдень синий
Стекает медленно в тайгу...
А там, вдали, в изломе линий,
Я взором лодку стерегу.

Быть может, там моя удача,
На гребнях пенистых валов,
Где чайки, за кормой маяча,
Подстерегают свой улов.

Где в шторм – одно к спасенью средство:
За вёсла взявшись, насмерть стой!
Чтоб берег зыбкий, словно детство,
Казался Родиной святой.

* * *

Ночь ли это?.. Сумрак ли сгустился?
Только стало жутко и темно.
Говорят, в колодце месяц утопился –
Пил над срубом и упал на дно.

Потому и люди приутихли.
Не скрипит журавль пустым ведром.
Златокрылый месяц, не для них ли
Санный путь ты выстилал пером?..

Даже птахам нынче не поётся.
Льют дожди... И в траурном платке
Ночь-вдова склонилась у колодца
Над утопшим месяцем в тоске.

В Сибири

Словно сказка живая
В расписных теремах, —
Так Сибирь вековая
Нынче вся в кружевах.

...Зимний утренний морок
Всюду мглист и тягуч.
За окном минус сорок —
Даже воздух колюч.

А мороз — аж дымится...
В белых шубах дома...
Но в сибирской столице
Мне по нраву зима.

Коль метель — то до неба,
В рост медвежий снега.
Здесь немерено хлеба
И богата тайга.

Здесь вином и закуской
В праздник вас угостят.
Коли пир — так по-русски,
А обиду простят.

Если горе без меры —
Боль разделят и грусть.
...Не живут здесь без веры
В Православную Русь.

Александр КОНОПКИН

Саров

* * *

Как будто и не лето — сплошь туман.
И камни, что целуются с волнами,
И запах тины, и Нева с ветрами,
И двор-колодец — гулкий барабан.

Ворота в арке по асфальту трут
И помнят манифест от Николая.
Проехав, их с опаской закрываю,
Хотя они меня переживут.

В подъезде сумрак и болотный смрад,
В квартире эхо, балки — словно вены,
И ночью слышно, как судачат стены:
Не нравится им слово Петроград.

Здесь всё живое. Странно ощущать
Косые взгляды тёмных подворотен.
И классицизм всё время будет в моде.
И здесь не нужно ничего менять.

И тянет приезжать и приезжать...

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ

Саратов

Шиповник

Вдоль дороги,
Прижавшись к калитке,
Розовеет шиповника плеть,
Зажигает в прохожих улыбки –
Не срывая, милее смотреть!

Куст ничей. Никому не мешает.
Что ему до капризности роз!
Его знает дорога большая,
И – бояться людей не пришлось.

В белый день
Огоньки над снегами
Не забыли прозрачную цветь.
И на ягодках гладкое пламя
Продолжает гореть и гореть...

Поздний август

Томится лист предчувствием паденья,
Изгиб луны натянут тетивой.
Густеет ночь.
И ветра дуновенье
С пожухлой перепутано травой.

И в тишине тревожного прощанья
В траву упала первая слеза.
Но лета неостывшие желанья
Ещё не смотрят осени в глаза...

* * *

Когда от золотого чуда
Резвящейся листвы
И шёпота ветвей
Разнежен ветер –
И повсюду
Играют скрипки

Солнечных лучей,
Невольно обостряя
Слух мой, –
Мне слышится
Прощание во всём...
И шёпот с ветром
На осенней кухне:
Мы жили...
Мы ещё живём!

* * *

На задумчивом закате
Вяз стареющий спокоен.
Словно мудрые улыбки,
В грусти он роняет листья.
И под крепкими ветвями
Костерок из красных листьев
Запылал – и согревает
Золотым теплом округу.
А когда ночная свежесть
Озарится лунным светом,
Хорошо стоять под кроной –
Слушать хриплый голос вяза.

Лидия ЮСУПОВА

Нижний Новгород

* * *

Что прекрасней всего на свете?
Счастье взаимной любви на рассвете.
Первый ласковый солнца луч,
небо без туч.

Что страшнее всего на свете?
Брат на брата войной.
По планете
крик отчаянный матерей,
потерявших детей.

Что труднее всего на свете?
Не казаться, а быть.
Ответить:
С кем идти и куда идти...
Сделать выбор пути.

* * *

Болью боль унять,
чтобы дальше жить,
чтобы все понять,

чтобы все простить...
Отпустить...

Чтобы мудрой стать,
Яркое носить,
Перестать страдать,
И счастливой быть...
Пережить...

Пусть вокруг снега,
Искры на снегу.
Эти берега
В сердце сберегу –
Иначе не могу.

Юрий ПРЯДИЛОВ

д. Юрьевец, Нижегородская область

Капризы весны

Весна пришла предельно затяжная.
Потом остановилась у ворот
И говорит: «Удельная княжна я.
Теплом не стану баловать народ».

И все вокруг покорно и поспешно
Пытались угодить ей как-нибудь:
Металась вьюга по просторам вешним,
Снегами застилая торный путь.

И северные ветры свирепели.
Дорога уходила из-под ног.
Хоть верные вдали сияли цели,
Но был непредсказуемым итог.

Молчали птицы и цветы хирели,
И грозно нависали облака...
А лето из небесной колыбели
Смотрело на весну издалека.

Как ни крути, а лето точно знало,
Когда пересекутся их пути.
И, что весна досрочно растеряла,
Все предстояло к осени найти.

Из новых книг

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет. Работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской государственной консерватории. Кандидат филологических наук, доцент, историк культуры, критик.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забытая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), «Утренний человек Даниил Хармс» (2020), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЛЕГЕНДА О ГАМЕЛЬНСКОМ КРЫСОЛОВЕ

*Из книги «Утренний человек Даниил Хармс»**

Среди детских стихов Даниила Хармса есть небольшое стихотворение, довольно часто публикуемое, – «Что это было?». Собственно говоря, это писалось как дополнение к рисунку.

Я шёл зимою вдоль болота
В галошах,
В шляпе
И в очках.
Вдруг по реке пронёсся кто-то
На металлических
Крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.

* Валерия Белоногова. Утренний человек Даниил Хармс. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2020.

И долго я стоял у реки:
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные
Дощечки
И непонятные
Крючки!»

1940

История создания этого стихотворения для «Чижа» удивительным образом сохранилась. Её воспроизвел в своих воспоминаниях 1970-х годов в журнале «Костер» Борис Семенов: «Однажды мне, художнику-редактору журнала, принесли рисунок для зимнего номера. Морозное солнечное утро. Из заснеженной избушки выбегает мальчуган, становится на коньки и ловко скользит по поверхности льда. Ниже художник изобразил, как мальчик, докатив до крутого берега, вскакивает на лыжи и мчится через засыпанный снегом лесок. Рисунок был узкий и занимал по высоте как раз половину страницы. Я показал эту славную картинку Хармсу, сидевшему за столом напротив, и попросил его придумать какой-нибудь веселый стишок, ну, хотя бы о том, как полезен зимний спорт. Рисунок Хармсу понравился.

Вечером мы ехали с ним в гости, разговаривали о том о сем, сидя в холодном автобусе. Вдруг на остановке Даниил Иванович умолк, вынул из кармана свою красивую записную книжечку и вписал туда мелким почерком четыре слова: *болото-очки-дощечки-крючки*.

И я подумать не мог, что у него в эту минуту сложилось уже готовое стихотворение, да еще какое! В полдень следующего дня на редакторском столе лежали эти стихи, прекрасным образом дополнившие рисунок <...>. Стихи и картинка были напечатаны, только художнику А. Успенскому пришлось срочно дорисовать над заголовком нелепо удивленного человечка в очках и галошах, похожего на человека в футляре».

Изначальная мысль художника была проста. Изыщные, веселые и стремительные картинки должны были сказать – «ну, хотя бы о том, как полезен зимний спорт». Но, попав в руки поэта Даниила Хармса, история тут же обретает еще и другой смысл. Чуть ли не философский. Конечно, стишок можно читать детям просто как веселую загадку. Но срочно «дорисованный» нелепый человечек в шляпе, очках и галошах, похожий на чеховского «человека в футляре», – это на самом деле ВЗРОСЛОСТЬ, которая едва поспевает разглядеть проносящееся мимо ДЕТСТВО. Полузабытое. И рассказ-то звучит от имени взрослого, вспоминающего свое детство. «Какие странные дощечки и непонятные крючки!»

Это веселое стихотворение удивительным образом, кажется, соединило в себе поэта-«взрослого» и поэта-«ребенка». Потому что Хармс в нем одновременно – и пожилой человечек в очках, и мальчишка, который подпрыгнул и исчез.

Интересно, наверное, было бы понаблюдать, как взрослый поэт Даниил Иванович Хармс вел себя на творческих встречах в гуще детей. (Кстати, по имени-отчеству его начали звать уже в молодые годы, и мало кто, даже из друзей, переходил с ним на «ты».) О том, как слушали дети стихи Хармса, осталось много воспоминаний. Дело в том, что Маршак завел традицию время от времени отправляться всей редакцией «Чижа» к детям – в детские сады или младшие классы школ. Авторы выступали и на детских праздниках, и в библиотеках. На этой живой аудитории устраивалась как бы проверка журнальных материалов.

Обсуждались рисунки и обложки очередных номеров. И, конечно, тексты рассказов, стихов, загадок, которые звучали в исполнении авторов. Хармс любил читать перед детьми. То, как он управлял «неуправляемой» детской публикой, было проявлением настоящего «мастерства».

Вспоминали о таком вот его приеме. Высокий, спокойный и невозмутимый Хармс появляется на сцене в своем необычном костюме и некоторое время просто молчит. Шум в зале становится чуть тише. Не торопясь, он достает записную книжку и начинает очень негромко, не напрягая голос, говорить: «Сейчас, дети, я прочитаю вам стихи о том, как мой папа застрелил мне...» Начало фразы звучало отчетливо, а конец – неразборчиво. Начинался гомон: «Кого? Кого застрелил?» Хармс опять читает ту же фразу с неразборчивым концом. Снова шум, топот, гам. Только на третий раз он дочитывает фразу до конца: «...о том, как мой папа застрелил мне хорька». И читает все стихотворение – в полной тишине. Ритмично и четко, как всегда. Дети очень точно реагируют. Прекрасно понимают, что убийство не настоящее, что сама охота похожа на игру. Смеются. Хармс продолжает программу. Читает по-прежнему тихо и даже мрачновато. Но детей не пугает его суровая внешность. Они слушают как замороженные, чуть дыша. Ему приходилось читать стихи еще и еще. Они начинали шуметь, только если Хармс собирался уходить со сцены. Среди возбужденных детей в зале сидели коллеги-сотрудники и сотрясались от хохота.

Нина Владимировна Гернет, которая в 1930-е годы заведовала редакцией «Чижа», очень высоко ценила именно профессионализм Хармса. То, как понимал он психологию детей и безошибочно чувствовал, что им интересно, как мог за двадцать минут сочинить блестящую подпись к рисунку или небольшое стихотворение, прямо в редакции. Чтобы ему не мешали, она запирала его в пустой комнате.

С ним вместе они придумали и внедрили в практику редакционной жизни несколько, как сейчас говорят, творческих проектов. Так, в 1934 году в «Чиже» появился новый персонаж по имени «Умная Маша». Появился по идее Хармса. Нина Гернет подхватила замысел. Это стало «сериалом» своего рода комиксов, которые появлялись в каждом новом номере. Художник Бронислав Малаховский иллюстрировал этот «сериал», используя образ своей дочери Кати. Скоро в создании сюжетов и подписей к картинкам о приключениях серьезной и находчивой девчонки участвовала уже вся редакция. «Как Умная Маша убирала сад», «Умная Маша и мухи», «Умная Маша и ее глупый брат Витя», «Умная Маша и тяжелые сани» и так далее. Для многих советских детей Маша стала живым персонажем. Ее ждали, ей писали письма. Организован был даже сеанс телефонной связи (своеобразный «телемост»). К сожалению, в 1937 году за публикацию стихотворения «Из дома вышел человек» Даниил Хармс на целый год был отлучен от редакции «Чижа». Рубрика «Умная Маша» стала появляться реже.

Что касается устных выступлений Хармса перед детьми, Нина Владимировна тоже говорила о его редком умении буквально завораживать, чуть ли не заколдовывать слушающих его детей – самым обликом своим, тембром голоса, ритмом чтения и, конечно, волшебством самого стиха, захватывающей игрой слов. Именно Нина Гернет нашла интересный образ, связанный с этим фантастическим свойством Хармса. Она вспоминала о его выступлениях в одном загородном пионерском лагере, где после окончания концерта все слушатели встали и пошли за ним до станции, «как за гамельнским крысоловом».

Средневековая немецкая легенда, которая здесь имеется в виду, рассказывала о музыканте в пестрых одеждах, пришедшем в Гамельн на реке Везер и избавившем город от нашествия крыс. Но он был обманут магистратом, который отказался выплатить ему обещанное вознаграждение. В отместку в одно прекрасное утро музыкант с помощью своей флейты увел за собой всех городских детей, сгинувших потом безвозвратно. Легенда, распространившаяся в Европе в XIII веке, стала блуждающим сюжетом. И не раз возрождалась в мировой литературе. Например, в сказке Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Что же повело гамельнских детей за играющим на флейте крысоловом? Наверное, та самая власть искусства, которая дана музыкантам и поэтам, завораживающим тех, кто их слышит.

Интересно, что именно «властность» (как раз в этом самом смысле) Хармс считал одним из главных свойств писателя. Кажется, он нигде не писал об этом специально. Выстраивать некую свою теорию на предмет писательского творчества – это вообще не о Хармсе. Но с некоторыми собеседниками он эти свои мысли проговаривал. С Анной Андреевной Ахматовой, например. Рассказывая Лидии Чуковской о своем знакомстве с Хармсом в 1940 году, она передала его слова: «Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему “Путем вся земля”».

Он сказал: да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости маловато».

А что все-таки подразумевал Хармс под свойством «властности» у писателя? Еще одним собеседником его в разговоре на эту тему был художник Всеволод Петров. В своих мемуарах о Хармсе, писанных спустя много лет после этого с ним разговора, Петров сводил смысл, который вкладывал Хармс в понятие «властность», к верно найденной литературной детали.

«Одним из важных свойств писателя он считал властность, – пишет В. Петров. – Писатель, по его убеждению, должен поставить читателей перед такой непреерекаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против нее. Он взял пример из прочитанного нами обоими романа Авдотьи Панаевой “Семейство Тальниковых”. Там по ходу действия автору потребовалось изобразить, как один человек сошел с ума. Сделано это так: человек приходит на званый вечер. Гости давно уже в сборе. Человек остается в пустой прихожей, снимает с вешалки все шубы, пальто и салопы, несет и аккуратно складывает их в угол, а на вешалке оставляет свою только одну шинель. Она висит одиноко и отчужденно. Сумасшествие показано, таким образом, при помощи неброской, но вместе с тем неожиданной детали, которая обретает ряд различных, часто параллельных, а часто перебивающих друг друга смыслов».

Стихи Ахматовой Хармс знал с юности. Они входили в список его «наизустных» стихов 1925 года. Он исполнял их со сцены. Вот бы узнать, а какая деталь в поэме «Путем вся земля» позволила ему говорить о присущей поэту Анне Ахматовой властности? Остановившийся над избушкой китежанки месяц или взятый автором гигантский масштаб событий на рубеже веков и истории...

Анна Андреевна ценила в большей степени прозу Хармса. Вот как зафиксированы ее мысли по этому поводу Анатолием Найманом «В рассказах об Анне Ахматовой»: «Он был очень талантливый.

Ему удавалось то, что почти никому не удается, – так называемая проза двадцатого века: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит». Этот пример, который приведен Ахматовой из его прозы, тоже о «властности», как трактовал ее сам Хармс. Люди летают в его стихах и рассказах так убедительно, что «не посмеешь и пикнуть против». Жаль, что они больше не встретились. Кажется, им было о чем поговорить.

Так что вести за собой можно не только детей, но и взрослых. И не только стихами, но и прозой. Те, кого «увел» он в пионерском лесу до станции, выросли, но точно его не забыли. Как не забыли его и взрослые читатели, друзья и соратники. Приехав уже после войны в Москву, Борис Семенов зашел к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Маршак прочел ему только что переведенную им «Балладу о королевском бутерброде» Алана Милна. Гость попросил разрешения переписать текст себе. Протягивая ему экземпляр, Маршак сказал грустновато:

– А правда, похоже на нашего Даниила Ивановича? – И, помолчав, прибавил: – Да, как видите, Хармс не кончился, и Милн – разве не родственник нашего Шустерлинга?

Разговор о «детском» и «взрослом» Хармсе – конечно, условность. Как сказал однажды один наш известный сатирик, отвечая на вопрос о взрослении, – некоторые вообще не взрослеют. И слава богу, что не взрослеют. Те, кто сочиняет стихи, те, кто любит стихи, те, кто совершает открытия в изучении космоса и Мирового океана... Тем более те, кто рассказывает о «полётах в небеса».

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт.

Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников прозы и публицистики. Биографическое исследование «Константин Леонтьев» получило «Серебряного Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» 2016 года и вошло в шорт-лист Бунинской премии. Дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный обладатель премии Нижнего Новгорода.

Ранее – инженер-электрохимик в крупном химическом объединении, действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

«НЕЗАУРЯДЕН В ЧАСТНОСТЯХ И В ЦЕЛОМ...»

Ростислав Алексеев: человек-эпоха

Человек, богато одарённый острым умом и твёрдым характером, помогающим развернуться уму в полную его силу для решения задач, невозможных для других, всегда загадка. Философ Иммануил Кант говорил: «Характер состоит в способности действовать согласно принципам». И ведь замечательно сказано. Немало на свете неглупых людей, транжирящих свою жизнь в острых и одновременно пустопорожних разговорах по любому поводу, в погоне за карьерой, деньгами, известностью. Но вот взяться и сделать дело, стоящее и полезное людям, – нет. Он, «умный», лучше постоит в сторонке да понаблюдает, как мучается творец в поисках созидания, а порой и посмеётся втихаря над его неудачами.

Ростислав Алексеев сообразно характеру жил и действовал по принципам, главным из которых было служение людям через целеустремлённую одержимость воплощения своих идей. Трудна ли эта ноша? Несомненно, но он был счастлив, так как в проделанной работе видел при жизни следы своей воли, своих идей.

Как появился такой человек, сделавший себя сам, как советская эпоха стала для конструктора Ростислава Алексеева самой подходящей для творчества и свершений, как он стал великим творцом – об этом наш краткий рассказ.

Почти каждый из нас, кто более-менее связан с землёй (крестьяне, дачники, члены садоводческих товариществ), использует в своей практике сидераты (зелёные удобрения). Но мало кто знает, что и термину, и методикам их применения россияне обязаны Евгению Кузьмичу Алексееву, отцу великого конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

Предки отца великого конструктора происходили из старообрядческой уральской среды. Ещё при Алексее Тишайшем, втором царе из древа Романовых, бежали старообрядцы от религиозных преследований в глухие леса Центрального Урала (нынешняя Свердловская область). Часть старообрядцев была завезена заводчиками Демидовыми из Нижегородской губернии (Барминская волость) для работы на заводах. Известно, что Демидовы, «хозяева Урала», двигали по служебной линии исключительно старообрядцев. Вот и Кузьма Алексеев, кузнец на железоделательном заводе Акинфия Демидова в посёлке Висимо-Уткинске в 58 километрах от Нижнего Тагила, отличаясь завидным трудолюбием, выдвинулся в служащие заводууправления.

Евгений (год рождения 1884) к одиннадцати годам окончил с похвальным листом начальное училище, а через три года и земское училище. Способный юноша, имевший отличные и хорошие показатели, продолжает обучение в Казанском учительском институте. Руководство института направляет Евгения в Москву на первый в России учительский съезд (28.12.1902–6.01.1903), на котором он знакомится с коллегой Серафимой Протопоповой, народной учительницей, недавней выпускницей Пермской губернской гимназии. После окончания института в 1903 году Евгений Кузьмич учителствует в начальной школе города Балашов Саратовской губернии.

Евгений и Серафима в 1906 году поженились. Серафима Павловна Протопопова родом из городка Чердынь Пермской губернии происходила из семьи потомственных иконописцев и купцов третьей, а затем и второй гильдии. Умение хорошо рисовать передалось не только Серафиме, но и её сыну Ростиславу. Учитывая реалии советского времени, Серафима Павловна тщательно скрывала, что она из купеческого сословия.

Через год после свадьбы молодожёны решили сменить профессии и отправляются в Петербург. Евгений Алексеев в 2011 году получает диплом агронома, окончив высшие Петербургские сельскохозяйственные курсы. Серафима Павловна сначала поступила в школу знаменитого врача и педагога Петра Лесгафта, но со смертью его в 1909 году школа закрылась, и она перевелась на высшие психоневрологические курсы не менее знаменитого невролога и психиатра Владимира Бехтерева (1857–1927). Вскоре родился первый ребёнок, и курсы Серафиме пришлось оставить, но ребёнок умер в грудном возрасте. К тому времени Евгения Кузьмича пригласили на должность земского агронома возле городка Почеп Черниговской губернии. Сменив несколько мест работы, молодой агроном приобретал опыт и обосновывал захватившую его идею повышения плодородия почв за счёт сидератов: однолетнего люпина, сераделлы, донника и клевера.

В 1916 году земство Черниговской губернии направляет его создавать в четырёх верстах от города Новозыбков (ныне Брянская область РФ) опытную сельскохозяйственную станцию. С этой задачей Евгений

Алексеев прекрасно справляется. Здесь 18 декабря родился второй сын и третий ребёнок в семье Ростислав.

В 1922 году издаётся очередной труд Е.К. Алексеева «Люпин, сераделла и минеральные удобрения в посевах Новозыбковской опытной станции», который привлёк внимание академиков Д.Н. Прянишникова, К.К. Гедройца, поддержавших начинания Алексеева. Дмитрий Прянишников (1865–1948) писал: «Само создание Новозыбковской опытной станции, первой и единственной у нас специализирующейся на мелиорации песчаных почв с помощью зелёных удобрений, является большой заслугой Е.К. Алексеева». Даже сам знаменитый генетик и ботаник, академик АН СССР и ВАСХНИЛ Николай Вавилов (1887–1943), создатель учения о мировых центрах происхождения культурных растений и их иммунитете, нашёл время, чтобы побывать в 1925 году на станции, отметить успехи возделывания песчаных почв.

Перед войной (1940) Е.К. Алексеева избирают действительным членом Академии наук Белорусской ССР, в составе которой он остаётся до конца своих дней (1972).

Академиком Евгением Алексеевым создано более 90 печатных трудов. Наиболее значимые из них – «Теория и практика зелёного удобрения» (1936), «Зелёное удобрение в СССР» (1951), «Серадельные удобрения в БССР» (1952) «Зелёное удобрение на орошаемых землях» (1957), «Однолетние кормовые люпины» (1968), «Сералелла» (1969), «Зелёное удобрение» (1970) и другие, вышедшие массовым тиражом и хорошо известные каждому агроному. У него было немало учеников: под руководством Алексеева десятки аспирантов защитили кандидатские диссертации, одиннадцать – докторские. Одно лишь перечисление научно-исследовательских трудов земского агронома, ставшего академиком, говорит о постоянной заряженности на работу, на достижение поставленной цели, верности ей и Новозыбковской опытной станции, с которой не порывал связи до своей кончины.

Работа Евгения Кузьмича не утомляла, она никогда не утомляет умного и созидательного человека в полном соответствии с мудростью Экклезиаста «Труд глупого утомляет его». Главная его заслуга – привил детям любовь к труду, порой монотонному, с не сразу видимыми результатами, упорству, а может, даже упрямству, но не нигилистическому, а положительному, созидательному, уверенному в своей правоте. И делалась эта прививка не назидательными способами, не пустословными лекциями о пользе труда, а собственным примером.

Есть такое истрёпанное, избитое наблюдение, часто поддерживаемое генетиками, – «талант родителей на детях отдыхает». Семья Алексеевых эту «истину» разбила в пух и прах. Родительские таланты в их детях умножились. Анатолий стал хорошим радиоинженером, но погиб в первый год Великой Отечественной войны, защищая Москву. Дочь Галина стала кандидатом физико-математических наук, Маргарита – видным архитектором. И вот перед нами высшее достижение семьи Алексеевых – сын Ростислав, великий изобретатель и Конструктор, гордость СССР, России и Нижнего Новгорода.

Восемнадцатое декабря – число знаковое для России. Знак зодиака – Стрелец. Это день рождения Иосифа Сталина и Ростислава Алексеева. Первый из них жесткий, порой жестокий реформатор, превративший

аграрную Россию в высокоразвитую промышленную державу с атомным и водородным оружием, с космическими кораблями, первыми доставившими человека Земли в космос. Второй – Конструктор, тоже не менее жесткий, заставивший сонно хлюпавшие шлицами пароходы летать. В народе говорят, что умные люди бывают жестоки, а глупые жестоки сверх всякой меры. И тот и другой, упомянутые выше, были умными людьми, и потому их жестокость не выходила за рамки разумного.

К 1917 году в семье Алексеевых трое детей. Старший сын, Толик, черноволос и смугл в отца. Он первый «воспитатель» юного Ростика, так зовёт его мама, на которую он похож. Ласковое имя пришлось по вкусу, и все родные так называют Ростислава, третьего ребёнка. Чуть-точку постарше Ростика сестра Галочка, бойкая девочка с длинными косами.

Серафима Павловна могла бы преподавать в школах Новозыбкова, но она полностью отдаёт всю себя воспитанию детей. Учит их рисованию, читает в гостиной комнате книги (их рубленый дом первый на с/х станции), а на ночь рассказывает сказки. У неё в помощниках домработница Маня – бывшая рабочая спичечной фабрики в Новозыбкове. Днём дети пропадают в кузнице, где много интересного, где шумит горн, где громко стучат по раскалённому металлу, высекая снопы огненных искр, где подковывают лошадей, ставших первой любовью Ростика. Местный кузнец собирает им игрушки, рассказывая и показывая, как изготавливается та или иная деталь.

Оказалось, что и Галину интересует кузница. Жизнь показывает, что раннее приобщение к технике, неподдельный интерес ко всему движущемуся, летающему, рычащему, но легко управляемому человеком, остаётся любимым навсегда. Вся троица в той или иной степени связала свою жизнь с новинками радио, машин, моторов, судов, самолётов. Они спорят по любому поводу, рассуждая всяк по-своему, дополняя друг друга точными наблюдениями, чувствами. К ним точно подходит характеристика, выданная А.С. Пушкиным. «Меж ними всё пождало споры / И к размышлениям влекло: / Племян минувших договоры, / Плоды наук, добро и зло, / И предрассудки вековые, / И гроба тайны роковые, / Судьба и жизнь в свою чреду, / всё подвергалось их суду». И в этом нет ни малейшего преувеличения: кто рос среди сверстников, согласится со строками поэта.

Созидательное мировоззрение детей формировалось и внешними условиями опытной станции. Здесь постоянно шло строительство жилых домов для прибывающих сотрудников, корпусов самой станции. Любая стройка издавна привлекает внимание не только мальчишек. Недаром говорят, что «бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек». Стройка, стройка! Вся страна строилась. Мальчишки не просто смотрели, но бросались по первому зову старших что-то принести или подать. Психологи строительства, постоянное влечение к этому процессу формировали из молодых людей, родившихся в 10–20-х годах XX века, особое племя с менталитетом созидателей. Именно с приходом его на фронты Великой Отечественной войны произошёл решающий перелом в пользу СССР.

Семи лет Ростик пошёл в Новозыбковскую школу имени Льва Троцкого первой ступени, где уже учатся Толик и Галина. Первая ступень предусматривала обучение с 8 до 11 лет, вторая – с 12 до 17. В 20-е

годы детей в школу брали обычно с восьми лет, но отец, занимавший заметное место в уездной иерархии, упросил директора школы взять младшего сына на год раньше. Первокласснику Ростику было семь лет и восемь месяцев. Чтобы не оставлять детей, учащихся в разных классах (Толик в четвёртом, Галя во втором, а Ростик в первом) наедине со своими проблемами, Серафима Павловна с домработницей Маней снимают пару комнат в частном доме. А проблемы возникают тут же: мальчишки, услышав, что одноклассника зовут Ростиком, тут же придумывают дополнение «Ростик-хвостик». Как тут обойтись без ласковых успокоительных слов мамы? Повзрослев, Ростислав всё же бунтует против такого уменьшительно-ласкательного имени, за что его наказывают, запирая в чулан. Результатом стал рисунок, на котором он сидит на полу и уплетает варенье из найденной в чулане банки. Зарисовывать большинство жизненных перипетий, оказавших заметный след в судьбе, стало потребностью Ростислава.

Большинство рисунков Ростислава Алексеева приведено в книге его дочери Татьяны и Ольги Наумовой «От замысла к воплощению»

Назначение отца на профессорскую должность в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках счастливо совпало в жизни Ростислава с окончанием школы первой ступени – в 1928 году четыре класса позади. Отец поехал устраиваться на новом месте, а семье преподнёс своеобразный и незабываемый подарок. На так называемые «подъёмные деньги» он отправляет жену с детьми на Чёрное море, в Новороссийск. Позже, в конце 30-х годов, уже будучи яхтенным капитаном, Ростислав напишет в «Спортивной автобиографии»: «В качестве юнги ходил на шхуне “Надежда”». В ней же он отмечает, что «С детства полюбил воду и водный спорт и уже к 14 годам собственноручно выстроил три лодки».

В школе второй ступени белорусских Горок Ростислав проучился в пятом и шестом классе. При академии, что естественно, была отличная ремонтная мастерская, в которой студенты механического факультета изучали и ремонтировали сельскохозяйственную технику. В ней часто пропадал Ростислав, об этом говорят его рисунки.

В сентябре 1930 года Евгения Кузьмича, любимого мужа и отца, ни в чём не повинного, арестовывают по злому навету. Тут же на семью обрушиваются тяжелейшие испытания. Во избежание больших неприятностей, грозящих ей и детям, Серафима Павловна тут же покидает ставшие ненавистными Горки. Нередки были случаи, когда арестовывали вместе с мужем и жену, а детей отправляли в детские дома. Для сохранения детей Серафима Павловна «разбрасывает» их по стране. Семнадцатилетний Анатолий едет к её родным в Соликамск, где устраивается на работу, Галина отправляется в Москву к подруге Серафимы Павловны. Сама с пятилетней Ритой и Ростиславом едет к сестре мужа в село Шурала в пяти километрах от Невьянска, но по пути понимает, что в глухом селе тринадцатилетнему Ростику хорошего образования не получить, и оставляет его у брата отца, в стремительно растущем промышленном Нижнем Тагиле.

Ростислав, хотя и среди родных, остаётся в Нижнем Тагиле один со своими нелёгкими думами в большой семье дяди, Александра Кузьмича, в частном деревянном доме № 46 на улице Большой Фокинской.

Достаточно взглядеться в лицо Ростислава на фотографиях нижнетагильского периода. Сколько невысказанной, затаённой боли и страдания в детском напряжённом взгляде, в твёрдо сжатых, но ещё

пухлых губах, а в глазах тоска. Когда студенты-однокурсники, а позже сотрудники ЦКБ (Центральное конструкторское бюро) отмечали замкнутость, молчаливость, а то и некоторую настороженность Ростислава Алексеева, в этом не было ничего удивительного. Ведь стать в двенадцать лет фактически сиротой при живых родителях не каждому «посчастливилось».

Ростислав Алексеев поступает в школу ФЗУ Высогорского завода и осваивает профессию чертёжника. Ему, хорошему рисовальщику, черчение было особенно по душе, видимо, она чувствовала эту насущную необходимость. Чтобы не быть обузой для семейного бюджета дяди, Ростислав подрабатывает слесарем на радиоузле Нижнего Тагила. И бесконечно прав А. де Сент-Экзюпери, сказав: «Надо многое пережить, чтобы стать человеком». Пережить же Ростиславу Алексееву пришлось очень много.

3

Коллективизация неэффективных единоличных крестьянских хозяйств между тем требовала большого количества квалифицированных специалистов. По ходатайству академика Д.Н. Прянишникова осенью 1932 года Евгения Алексеева возвращают из ссылки и направляют в только что открытую в Горьком Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. В ней очно обучались председатели первых колхозов и агрономы. Находилась она в здании бывшей удельной конторы на улице Лядова. Рядом с ней на втором этаже флигеля дома № 14 Алексееву-старшему выделяют двухкомнатную квартиру. К началу 1933 года к отцу приезжает Ростислав и для него город Горький становится не только трамплином, но и устойчивой точкой опоры для свершений мирового уровня и родным до конца жизни.

По совету и с помощью отца Ростислав в 1933 году, сдав нетрудные экзамены, поступает на вечерний двухгодичный рабфак при Горьковском механико-машиностроительном институте (ГММИ). Размещался рабфак и ГММИ в бывшем Мариинском институте благородных девиц на улице Университетской (ныне улица Минина). Через год ГММИ объединяют с Химико-технологическим институтом и нарекают Горьковским индустриальным институтом (ГИИ) им. А.А. Жданова. Студентом кораблестроительного факультета этого института с 1935 года становится Ростислав Алексеев, но не учение его прежде всего привлекало, а парусный спорт, весьма развитый в Горьком.

В апреле, с началом ледохода, Ростислав с крутого волжского Откоса впервые увидел «живую» воду Оки и Волги, сбросивших ледяной панцирь. Необозримая водная стихия, открывшаяся с высокого берега Волги, захватывала воображение. Куда ни глянь – всюду вода, вода до самого горизонта, плавающего в зыбкой, белесой дымке. И где-то вдалеке торчал шпиль собора Александра Невского, как морской маяк. Казалось, что соединившиеся и переполненные водой Волга и Ока – это вовсе не реки, а море. «Есть-есть где развернуться», – вероятно, подумалось тогда Ростиславу.

К активным действиям побуждали и многочисленные лозунги типа: «Дадим сухопутным дорогам автомобили, водным путям – глissеры!» и «Даёшь серийный выпуск советских глissеров». И другие, им подобные. Амбициозный Ростислав (в Горьком он твёрдо решил, что имя ему Слава и никаких Ростиков) решает построить быстроходную моторку,

похожую на глиссер. Годом спустя она готова, но найти мощный и лёгкий мотор Славе не удалось. Тогда он ставит на неё парус и начинает на этой «плоскодонке» тренироваться, приобретая опыт вождения парусников. Отец, видя его усилия, всячески помогает и поддерживает сына. Наконец, отец говорит: «Хватит на корытах плавать, надо построить хорошую яхту, с тем чтобы быть лучшим яхтсменом города». Отец для Ростислава, несомненно, был непререкаемым авторитетом.

После безапелляционного совета отца Ростислав решил сделать настоящую гоночную яхту. Он писал: «Я задумал построить яхту-швертбот, сильно перегруженную парусами, чтобы на ней обойти появившиеся в Горьком новые яхты». Им сконструирована и построена собственными руками первая яхта «Пират».

Ростислав характеризовал её так: «2-я яхта построена в 1936 г. “Пират” 1936 г. S=32 метра кв., Н мачты 11 метров, Гик = 2 метра, ширина – 1,75 м., высота борта 0,25, длина 5,5 метра, шверт фанерный, паруса жёсткие с латами из бамбука». Он очень хорошо отзывался о ней: «“Чёрный пират” получился ладной яхточкой, устойчиво лежал на курсе, поворот оверштаг выполнял отлично. В ряды горьковских яхтсменов я вошёл не как новичок, а полноправным яхтсменом. Он дал мне прекрасную школу по проектированию и выступлениям на спортивной арене».

На этом «Пирате» Ростислав в неофициальном зачёте занял первое место на Горьковских отборочных соревнованиях в 1937 году и был включён в сборную города для участия в 1-й Поволжской регате в Куйбышеве (Самаре). Но с поверхностью парусов в 32 квадратных метра «Пират» не подходил ни под один класс согласно классификации 1936 года. Выступать на нём в серьёзных соревнованиях было нельзя. У класса Р-30, понятное дело, площадь должна быть не более 30 м². Самолюбивый Ростислав болезненно переживал свой промах: не досмотрел классификационные правила, работал, работал, а выступать на своём многострадальном детище нельзя. Но это был серьёзный урок Ростиславу – надо быть более осмотрительным и не переступать красной черты. Ему стало понятно, что успех не приходит сам собой и сразу. Мало-помалу у него формировался собственный конструкторский принцип: «Изучить, проанализировать и внести своё».

Накануне регаты Горьковский областной комитет по делам физкультуры и спорта 31 августа 1937 г. наделяет рулевого первого разряда ДСО «Динамо» Ростислава Алексеева правом управления парусным судном. Парусная секция этого комитета для выступления в Куйбышеве (сентябрь 1937 г.) предоставила Ростиславу швертбот Р-20 (S парусов 20 м²), построенный на частной верфи братьев Рябовых. В конструкцию швертбота «Шквал» (так он его назвал) Ростислав внёс (сколько успел) изменения как в парусное вооружение, так и в такелаж сообразно своему опыту и новинкам, почерпнутым из технической литературы.

Новички (рулевой Ростислав Алексеев и матрос Всеволод Сибиряков) в Куйбышеве (Самаре) добились несомненного успеха (второе место в общем зачёте). Эта, можно считать, победа вселила в Ростислава уверенность в собственных силах и правильности выбранных модификаций, но отнюдь не вскружила голову. Он научился не только покорять воду, но и проходить через медные трубы.

Покорение водной стихии под парусами оказалось непростым делом. Сам по себе парусный спорт – это не прогулка с девушкой на вёсельной лодке в погожий день. Яхтам нужен ветер, а он бывает непредсказуем.

Возвращался как-то поздним вечером, да в ноябре, Ростислав со своим другом Леонидом Поповым с тренировки на «Пирате» домой (1937 г.). Опыта ещё было маловато, и от неожиданно налетевшего резкого штормового порыва яхта совершила оверкиль (опрокидывание через нос вверх килем). Яхтсмены оказались в ледяной воде. Беспросветная темень, холод, тугие мрачные волны над головами. Хорошо, что успели они уцепиться за шверт. Кричи не кричи, никто не услышит: ветер заталкивает слова назад в горло, да и река-то в это время года пуста и безлюдна. Это путешествие могло бы стать последним в их жизни, но, на счастье, рядом оказался на шлюпке бакенщик, зажигавший огни в бакенах. Он их спас.

Тем не менее ледяная купель не прошла для Ростислава бесследно. Воспаление лёгких и частичный паралич лицевого нерва, и он подумывал взять академический отпуск, но всё обошлось. Годом спустя Ростислав напишет маслом на холсте картину (1850×1300) «Шторм».

Этот печальный случай также нашёл отражение и в рисунке. На нём торчащая корма яхты с вцепившимся в борт Ростиславом и надпись: «“Пират” через нос, ночь, ноябрь 1937 г. Снег! Вьюга!»

В начале 1938 года Ростислав организовал парусную секцию при спортклубе Горьковского индустриального института (ГИИ) добровольного спортивного общества (ДСО) «Судостроитель». О себе Ростислав Алексеев писал: «С 1938 по 1940 год был тренером по парусному спорту. В институте выполнял общественную работу: к праздникам вёл художественное оформление, был членом правления спортклуба. В 1939–1940 годах был председателем Горьковской городской парусной секции...»

Отборочные соревнования ко 2-й Поволжской регате тоже не прошли гладко. Матрос Игорь Селиванов вспоминал: ««Мы уже подходили к финишу и шли впереди всех яхт. Шли с большим креном. Слава с усилием держал шкот паруса, а ногами упирался в противоположный борт. В этот момент разогнулась скоба на гике (ракса), и Слава, потеряв равновесие, свалился за борт, но не выпустил из рук шкота. Раздался дружный смех с яхт, идущих сзади, а мы с Виктором (Подольским. – М. Ч.), обернувшись, не увидели своего капитана. Через несколько секунд сзади из воды вынырнула фигура, и мы узнали в ней своего Славку! С трудом вытащили мы его на борт и продолжили гонку, но время было потеряно – мы пришли вторыми».

Вода, весной её ещё зовут «большой», в конце апреля в Волге – ледяная. Обычно к 15–17 апреля только-только сходит с рек ледовый панцирь. Очень хорошо, что Ростислав не выпустил шкот из рук, иначе сильным весенним течением его могло унести очень далеко. И не факт, что смогли бы быстро найти Ростислава и спасти. К счастью, «купание» в воде с температурой около нуля градусов было кратковременным и не усилило последствия ноябрьской «купели» 1937 года. Так что парусный спорт – это не только романтика плавания под парусами с ветром в корму и солнцем в зените, воспетая десятками авторов, но и тяжкий труд как по созданию яхты, так и по управлению ею. И такие «мелочи», как неоднократные купания в ледяной воде и с осложнениями, не могли отратить его от цели быть во всём первым.

В этом же году Ростислава ждал ещё больший успех, если не сказать триумф – победа на 2-й Поволжской регате, проходившей в Горьком 16–19 июля. Награду за победу ему вручал сам Валерий Чкалов, Герой Советского Союза и кумир всей советской молодёжи.

В 1936 году его отец, Евгений Кузьмич Алексеев, защитил в Горьком докторскую диссертацию. В 1937 году Высшую с/х школу закрывают по самой простой причине: председателей всех имеющихся в области колхозов обучили, и надобность в школе пропала (она возобновляла работу дважды, но после войны). Профессор Алексеев переходит на работу во Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования (ВСХИЗО). Опытная база и административный корпус находились в Подмоскowie (Балашиха). Двадцатилетний Ростислав Алексеев остаётся один, но у него есть верные друзья и, самое главное, сильный характер, закалённый в Нижнем Тагиле, и золотые руки, способные создавать яхты, хорошо рисовать и чертить.

И тем зарабатывать на пропитание и строительство яхт. Так, в 1938 году после разгрома японцев у озера Хасан в Приморском крае Ростислав по заказу расписал маслом сцену в одном дворцов культуры и заработал 400 рублей за три дня. Замечу, что на тот период средняя зарплата квалифицированного рабочего или служащего составляла 200–240 рублей в месяц.

И ещё раз надо подчеркнуть силу характера Ростислава. Его матрос Игорь Селиванов отмечал: «Металлические детали изготавливались в мастерских института или где-то самим Алексеевым, или благодаря его пробивной настойчивости и упорству». Позднее Владимир Моисеев, проработавший с Алексеевым 16 лет, отмечал: «Всю свою жизнь он, как и его отец, стремился к творчеству, стремился всегда и во всём быть первым. Массу людей, десятки крупных организаций вовлёк он в круговорот своих интересов и фантазий». Юрий Чернигин (20 лет совместной работы) отзывался так: «...его авантюрный характер не допускал отлагательств».

Заслуги Алексеева как гонщика и конструктора стали известны на Всесоюзном уровне. Его в 1939 году избирают председателем жюри Всесоюзного конкурса по проектированию речных швертботов классов Р-20, Р-30, Р-45. Одновременно он был участником и победителем этого конкурса, и по его чертежам начали строить швертботы для Москвы и Ленинграда. Ростислав ежегодно, начиная с 1938 года, побеждал на Поволжских регатах (в 1942 и 1943 годах они не проводились) по 1948 год. Занимал после войны призовые места на чемпионатах РСФСР и СССР до 1954 года, а в 1946 году 29-летнему Ростиславу Алексееву присвоили звание «Мастер спорта СССР».

Эти заметные достижения послужили исходным моментом для избрания Алексеева председателем Горьковской городской парусной секции, которым он был до 1940 года, до момента отъезда в Академию военно-морского флота. В разные годы на воду были спущены многие яхты конструкции Р. Алексеева в городе Горьком. Годы 1939–1940 – класс Р-20 («Стриж», «Мираж»), класс Р-30 – «Ребус», «Ветер», «Родина», класс Р-45 – «Фортуна». В 1941–1945 годах, класс Р-20 – «Дельфин», класс Р-30 – «Русалка», «Ласточка», класс Р-45 – «Сармат». Всего по чертежам Р. Алексеева построено с 1938 по 1953 год 18 швертботов класса Р-20 и Р-30.

Для повышения скорости построенных им яхт Ростислав использовал десятки усовершенствований: менял формы корпуса, парусного вооружения, способы окраски и даже полировки, чтобы уменьшить сопротивление воды. Эта проблема стала поистине *ide fixe* 23-летнего целеустремлённого и умного студента. Он, походивший под парусом сотни часов, видел, как при большой скорости яхты или глиссера нос

судна поднимается вверх, и оно буквально летит над поверхностью воды. И чем больше поднят корпус над водой, тем меньше сопротивление воды и тем больше скорость. Рассуждая от обратного, Ростиславу пришла мысль: «А что если сразу поставить лодку (яхту, корабль, катер) над водой? На что поставить?»

«Крылья Родины» – один из самых распространенных слоганов СССР. Ну конечно же, на крылья надо поставить катер. Крылья помогают самолёту парить в воздухе, должны помочь они лететь и кораблю. У пластины, расположенной под углом к набегающему потоку воды, возникают гидродинамические силы, подобные подъемной силе авиационного крыла, движущегося в воздухе. Эти силы позволяют поднять над водой корпус судна, существенно уменьшив тем самым сопротивление движению, а значит, даст возможность резко повысить скорость хода.

Уже в солидном возрасте Ростислав Алексеев освоил все технические виды спорта, которыми занимались молодые его подчинённые. Он не хотел от них отставать. Главный конструктор умел всё: мастерски спускаться с гор, управлять парусом на доске (виндсерфинг), гонять на водных лыжах, в том числе и на одной, летать на дельтаплане и на управляемых парашютах, нырять с аквалангом, управлять спортивными самолётами и, главное, своими мощными экранопланами.

Любовь к спорту стала одним из главных критериев отбора сотрудников для совместной работы. Первыми помощниками и сподвижниками при создании новой техники стали друзья-яхтсмены: Леонид Попов, Николай Зайцев, Константин Рябов. Такой подход к созданию коллектива единомышленников никогда не подводил Алексева. Этот факт вовсе не удивителен, ибо спортсмены не понаслышке знакомы с такими качествами, как порядочность, смелость, взаимовыручка, верность данному слову, выносливость и способность переносить физические нагрузки и всяческие неудобства. В спорте, как на фронте, эти качества ценятся прежде всего.

Дыхание приближающейся войны становилось всё осязаемее. В СССР для строительства военных кораблей не хватало инженерных кадров. В целях ускоренного решения этой проблемы Военно-морскую академию (ВМА) в Ленинграде стали пополнять уже готовыми инженерами – выпускниками гражданских кораблестроительных факультетов. Ростиславу в числе четырнадцати его товарищей по курсу предложили стать военными кораблестроителями. Он долго колебался: ведь с парусным спортом и с идеями создания судов на подводных крыльях, которые уже захватили сознание, приходилось расстаться. Однако коллективное начало в ту пору было многократно важнее и сильнее личного. Да и комсомол (в институте Ростислав вступил в ВЛКСМ) сказал, точнее, приказал, а комсомолец ответил – есть!

Военная муштра пришлась не по душе вольнолюбивому Ростиславу. Требования в ВМА к знаниям, особенно к точным наукам, были значительно выше, нежели в ГИИ. В зимнюю сессию он в числе семи горьковчан заваливает экзамен по высшей математике. Пересдача тоже окончилась неудачей. Смелый и решительный Ростислав, чтобы не попасть на флот мичманом, пишет рапорт на имя заместителя главкома ВМФ Л.М. Галлера с просьбой вернуться в Горький и защитить дипломный проект на тему создания торпедного катера на подводных крыльях. Приказом Народного комиссариата ВМФ от 24 марта 1941 г. за № 0422 он отчислен из академии «по неуспеваемости», но ему разрешено вернуться в альма-матер. В ГИИ Ростислав сдал несколько

пропущенных экзаменов и приступил к разработке дипломного проекта «Глиссер на подводных крыльях», который с блеском защитил 1 октября 1941 года. 20 октября Ростислав Алексеев приступил к работе в цехе № 5 завода «Красное Сормово» в должности мастера отдела технического контроля (ОТК) по приёмке танков Т-34.

4

В 1971 году в интервью журналу «Октябрь» Ростислав Алексеев рассказывал:

Время было тяжёлое. Нередкими были налёты на Горький фашистских бомбовозов. Питались в основном «Шукрутом», что переводилось так: «широкое употребление капусты работниками умственного труда».

В один из дней (а это было в начале 1942 года) меня, мастера ОТК по качеству танков, вызывают к главному конструктору завода В.В. Крылову.

– Слышал, – говорит главный конструктор, – у вас перед войной был оригинальный проект судна на подводных крыльях. Расскажите о нём поподробнее.

Изумился я и подумал: да время ли о дипломном проекте вспоминать? Не шутит ли Главный, расспрашивая меня о никому ещё неизвестных перспективах судов на подводных крыльях? Нет, главный конструктор завода не шутил, когда и партком повёл речь о том, что дирекция завода и партком считают необходимым, чтобы инженер Алексеев взялся за разработку проекта нового судна. В словах главного конструктора завода была в тот час великая уверенность в победе, он видел перспективу, он как бы от имени всего коллектива заявил мне: мы доверяем тебе, работай для будущего, а мы возьмём твою сегодняшнюю ношу на свои плечи! Нужно ли говорить о том, как я был окрылён этим доверием? <...>

Главный конструктор завода Крылов В.В. и директор завода Е.Э. Рубинчик приняли решение разрешить мне три часа в день (в свободное от основной работы в ОТК время) работать над созданием корабля на подводных крыльях. С этого трудного времени началась моя борьба за создание крылатого флота будущего.

Прежде всего Алексеев нашёл себе верного помощника. Комиссованного с фронта своего бывшего матроса Леонида Попова он позвал к себе на работу и уговорил начальство, чтобы Попова приняли на завод. За основу создания первого отечественного действующего катера на подводных они взяли дипломный проект Ростислава. Сделали модель, прогнали десятки раз в опытовом бассейне завода, показали результаты главному конструктору. Модельный этап в процессе общего конструирования и проектирования имеет весьма важное значение. Кроме натурных испытаний для проверки гидродинамических характеристик модель прежде всего нужна для демонстрации начальству сделанного. Начальство мало разбираясь в тонкостях (им, кстати, это и не нужно, главное – схватить главное), очень любит поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать)». А далее по визуальному впечатлению приказывать.

Доложили директору завода «Красное Сормово» Рубинчику, и тот дал указание главному инженеру Кузьмину подготовить приказ о строительстве самоходной модели А-4. Приказ вышел 17 февраля 1943 года. В нём расписывались все необходимые аспекты для воплощения: количество рабочих, обеспечение инструментом и материалами, привлечение конструкторского отдела в случае необходимости. Авторский надзор за строительством возложили на Алексеева, для чего начальник

ОТК Юферева должна освобождать ежедневно Ростислава на два часа от основной работы. И уже через два месяца главный конструктор В.В. Крылов, которому Ростислав полюбился и как человек, и как конструктор, добивается у директора перевода Ростислава Алексеева на постоянную работу в конструкторский отдел в качестве рядового инженера. Так началось восхождение Ростислава Алексеева от рядового инженера до главного конструктора ЦКБ по СПК (Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях).

Опираясь на личный опыт строительства швертботов, Ростислав стремился к созданию своего обособленного участка со своими помощниками, лично ему знакомыми. Так, вскоре в его группе, помимо слесаря Александра Некоркина и Леонида Попова, появились приглашённые им после окончания Индустриального института Николай Зайцев и Иван Ерлыкин, а затем и яхтсмен Константин Рябов. И работа закипела.

Осенью 1943 года катер А-4 был испытан. Директор Рубинчик и главный инженер были весьма и весьма довольны. Это прежде всего выразилось в совершенно секретном письме от 12.09.43 г. на имя руководителей трёх наркоматов: танкового (Малышев В.А.), военно-морского (адмирал Н.Г. Кузнецов) и судостроительного (Носенко И.И.). В заголовке отмечалось «По вопросу: нового типа корабля на подводных крыльях» и далее: «Заводом № 112 летом 1943 года был построен и испытан 2-местный катер водоизмещением около тонны, представляющий собой (масштабную) модель корабля по совершенно новой гидродинамической схеме – движения на подводных крыльях.

Наркомы предложили (говоря упрощенным языком) сделать торпедный катер на подводных крыльях. Вообще-то производство торпедных катеров тема для завода «Красное Сормово» не новая (перед войной делали). Но с крыльями? В результате многочисленных согласований и утверждений, зачастую просто волокитных со стороны московских чинов, модельные испытания С-1 в начале 1945 года прекратили и тему закрыли. Так что движение в новом, неизведанном деле не всегда идёт по восходящей, а с остановками и топтанием на одном месте.

В основу катеров А-4 и С-1 был заложен принцип глубокопогружённых крыльев, как в зарубежных аналогах. Алексеев же решает использовать малопогружённые крылья и готовит новую модель катера, теперь А-5. Летом 1945 года Ростислав Алексеев завершил испытания нескольких моделей катера А-5 и выполнил рабочие чертежи наилучшего варианта, чтобы развернуть серийную постройку.

Судьба по большому счёту, перефразируя А.С. Пушкина, Славу хранила. Но и ей хочется порой взбрыкнуть и показать свой характер. Случилось непредвиденное. В конце лета 1945 года руководство завода готовилось к совещанию у Сталина, призванному утвердить послевоенную судостроительную программу. В её состав входило и строительство судов на подводных крыльях. При наличии танковых заводов на Урале не имело смысла производить их на испокон веку судостроительном заводе, каковым являлся «Красное Сормово». Директор Е.Э. Рубинчик корабелом не был и представлять идеи завода поручил главному инженеру Григорию Ивановичу Кузьмину и главному конструктору Владимиру Владимировичу Крылову. Они решают лететь на совещание на самолёте Ли-2 и погибают вместе с большинством участников в авиакатастрофе в районе города Вязники. Единомышленников среди руководства завода у Ростислава не стало.

Катер спущен на воду, но ВМФ он не нужен, да и руководство завода согласилось с военными моряками и решило сделать из А-5 гражданский разбейный катер для начальства. Приятно же мчаться по воде со скоростью, близкой к 100 км/час.

Но на то он и Алексеев («Адмирал», так звали его яхтсмены), чтобы не опускать руки и бросить вызов обстоятельствам. Характер победителя в спорте он переносит на пользу общего дела. Чтобы привлечь высшее начальство на испытания А-5, он на нём с Поповым мчится в Москву и катает с ветерком кого-то из высоких морских чинов. Начальник даёт высочайшее согласие участвовать в комиссии. С 16 по 26 сентября 1946 года катер А-5 был всесторонне испытан на Волге в Горьком с составлением хорошего акта и важными для Алексеева выводами. Главный из них таков: «Созданный новой, оригинальной конструкции катер А-5 является первым в СССР судном на подводных крыльях, давшим положительные результаты и могущим найти практическое применение в боевом и в гражданском транспортном флоте».

Однако вместо задания на разработку новой конструкции торпедного катера Алексею поручили приспособить подводные крылья к уже готовому торпедному катеру проекта 123бис, серийно производимому судостроительным заводом в Тюмени.

Ему в декабре 1948 года исполнилось лишь всего 32 года. Он пишет: «Заводские и государственные испытания А-7 полностью доказали преимущества малопогруженных подводных крыльев перед всеми известными схемами». Имеются в виду зарубежные схемы подводных крыльев. После государственных испытаний на Чёрном море руководство завода «Красное Сормово» вышло с инициативой о выдвижении на Сталинскую премию коллектива конструкторов, создавших технологию модернизации с помощью подводных крыльев серийных торпедных катеров. Будем откровенны: первая попытка выдвижения оказалась неудачной. Прошение затерялось в длинных бюрократических коридорах, в том числе и Министерства транспортного машиностроения (МТМ).

Следующее задание военных моряков было таково: поставить на крылья два торпедных катера Феодосийского завода с новым дизельным мотором М-50. Катера Феодосийского завода с заводскими номерами № 417 и № 418 (заводские номера А-10 и А-11) были доставлены по железной дороге на завод «Красное Сормово» в октябре 1949 года, и тут же закипела работа. Алексеев почти не появлялся дома. Жене он сказал примерно следующее (по воспоминаниям родных): «На меня сейчас не рассчитывай! Работа, работа, работа!» Как бы ни был Алексеев доволен заказом от ВМФ, но считал, что приделывать крылья к существующему днищу торпедного катера – это некоторого рода нонсенс, потому что днище и крылья должны составлять единое целое и проектироваться и изготавливаться на одном заводе.

Алексееву удалось довести свою мысль до Министерства транспортного машиностроения, которое подготовило и подписало постановление правительства СССР от апреля 1951 года об организации научно-исследовательской гидродинамической лаборатории (НИГЛ) завода «Красное Сормово». Начальником НИГЛ назначен Ростислав Алексеев, которому вменялось проведение исследований, проектирование, постройка и отработка опытных боевых торпедных катеров на подводных крыльях. В октябре 1951 года он вместе с группой своих верных соратников удостоен Сталинской (Государственной)

премии. В денежной форме Ростиславу Алексееву причиталось 22222 рубля.

В марте 1953 года умирает И.В. Сталин и началась новая эпоха в организации и управления военной промышленности. К концу весны этого года завод «Красное Сормово» переводят из Министерства транспортного машиностроения, поддерживающего Р.Е. Алексеева, в Министерство судостроительной промышленности, ревностно, мягко говоря, относившееся к успехам начальника НИГЛ.

Добившись разработки полного цикла создания опытных торпедных катеров на подводных крыльях, Алексеев вольно или невольно наступил на хвост Ленинградскому ЦКБ-19, занимавшемуся катерными разработками. Тема А-1-20 по самостоятельному созданию на заводе «Красное Сормово» торпедного катера на подводных крыльях стала тормозиться, а финансирование с начала 1954 года не выделялось. Раздосадованный Алексеев пишет 10 сентября 1954 года докладную личную записку в ЦК КПСС. Эта жалоба привела к ещё большему осложнению в работе. Как водится, записку передают в Совмин, заместитель председателя которого В.А. Малышев передаёт её в Минсудпром. В недрах его готовится совсем уж разрушительный для НИГЛ и лично для Алексеева распоряжение о присоединении НИГЛ в качестве филиала к Ленинградскому ЦКБ-19, выводя филиал из подчинения заводу «Красное Сормово». Жалоба обошлась Алексееву и его товарищам боком.

С этим переводом закончился первый взлёт Ростислава Алексеева и его коллектива и началась тёмная полоса. Три первых месяца 1955 года конструкторам не выплачивалась зарплата – редчайший случай для советского периода. Многие сотрудники уволились, и конструкторов осталось 30 человек, рабочих (им зарплату платили) – 67. К счастью, этот период был недлительен. Как бы плохо ни было продумано расформирование союзных министерств с образованием совнархозов, но Алексееву оно помогло. Через три года распоряжением Горьковского совнархоза Филиал ЦКБ-19 переименован в ЦКБ по судам на подводных крыльях при заводе «Красное Сормово». Возвращению под родную «крышу» коллектив обязан Алексееву и его новому триумфу, связанному с разработкой и строительством первого в СССР пассажирского судна на подводных крыльях «Ракета» в 1957 году.

5

Стараясь избежать навязанной «опеки» Ленинградского ЦКБ-19, занимавшегося торпедными катерами, и перейти на гражданскую тему применения подводных крыльев, Алексеев с 1955 года неоднократно подавал в 5-й главк Минсудпрома предложения по проектированию и постройке 60-местного пассажирского теплохода на подводных крыльях. Однако предложения отклонялись и в план НИОКР не включались по причине секретности, ибо подводные крылья устанавливались только на торпедных катерах. При этом надо признать, что пассажирские суда на подводных крыльях Ганса фон Шертеля уже бороздили по озёрам Швейцарии.

Тогда Ростислав Алексеев решается идти по ранее проторенному пути: показать свою последнюю наработку (буксировочный катер Б-1) первым лицам государства. История умалчивает, как ему это удалось, но факт остаётся фактом: он прокатил с ветерком первого зама предсовмина СССР Лазаря Кагановича и министра внешней торговли Анастаса

Микояна, который в начале 20-х годов руководил Нижегородской областью. Эта прогулка сыграла решающую роль в снятии грифа секретности с разработок по гражданским судам на подводных крыльях. Алексееву же за подобный волонтаристский шаг министр судостроительной промышленности Иван Носенко объявил строгий выговор. Чтобы ускорить движение к цели, Алексеев идёт на ещё один нестандартный ход. Он уговаривает директора «Красного Сормова» Н.Н. Смелякова собрать партком завода по вопросу создания пассажирского теплохода на подводных крыльях. Партком 31 октября 1955 года рекомендует руководству завода построить первое гражданское судно на подводных крыльях. Своё решение партком направляет в ЦК КПСС, отмахнуться от него было уже невозможно. На последующем совещании в Совете Министров 5-му главку Минсудпрома было дано указание включать в планы горьковского филиала ЦКБ-19 разработку проекта будущей «Ракеты». Предприимчивости Алексеева можно только удивляться – кроме всего прочего, он взял на себя обязательство продемонстрировать «Ракету» на 6-м Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.

Как бы ни было избито это выражение, но 56–67-е годы – это звёздный час Ростислава Евгеньевича Алексева, конструктора и удачливого человека. Ведь, как ни говори, но многие таланты засыхают, так сказать, на корню, если им изменяет фортуна и нет влиятельных сторонников и покровителей.

Надо ли говорить, как трудна и ответственна была эта работа со взятыми смелыми обязательствами. Алексеев сам как прирождённый и опытный художник и чертёжник разрабатывает дизайн «Ракеты», приняв за основу самолётный тип. Создание быстроходного пассажирского речного лайнера было невозможно без наличия соответствующего двигателя. И в этом Алексееву повезло: к 1956 году дизельный двигатель М-50, который испытывался на торпедных катерах в 1949–1951 гг., был наконец-то доведён до ума. Всю зиму был аврал, ближе к весне корпус, двигатель, движитель были установлены, но внутренняя отделка ещё не завершена. 8 мая первый теплоход на подводных крыльях «Ракета» был спущен на воду и начались его испытания, а 26 июля теплоход с передовиками производства вышел из сормовского затона в Москву и за 14 часов прибыл в речной порт Химки.

Три недели «Ракета» радовала и удивляла своим присутствием гостей и хозяев фестиваля. На ней побывали десятки делегаций из разных стран, а также секретари ЦК КПСС М. Суслов и А. Аристов, которые записали в Книге почётных гостей: «Замечательный теплоход! “Ракета” будет особенно полезна на больших реках, таких как Волга, Енисей, Амур, Лена, где такой теплоход будет конкурировать с авиацией. Желаем конструктору товарищу Алексееву успехов в этом деле». Серийно «Ракета» изготавливалась на Феодосийском судостроительном заводе. Общее число составило 400, из них 32 – на экспорт.

На гребне этого успеха удалось избавиться от приставки «филиал». Решением Совета народного хозяйства Горьковского экономического района от 24 декабря 1957 года филиал ЦКБ-19 передан вместе с опытной и производственной базой в состав завода «Красное Сормово». Теперь Ростислав Алексеев стал главным конструктором Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) завода «Красное Сормово». Отныне его стали звать «Главным». Численность персонала увеличили на 150 человек, в том числе 50 конструкторов.

«Ракета» стала первой в серии теплоходов на подводных крыльях, каждый из последующих всё более и более совершенствовался как по техническим и эксплуатационным составляющим, так и по вопросам безопасности и комфортности для пассажиров. В 1959 году построен «Метеор» и далее «Комета», «Спутник», «Вихрь», «Чайка», «Беларусь», «Буревестник». Скорость движения неуклонно повышалась от 60 км/час у «Ракеты» до 97 км/час у «Чайки». Легко перечислить созданные конструкторским гением Р.Е. Алексеева суда на подводных крыльях, но за каждым поименованным стояли свои конструкторы, возникали трудности, мужественно преодоленные.

Звезда Алексеева стояла в зените. Газеты СССР от «Красного соромича» до центрального органа КПСС «Правды» захлёбывались в восторге от его крылатых судов. В 1958 году Ростислав Алексеев в составе большой делегации был на Всемирной выставке в Брюсселе, на которой демонстрировались его «Ракета» и прогулочный катер на подводных крыльях «Волга». Каждое судно получило по Большой золотой медали международного жюри. Как опытный рисовальщик и человек с высокоразвитым художественным вкусом Алексеев легко и качественно овладел искусством фотографирования ещё с 1938 года. Он оставил после себя сотни замечательных снимков как технического характера, так и бытового.

Летом 1960 года министр речного флота РСФСР Зосима Шашков (верный сторонник Алексеева) организовал в Химках выставку достижений речного судостроения, приурочив её к пленуму ЦК КПСС. Для участников пленума З. Шашков предусмотрел осмотр судов и прежде всего «Метеора» и «Ракеты». Тогдашний главный партиец и премьер-министр союзного правительства Никита Хрущёв остался очень доволен прогулкой на «Метеоре» и конструктором Алексеевым. Тогда-то и состоялась их личная беседа. На ней поднимался вопрос создания экранопланов (ЭП), поэтому в постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от сентября 1960 года был включён секретный пункт № 12 о проектировании и создании двух кораблей специального назначения (экранопланов). Во время беседы подобревший Хрущёв, как сказочная щука, благосклонно обязался выполнить любое желание Алексеева. Ростислав кроме конструкторских талантов обладал и политическим чутьём. Он лишь скромно попросил у Хрущёва разрешения два раза в год звонить напрямую ему, первому лицу в государстве. Хрущёв, смеясь, сообщил номер своего прямого телефона. Кроме всего, ЦКБ по СПК было отнесено к первой категории проектно-конструкторских организаций, благодаря чему зарплата сотрудников повысилась в среднем на 30%. В июле этого же года началось строительство испытательной базы (ИС-2) на Горьковском водохранилище недалеко от районного центра Горьковской области Чкаловска. Первая ИС-1 действовала на берегу теплового (охладительного) озера Балахнинской ГРЭС.

Итак, с конца 1960 года началась в атмосфере полной секретности эра экранопланов (ЭП) – термин придуман Алексеевым и прижился во всем мире. Ю.П. Чернигин, один из первой группы создателей ЭП, вспоминал, что Главный неожиданно приказал назавтра явиться с личными вещами и чертёжными принадлежностями. Всех привезли на ИС-1 в Балахне и проводили в одну из комнат модельно-инженерного корпуса. Далее дословно: «Мы увидели 2-ярусные койки, занавешенные плотной тканью окна, ящики, полочки, тумбочки – словом, всё необходимое для быта. И тут стало ясно, что работа предстоит дол-

гая и не самая лёгкая... Нас закрыли на большой замок и изолировали от внешнего мира. В подобных условиях в годы ГУЛАГа работали так называемые “шарашки” – коллективы репрессированных учёных и конструкторов. Задание Алексеев дал нам непростое: разработать эскизный проект первого экраноплана. Срок – один месяц». Первая самоходная модель (СМ-1) 21 июля 1961 года, за рулём которой был Алексеев, вышла на экранный полёт. Этот день – день рождения отечественных ЭП.

Главной чертой уникального характера Ростислава Алексеева, безусловно, была смелость, бесстрашие. О ледяных купаниях яхтсмена Алексеева уже упоминалось. Надо бы поосторожнее, но нет. Первые два военных года работы на «Красном Сормово» Ростислав ездил из нагорной части Горького на велосипеде, к которому он приделал лодочный мотор. Однажды, задумавшись, Ростислав наехал на скорости на тротуарный бордюр Окского (Канавинского) моста. Машинально он выжал ручку скорости, от перегрева радиатор не выдержал и разорвался, ошпарив лицо Ростиславу. Эту аварию он изобразил в карандашном рисунке. Надпись под ним гласит: «20 метров по воздуху, 3 дня слепоты – плата за новую конструкцию мотовелосипеда с лодочным мотором, правда после 2-летней эксплуатации. 1943 год. Взорвался водяной радиатор».

На трамваях до завода добраться трудно (15 км), и Ростислав записывается в мотосекцию. В пользование и для тренировок (связи со спортивным руководством города сохранились крепкие) он получает мотоцикл «Харлей Дэвидсон», поставляемый СССР по ленд-лизу. И в 1944 году новая авария. На скорости 140 км/час Ростислав не справился с управлением (вовремя не сбросил газ) и, чтобы не врезаться в грузовик, который «догнал», вынужден был свернуть на обочину и промчаться через трамвайные пути и колдобины. Надпись на рисунке такова: «Мы живы! Скорость 140. Помешала машина. Полёт через канавы и колеи /против 92 завода, война 44 г./ Харлей устоял. Не сброшен газ!»

Обычный человек после таких невзгод зарёкся бы повторять подобное, но не таков Ростислав. Душа у него была крылатая. Вот и в первом полёте на СМ-1 он должен быть впереди всех – за штурвалом неизвестного судна.

6

Патронаж Хрущёва давал реальную отдачу. Летом 1962 года (23 июня) ЦКБ по СПК переехало в новое, специально для него построенное здание прямо на берегу Волги. В устье реки Троча, впадающей в Горьковское водохранилище, к 1967 году построена ИС-2 – уникальный научно-исследовательский центр и полигон для испытаний ЭП с опытовым бассейном, аэродинамической трубой, позволяющей имитировать экранный эффект. В апреле 1962 года Ростиславу Алексееву присвоена учёная степень доктора технических наук (без защиты диссертации, протокол № 13 МНТ № 000400 от 27.04.62). Так появилось новое имя «Доктор» к первым двум «Адмирал» и «Главный». Буквально через месяц он в группе своих верных соратников удостоен Ленинской премии за создание судов на подводных крыльях. Смешно сказать, но сумма вознаграждения на руки составляла 2500 рублей – автомобиль «Волгу» не купишь. Но по просьбе заместителя министра оборонной

промышленности Д.Ф. Устинова Горьковский автозавод подарил ему «Чайку» под предлогом испытаний экранопланов.

Они для Алексеева стали главной целью конструкторской мысли. Друг за другом появлялись самоходные модели СМ-1 (1961), СМ-2 (1962), СМ-3 (1962), СМ-4 (1963), СМ-5 (1963), СМ-2П7 (1964), СМ-8 (1967), УТ-1 (1967). В ноябре 1961 года ИС-2 посетила высокопоставленная делегация в составе Д.Ф. Устинова и С.Г. Горшкова, главнокомандующего морским флотом СССР. Их прокатили на СМ-1, и гости остались весьма довольны новой разработкой Ростислава Алексеева. В мае 1962 года в целях поддержки главного конструктора Устинов организовал показ в Подмоскowie СМ-2 Хрущёву. Экраноплан не был готов полностью – не успели установить второй двигатель, но тем не менее Алексеев решился его продемонстрировать в деле. И не прогадал. Недаром говорят, кто не рискует, тот не знает побед («не пьёт шампанского»). Болеслав Зобнин позже вспоминал такой диалог, услышанный на испытаниях. Один из генералов сказал Хрущёву:

– Никита Сергеевич, а модель полностью на экран не выходит!

– Раз Алексеев взялся за это дело, значит, выйдет!

Комментарии тут излишни.

Все эта «линейка» (термин Алексеева) самоходных моделей (СМ) рассматривались им как промежуточная для отработки эксплуатационных возможностей будущих крупных экранопланов, в частности корабля-макета (КМ) массой более 500 тонн. Именно такие гиганты, считал Алексеев, целесообразны с многих точек зрения. В этом его поддерживали заказчики – командование ВМФ и лично Д.Ф. Устинов, бывший тогда секретарём ЦК КПСС, курировавшим военно-промышленный комплекс. Они видели в таких экранопланах «убийц» авианосцев, которыми были сильны США. Было выпущено постановление ЦК КПСС и Совмина, выделены средства, и 25 апреля 1963 года в опытном производстве ЦКБ по СПК (позже завод «Волга») заложили гигантский экраноплан КМ (корабль-макет).

Американцы называли его «Каспийским монстром», они узнали о нём не только из снимков со спутника, как принято считать. Ещё в 1956 году разведка США неким образом прознала о новаторских разработках Алексеева и попытались разузнать, что к чему. В апреле 1956 года охрана завода «Красное Сормово» задержала военно-морского атташе Канады Филиппа, пытавшегося проникнуть в затон, где находились субмарины и крылатые корабли. Были и другие инциденты, что вынудило правительство СССР принять в августе 1959 года постановление о закрытие города для иностранцев, но и эти меры не помогали. В июне 1966 года КМ был спущен на воду сормовского затона, и в тот же день, по рассказам очевидцев, «Голос Америки» сообщил, что в Сормове спущен корабль с новым принципом движения.

Для транспортировки его на море у КМ демонтировали крылья и кормовой стабилизатор и в таком виде перебазировали в плавучий док города Каспийск (завод «Дагдизель»), где создали испытательную станцию ИС-3. Затем была создана четвёртая база ИС-4 на острове Чечень в Каспийском море. Там же и приступили к окончательному монтажу и испытаниям. КМ – один из самых крупных и тяжёлых летательных аппаратов в мире, а для экранопланов его вес (550 т) никем не превзойдён до сих пор. Длина корпуса – 92,4 м, размах крыльев – 37,8, максимальная высота – 22 м.

Темп работы был изматывающий: строительство КМ, испытания СМ-2П7 и СМ-5, проектирование новых ЭП и постепенно у подчинён-

ных Алексеева, который проявлял настойчивость и бескомпромиссность, стало назревать недовольство. Ему такой темп был привычен ещё со студенческих лет, но пришло новое поколение, воспитанное в условиях отмены диктатуры пролетариата и распространения идей потребления и прав человека. Появились недоброжелатели. Ростислав Алексеев, разрываясь между ИС-1, ИС-2, ИС-3, испытаниями и контролем строительства новых ЭП, не замечал, что внутри коллектива назревал конфликт. Или делал вид, что не видит, что это не главное и всё разрешится само собой.

Такие крупные дела никогда не обходятся без накладок и аварий. Первой стало крушение экраноплана СМ-1-бис (бис – значит второй) 3 февраля 1963 года. В.И. Шадрин, будучи пилотом, вспоминал, что машина оторвалась от экрана, взмыла на 50 метров вверх, а потом рухнула на воду, вся развалившись. Он и пассажиры остались целы. Потом на ИС-2 в ангаре, где стоял СМ-2, случился пожар, нанесший СМ значительный урон. СМ-5, представлявший собой в восемь раз уменьшенную копию КМ, поначалу управлялся Алексеевым, а потом профессиональным лётчиком В. Печеновым. Но в тот роковой день, 24 августа 1964 года, их за штурвалом СМ-5 не было, и он разбился. Погибли два пилота. Решением Волго-Вятского совета народного хозяйства (ВВСНХ) были запрещены не только полёты, но и вообще работы по экранопланам. В апреле 1965 года Алексеев образовал ЛИО (лётно-испытательный отряд), понимая, что ЭП – это не судно, а скорее самолёт.

Самое же главное случилось в октябре 1964 года, когда Никиту Хрущёва сняли со всех постов и Алексеев потерял в его лице своего могущественного покровителя. В 1965 году совнархозы были упразднены, и восстановлены министерства. Завод «Красное Сормово», а значит, и ЦКБ по СПК вошли в состав Минсудпрома, который возглавил явный недоброжелатель Алексеева и противник экранопланов Б.Е. Бутома.

Известен случай, когда на одном из совещаний по поводу одного из ЭП, Бутома задал Алексееву вопрос:

– Вы хотите сказать, что эта штука летает выше телеграфного столба?

– Да, Борис Евстафьевич!

– Тем, что летает выше телеграфного столба, судпром не занимается, – с металлом в голосе возразил министр.

В день 50-летнего юбилея Ростислава Алексеева в горьковском Доме учёных состоялось его чествование. Люди собрались со всего Союза. Все ждали представления юбиляра к высокой государственной награде, но... От Минсудпрома был лишь представитель 2-го главка, который казённым языком зачитал казённый текст Почётной грамоты. И всё!

Ясно стало, что над головой Алексеева сгустились тучи. Ко всему прочему 3 декабря 1967 года умер его верный друг и заместитель Николай Зайцев. Алексеев выбрал сомнительный вариант: он обратился в Минсудпром с просьбой найти ему главного инженера. Просить врага о помощи? А ведь под рукой у него были другие надёжные конструкторы-друзья: Ерлыкин, Зобнин, Шапкин – яхтсмены и классные инженеры, да и А.И. Маскалик, работавший с Алексеевым с 1954 года, созрел до должности главного инженера. В министерстве поняли ситуацию правильно если они понизят Алексеева, то «бунта на корабле» не будет. Минсудпром увеличил оклад Алексееву на 120 рублей, но снял его с должности начальника – главного конструктора ЦКБ по СПК. Мало этого, он разделил его на три группы: КБ «А», назначив его руководителем И.И. Ерлыкина, КБ «Б» – начальник Р.Е. Алексеев и самостоятельный

завод «Волга». Иван Ерлыкин стал заниматься речными и морскими судами на подводных крыльях, а Алексееву отдали экранопланы. А над ними всеми назначили «варяга» В.В. Иконникова из Горьковского ЦКБ-51.

Дальше – больше, в 1972 году последовало новое понижение. Запись в трудовой книжке гласит: «Назначен главным конструктором проекта СМ-6 – Главным конструктором 2-й степени (приказ МСП СССР № 32 от 30/3-72)». Фортуна отвернулась от Ростислава Алексеева. Летом 1975 года при испытаниях десантного экраноплана «Орлёнок» с членами межведомственной комиссии на борту отказали кормовые двигатели, и в результате разбалансировки хвост оторвался. И только благодаря самообладанию и знаниям Алексеев лично довёл «Орлёнок» до берега. Последствия этого крушения (хотя «Доктор» спас 50 человек) были ещё более разрушительны для его карьеры. Второго октября 1975 года Алексеев «переведён главным конструктором 2-й степени – главным конструктором темы – начальником отдела» (запись в трудовой книжке), то есть ему доверили лишь быть главным конструктором темы – восстановления «Орлёнка». Алексеев значительно переработал проект и применил гидролыжи.

Третьего ноября 1979 года первый боевой экраноплан был принят в состав ВМФ СССР. Экраноплан «Орленок» двигался на высоте до 2 метров над поверхностью воды. Для уменьшения разбега на нём под крыло поддували газовые струи носовых двигателей, которые отключались в полете, и машина двигалась на кормовом маршевом двигателе. При необходимости аппарат имел возможность уходить с экрана и лететь подобно самолету на высоте до 6000 м. Обладая взлетной массой 140 тонн, экраноплан «Орленок» с батальоном десанта и двумя БТР на борту развивал скорость 420 км/час и за один час пересекал Каспийское море.

7

Первое поколение создавалось по «самолётной схеме» – все СМ-1–8, КМ, «Орлёнок», «Лунь». Алексеев нашёл новую нишу, теперь его модели, которые он резал и клеил, отвечали принципу «летающее крыло». Владимир Моисеев вспоминал: «...произошёл прорыв фантазии в новые конкретные формы. Р. Е. стал резать модели типа “летающее крыло”. Моделек, проектов было много. Шёл широкий поиск. Это было какое-то буйство фантастических летающих форм! Теперь, когда его отлучили от текущих проектов, можно было позволить себе больше фантазии. Может быть, над землёй дули такие ветры. Именно в это время где-то рождались “Стелс”, “Вояджер” и самолёт с обратной стреловидностью крыла. <...> Алексеев ходил по ЦКБ, приоткрывал коробку и давал заглянуть туда людям. Сам он смотрел им в глаза, пытался определить, будут они с ним работать или нет. Если при этом он ещё счастливо улыбался (в такие-то чёрные дни), то многие были почти уверены, что он свихнулся, и старались улизнуть под любым предлогом. ...Меня от таких сцен просто прошибали слёзы».

Молодые конструкторы поддержали его. Отдел Алексеева расширился до 150 человек. Он постоянно жил на ИС-2, и вместе с ним почти все его сотрудники.

Моисеев как участник этого возрождения далее вспоминал: «Его кабинет превратился в мастерскую и полигон. Здесь рождалось новое ЦКБ... На длинном рабочем столе действовала миниатюрная катапульта. Модельки выстреливала тоненькая авиамодельная резинка. Толпились люди, которые просто не могли отсюда уйти.

Начальство или закрывало на происходящую вакханалию глаза, или тайно помогало. Скорей всего, оно было просто загипнотизировано этим возрождением из пепла. Похоже элементарная совесть тихо шепнула каждому – по газону не ходить!»

Постепенно его модельки превратились во вполне осязаемую самоходную полутонную модель СМ-9. При её транспортировке по льду устья Троицы 11 января 1980 года Ростиславу Алексееву пришлось принять на себя чрезмерную нагрузку. Спайка (её позже обнаружили во время операции) на одной из кишок разошлась, и содержимое попало в полость живота. Начался перитонит (воспаление брюшины), вовремя не обнаруженный. Запущенный гнойный перитонит и сейчас-то лечится с трудом, а 40 лет назад тем более. Спасти великого конструктора самые известные хирурги Горького не смогли.

После операции, не приходя в сознание, 9 февраля 1980 года Ростислав Евгеньевич Алексеев скончался.

Его сподвижник и товарищ по работе в ЦКБ по СПК Ю.А. Балинов сочинил стихи на его смерть. Вот отрывок:

Незауряден в частностях и в целом,
Он вечно был идеями томим.
Незаменимого помянем делом
И завершим намеченное им.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КУПОЛА, СМОТЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 3, 2021

ВВЕРХ ПО ПОКРОВКЕ

Если отправиться пешком по Большой Покровской к площади Горького, можно увидеть возрожденные православные святыни, вспомнить утраченные. Расскажем о некоторых из них.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Этого храма, в честь которого носит имя главная улица нашего города, мы не увидим. Он открыл двери для молящихся четыреста лет назад, даже больше. Впервые в документах (в писцовых книгах) эта церковь, еще как деревянная с приделом во имя святителя Николая Чудотворца, упоминается в 1621 году.

В 1709 году по благословению местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана Яворского (Нижегородской епархией тогда управлял митрополит Сильвестр (Волинский)), построена была вместо деревянной каменная церковь и рядом с ней каменная колокольня. В дальнейшем трапезное помещение церкви было расширено пристройками с севера и юга, и в них устроены были два придела – во имя святого великомученика Никиты и священномученика Харлампия.

Над главным храмом вместо прежней небольшой главы ввозвели колокольню, и вся церковь была покрыта железом. Деньги на перестрой-

ку – 15 тысяч рублей – по инициативе князя Голицына, отпустила Духовная консистория. Внутри храм подновлялся в 1847 году на средства церковного старосты купца И. Кошелева, и в 1862–1865 годах, когда стены были отделаны под мрамор с лепниной. Главный придел был тогда украшен ценным резным иконостасом из дуба. Покровская церковь по богатству внутреннего убранства и церковной утвари считалась в то время одной из первых.

К сожалению, храм не сохранился. И только имя улицы напоминает о нем.

После революции деятели культуры и власть предержащие посчитали, что храм не представляет «особой историко-архитектурной ценности». В 1929 году его собирались разобрать для строительства Дома Советов. Но после закрытия ближайших церквей – Трехсвятительской, Алексеевской и Благовещенской – приход церкви составлял уже 7 тысяч человек, и уничтожить очередную святыню не решились.

Тем не менее, 16 марта 1930 года Нижкрайисполком постановил закрыть «церковь Покрова». Общине о расторжении договора объявили 25 апреля. Но верующие не сдавались, они обратились в Москву. (Принято на Руси искать защиты в столице! И ведь находили порой.) Община направила письмо в Комиссию по религиозным делам при ВЦИК. 30 мая 1931 года ВЦИК отменил постановление Нижкрайисполкома о закрытии храма. Тем временем здание церкви просили у Нижкрайисполкома штаб 17-й стрелковой дивизии – под Дом Красной Армии и Союз водников – под клуб швейников.

Здание церкви просуществовало до 1935 года. Как писал в докладной записке» председатель Совета приходской общины П. Крупкин, «2–3 октября с. г. Покровский храм был закрыт, а все ценности из него были изъяты Крайфинотделом».

Верующие вновь обратились в Москву, и ВЦИК распорядился приостановить закрытие церкви до рассмотрения жалобы. Но Крайисполком предложил общине переехать в церковь на Новом кладбище. Покровской общине предлагалось восстановить полуразрушенный второй этаж Новокладбищенской церкви и разместиться там. Верующие уступили...

К февралю 1936 года силами прихожан было отремонтировано отведенное помещение, и в марте начали богослужение в новом храме. Здание Покровской церкви по адресу: ул. Свердлова, д. 28, постановлением президиума Крайисполкома от 26 сентября 1935 г. было перестроено под общежитие студентов медтехникума. Покровской церкви на ее историческом месте не стало.

Архиерейское подворье храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Идем по Покровке дальше. За поворотом на Грузинскую улицу горит в лучах солнца золотой купол на восьмигранном световом барабане, увенчанный крестом. Это храм святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. История его такая.

До 1917 года здание с домовою церковью принадлежало братству святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Там располагалось общежитие для малоимущих учеников губернской гимназии. Построено здание в конце XIX столетия на средства купцов Рукавишниковых

по проекту архитектора П.С. Бойцова. Сам храм был освящен 2 февраля 1897 года епископом Нижегородским и Арзамасским Владимиром (Никольским).

Вскоре после революции 17-го года храм был закрыт. В советское время с 1939 года здесь располагался НИИ эпидемиологии и микробиологии.

В мае 2013 года здание было передано Нижегородской епархии. Так появилось архиерейское подворье храма святых Кирилла и Мефодия. Возвращенный к жизни храм благоукрашен, освящен митрополитом Георгием (Даниловым) 23 мая 2015 года, в нем регулярно совершаются богослужения.

Сегодня при архиерейском подворье храма организованы иконописные и певческие курсы. А также курсы золотого шитья. Все желающие могут учиться богоугодному делу, достаточно пройти собеседование.

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы

Инициатива открыть в Нижнем Новгороде епархиальное женское училище принадлежала архиепископу Иакову (Вечеркову), служившему на Нижегородской кафедре с 1847 по 1850 год. Он же первым внес пожертвование на строительство училища из своих личных средств. Его преемники епископ Иеремия (Соловьев) и архиепископ Антоний (Павлинский) продолжили сбор средств.

В 1857 году графиня Анна Георгиевна Толстая (урожденная княжна Грузинская) для строительства женского духовного училища пожертвовала «в вечное владение» Нижегородской епархии участок земли на углу улицы Большой Покровской и Холодного переуллка.

Первый камень в основание будущего училища в мае 1861 года заложил преосвященный Нектарий (Надеждин). Строительные работы под наблюдением специально созданного строительного комитета велись несколько лет. Согласно отчету епархиального попечительства, «каменный, училищный, для девиц духовного звания дом, с каменными при нем службами» был уже построен вчерне (без отделки) по проекту архитектора И. К. Кострюкова в 1863 году.

Училище было открыто 22 октября 1866 года викарием Нижегородской епархии епископом Макарием. На третьем этаже здания была устроена и освящена домовая церковь в честь двенадцатого праздника – Введения во храм Пресвятой Богородицы. Над ней разместились небольшая звонница с главой, увенчанной крестом. На звоннице было четыре колокола.

В течение последующих лет здание училища постоянно расширялось, к нему пристраивались различные блоки. В частности, в 1867–1868 годах были пристроены два дополнительных двухэтажных корпуса, в которых разместились спальни для воспитанниц, квартиры для воспитательниц, так называемые рукодельные комнаты, рекреационный зал, больница, епархиальный детский приют для детей-сирот из духовного сословия. На внутренней территории училища был выстроен одноэтажный корпус служб, в котором размещались ледник, амбар, каретник, коровник, конюшня, прачечная и баня.

В 1872 году при епископе Филарете (Малишевском) было принято решение о расширении домовой училищной церкви. Однако реализация

проекта затянулась на годы, и лишь 16 апреля 1892 года преосвященный Владимир (Никольский) совершил закладку пристроя к большому актовому залу училища, где впоследствии был обустроен и освящен алтарь с клиросом.

М. Добровольский в своей работе «Краткое описание Нижегородских церквей, монастырей и часовен» сообщает: «Введенская церковь первоначально устроена была не в том месте, где теперь находится, и вход в нее был с Покровской улицы; но после, когда при увеличившемся числе девиц-воспитанниц церковь оказалась тесною, она устроена была в другом месте, именно в двухсветном зале училищного здания, для алтаря которой сделан был с южной стороны особый каменный пристрой, в коем и устроен алтарь с клиросами. На этом месте она находится с 1892 г. В церкви один престол – в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы...»

В октябре 1892 года состоялось освящение новой училищной церкви. Введенский храм постоянно благоукрашался заботами нижегородских архиереев, духовенства и мирян. Богослужения в нем совершались, кроме воскресных, праздничных и особых дней, в посты и в дни памяти основательницы училища графини Анны Григорьевны Толстой, а также по заветанию других приснопоминаемых в нем благодетелей училища.

В 1918 году училище было закрыто, а домовая церковь уничтожена. С тех пор здание было закреплено за военным ведомством. Сначала здесь были открыты курсы красных командиров и располагался штаб 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. С 1929 года – Дом Красной армии, впоследствии переименованный в Дом офицеров. Так и называли его нижегородцы до новых времен.

В 2011 году здание было возвращено Церкви. В декабре того же года на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы состоялось первое богослужение и малое освящение храма, которое возглавил архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов). В 2012 году начались реставрационные работы. Реставрация шла ударными темпами. 31 марта 2012 года освятили крест, купола и колокола на звонницу. В июне приступили к росписи. Осенью установлены новый иконостас и витражи в окна. Наконец 31 декабря 2012 года состоялось Великое освящение храма митрополитом Георгием (Даниловым).

Началась вторая жизнь Введенской церкви на главной улице Нижнего Новгорода.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Историк литературы, писатель, исследователь жизни и творчества Николая Гоголя. Родился в 1930 году в Москве. Отец был репрессирован в 1937 году, мать – в 1941-м. Воспитывался в детдоме. Окончил филологический факультет Казанского университета. Работал учителем в школе, корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник», Хабаровского радио, «Литературной газеты», обозревателем журнала «Литературное обозрение», редактором «ЛГ» по разделу русской литературы.

Автор многочисленных книг и статей о классической и современной русской литературе, в том числе знаменитой книги о Гоголе (серия ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия»), которая переиздавалась девять раз и считается классикой биографического жанра. Автор многих телефильмов о наиболее ярких фигурах русской литературы. Лауреат Литературной премии Александра Солженицына (2005), Всероссийской Тютчевской премии (2009), Государственной премии Правительства РФ (2011).

Почетный председатель Общества любителей российской словесности. Живет в Москве.

МОИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕНЁЧКИ*

Глава из книги

Когда читатель прочтёт название этой книжки, он вправе подумать, что здесь что-то ироническое, весёлое и легко читающееся. Не могу ему обещать этого. Не потому, что весёлость мне чужда, а потому, что работа перед камерой (да ещё без всякой подготовки – будь то заученный текст или экран, где этот текст читается по ходу съёмки) не так уж легка, а, скорей, даже тяжела.

Ты стоишь перед объективом, вокруг тебя вся съёмочная группа и, хотя это люди, что называется «свои», напряжение велико.

Никогда не думал о телевидении и своём участии в его делах, но судьба так повернулась, что мои уже пятьдесят лет совпали со временем, когда всюду – и в том числе на телевидении – произошла ломка. Появились новые лица и голоса, которых ранее не было, причём со своим мнением, своим взглядом на вокруг происходящее.

И в числе этих новых лиц оказался и я. Сначала краткие передачи с двумя-тремя подобными мне персонажам, интервью, и всё это какие-то

* В настоящее время Игорь Петрович завершает работу над книгой с таким названием и любезно предоставил нашему журналу главу о съёмках фильма о Бунине.

минуты присутствия, которые тут же забываются (как всё на телевидении), потом появление один на один с камерой и чуть ли не часовой «Проповедью», где, начиная сниматься, не знаешь, что и как говорить, тем более что это не запись, а прямой эфир.

В последнем случае где уж тут место иронии или косвенному веселью и лёгкости. Это труд, требующий эксплуатации всего в тебе: ума, находчивости, запаса знаний, как в бою, когда поднимаешься из окопа с винтовкой в руках. А впереди дот или дзот, когда не видишь противника и думаешь только о том, как целым вернуться туда, откуда поднялся.

И далее идут уже не программы, а документальные фильмы, где ты – автор сценария и ведущий.

И каждый раз новый персонаж, а значит, и новая эпоха, о которой почти ничего не знал или знал понаслышке, стало быть учёба, чтение книг и документов, работа с архивами и дни в библиотеке.

Но не волнуйся, читатель, скуки я тебе не обещаю, потому сам не люблю скуку вообще, а в частности, которая приходит с телевидением.

Работа все же захватывающая, со сменой времени и мест, где происходит действие, с путешествиями по жизни, по истории и, конечно, по всей России и за её пределами.

В 1996 году Ольга Васильевна Кознова вышла на пенсию, но я уговорил её остаться нашим режиссёром фильма о Бунине. В данном случае идея такого фильма исходила не от меня. Снимался цикл «Лауреаты Нобелевской премии».

На Российском телевидении нам подписали командировку в Париж. Группа была та же, а главное, был любимый нами оператор Юра Журавлёв. Мы отправились в город, где Бунин прожил с 1919 по 1953 год и обитал в знаменитом районе Парижа Пасси, в котором селились художники, писатели, композиторы и где почти все улицы были названы их именами. Бунин жил на улице Оффенбаха.

Скупая бухгалтерия телевидения выдала нам тощий паёк, и мы остановились у подножия Монмартра, в гостинице, явно предназначенной для случайно забредших сюда бездомных. Там не было даже завтрака.

Не успели мы расположиться, как я на минуту, оставив дверь незакрытой, отлучился к Ольге Васильевне. И, вернувшись, обнаружил, что у меня украли фотоаппарат. Он лежал в раскрытой дорожной сумке.

Отчаяние моё было столь велико, что я даже заплакал и сказал Ольге Васильевне, что не поеду на съёмки. Но надо было знать Кознову, чтобы понять: мы поедом, и съёмка состоится. Она не уговаривала меня и сказала строго: «Игорь Петрович, собирайтесь».

В таком состоянии я оказался перед камерой на улице Оффенбаха. В дом мы вошли, но в квартиру, где жил Бунин, нас не пустили.

В этом доме Бунин писал свою последнюю книгу о Чехове и не успел её дописать. Он как-то утром поднялся, сел на кровать и сказал жене: «Я умираю». И умер.

Прекрасные книги Бунина о Толстом и Чехове я любил. Язык Бунина меня завораживал. А кроме того, в 1933 году, накануне присуждения ему Нобелевской премии, я с отцом и мамой одновременно с Буниным был в Париже. Семья наша квартировала на улице Файзендери, от которой было рукой подать до Булонского леса.

В Булонском лесу отец снимал меня, когда я, осваивая трёхколёсный велосипед (мне самому было около трёх лет), часто падал и чинил его, а Иван Алексеевич Бунин в то же время любил гулять в Булонском лесу,

и есть известная фотография, где он снят отдыхающим на скамье, стоящей среди деревьев этого любимого места отдыха парижан.

Мог я проехать мимо него? Мог ли он обратить внимание на мальчика в кепке и клетчатом коротком пальто?

Не знаю.

Но на улице Оффенбаха, вспомнив это совпадение, я встряхнулся, забыл о своей потере, и фильм начался.

Далее мы поехали на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, поклонились мы могиле Бунина, положили цветы, а я долго не мог отойти от неё, думая о том, кто лежит под эти старым славянским каменным крестом.

Затем наш путь лежал на улицу Фарадея, где мы должны были встретиться с Зинаидой Алексеевной Шаховской, современницей Бунина и его другом. Бунин как-то написал ей:

Как не вижу Шаховскую,
Сам не свой хожу. Тоскую!

Она была младше Бунина на 36 лет, стало быть, в 1996 году ей исполнилось 90.

Когда мы позвонили ей из Москвы с просьбой увидеться, снять её, записать её воспоминания о Бунине, она, не раздумывая, ответила: «Ни за что!» Звонила Ольга Васильевна. Услышав отказ, она передала трубку мне. Зинаида Алексеевна повторила своё «нет», сказав, что ей 90 лет и сниматься уже поздно. Но потом почему-то смягчилась.

Не знаю, может быть, мужской голос подействовал, задумалась и, наконец, согласилась.

«Только скажите оператору, чтобы снимал меня через марлю». В 90 лет она оставалась женщиной. В том, что это так, я убедился, когда сел в кресло рядом с её креслом и мы заговорили. Сколько жизни было в ней, сколько огня! Микрофончик, прикреплённый к её шерстяной кофте, так и прыгал, когда она, возбуждаясь, говорила громко, и страстно.

Перед поездкой к Шаховской жена Владимира Максимова Таня (я дружил с Володей, любил их обоих, бывал у них в Париже) сказала мне: «Имей в виду, что ты будешь иметь дело с элитой русской эмиграции. Будь на высоте».

Кажется, её наказ я выполнил. Зинаида Алексеевна подарила мне на прощание свою книгу «В поисках Набокова» и написала на титульном листе:

Дорогому Игорю Петровичу к новому 1997 г. Париж 14/12 1996. Как хорошо было встретить собрата из России – так прекрасно знающего, о чём мы говорили – на память о встречах в Париже с добрым чувством. Зинаида Шаховская.

Но теперь о её рассказе про Бунина.

«Иван Алексеевич страшно стыдился того, что у него нет законченного образования, говорил, что он невежда, и с этим скудным запасом подался в писатели. Я утешала его, говоря: “Дорогой Иван Алексеевич, вы великий писатель, Почётный член Российской академии наук, вы сделали то, что не сделал ни один кончивший десять университетов человек”».

Нет, это не утешало его. Гимназии не окончил, в университетах не учился, что я знаю?

Так мы спорили.

Стеснительность, правда, уживалась в нём с гордыней, но то был характер.

Он писал мне письма, заканчивающиеся словами: “Сердечно целую Вашу руку, дорогой друг Вашего Сиятельства (Шаховская был княжна. – И. З.) при всех обстоятельствах покорный слуга Ив. Бунин”. Советовался по поводу своих изданий, ждал моего отклика на новые, написанные в эмиграции сочинения.

Я не всегда восхищалась его творениями. «Тёмные аллеи» я сначала просто не приняла. Мне казалось, что то, что естественно для какого-нибудь западного беллетриста, не к лицу русскому писателю.

Вы понимаете, о чём я говорю.

Обнажённость изображения отношений мужчины и женщины виделось мне как нарушения приличия, закрепившегося в русской классической литературе.

Да и мне просто как женщине было не по душе.

Сейчас я думаю о “Тёмных аллеях” иначе, но это, наверное, снисходительность возраста, а?»

И она обратилась с этим вопросом ко мне. Мне было легко с этой женщиной, такой не увядшей, молодой сердцем, такой открытой, откровенной и, поверите или нет, весёлой.

Она даже поделилась со мной одной историей, которая случилась после получения Буниным Нобелевской премией. Он вдруг пригласил её вдвоём прокатиться в Венецию и пожить там.

Ему было за 60, Зинаиде Алексеевне – 27.

И она ответила ему: «Конечно, хорошо совершить такую поездку наедине с лауреатом Нобелевской премии. Но мне кажется, что это лучше было бы сделать с каким-нибудь молодым человеком».

Бунин не обиделся. Дружба их не расстроилась.

Потом Зинаида Алексеевна рассказала о том, как она с братом, священником из Сан-Франциско, посетили Бунина в больнице. «И вновь Бунин стеснялся, – сказала она, – только на этот раз из-за своего вида и за очевидную его старость. Брат перекрестил его и пожелал выздоровления».

Но впечатление от этой встречи было тяжёлое. Бунин боялся смерти, очень боялся и больше всего боялся, что его сожгут. Помните его рассказ “Огонь пожирающий”? Там действие происходит в крематории.

Но я что-то отклонилась в горькое. Лучше вспоминать и думать о жизни, о красивом в жизни, радующем. Между прочим, Бунин был единственным Нобелевском лауреатом, получавшим солидную денежную награду, которым не увеличил эту сумму, не разбогател на ней, а очень быстро – чисто по-русски – расстался с ней.

Во-первых, узнав по радио о присуждении ему премии, он тут же сел и составил список писателей-эмигрантов, которые жили в нужде. И, конечно, поделился с ними по-братски. Кроме того, и для себя не жалел оставшихся денег. Ездил всё время на такси, обедал в ресторанах, одним словом, было быстро сам оказался в числе нуждающихся.

И это было красиво».

Как только красный огонёк камеры погас, Елизавета Алексеевна посмотрела в сторону стоящего у камеры Журавлёва. «А где марля? – спросила громко она. – Я не вижу марли!» И тут же рассмеялась: «Ах вы, хитрецы!» Перед уходом она угостила нас чем могла. Это были только что сваренные сосиски и чай.

Оглядывая квартиру Шаховской, я понял, что она живёт, как жили многие наши эмигранты, весьма скромно. Только одна роскошь украшала её жильё – книги. Книги на столах, на многочисленных высоких полках, на креслах, даже на полу.

Это было всё, что она скопила за свою жизнь.

Мы уходили счастливые оттого, что повидали её! Застали в этой жизни. Париж после ухода русской эмиграции опустел. Именно такие люди, как Шаховская, принесли сюда великую русскую культуру и теперь уже не звучавший на парижских улицах неповторимый русский язык.

Прощались сердечно и долго.

Ещё до встречи с Шаховской мы попали в историю, при которой оказались в глупом положении. Мы назвали таксисту адрес, номер дома. Он подвёз нас к дому с нужным номером и исчез. Но это была вовсе не улица Фарадея, а какая-то совсем другая. Мы столпились у подъезда дома с тем же номером, что и у Шаховской, и замерли возле него. Мы не знали, что делать. Время шло, а мы были явно далеко от места, где нам надо было выходить из такси.

Стоим, ждём, нервничаем, конечно. Вдруг дверь подъезда открывается, и из него выходит человек. Пользуясь минутой, мы проскальзываем в подъезд и останавливаемся перед списком квартир. Один номер квартиры совпадает с номером квартиры Шаховской.

Поднимаемся на второй этаж, звоним в дверь. Дверь открывается, и кого мы видим? Высокий, красивый, хотя и седой мужчина, по-спортивному стройный, улыбается и смотрит на нас. Мы пытаемся жестами, смешанными с русской речью, что-то ему объяснить. Французского никто не знает. И о, чудо! – он выслушивает нас и на чистом русском языке спрашивает: «Кого вы ищете?» Тут наши языки развязались.

«Вам нужна Елизавета Алексеевна Шаховская? Так она живёт в другом районе, но сейчас я попробую помочь вам». Мужчина подходит к телефону и звонит ей: «Елизавета Алексеевна, – говорит он. – Тут телевизионщики из Москвы хотели попасть к вам, а попали ко мне. Вы действительно их ждёте?»

Нам было объяснено, как идти от дома, где мы находимся, чтобы попасть на улицу Фарадея, и как сократить путь. С этой целью наш доброжелатель вынул из стола чистый лист и набросал на нём план с указанием улиц и перекрёстков, какие нам придётся пройти, снабдив их названием на русском языке. Мы не знали, как его благодарить.

Через час или полтора наша группа была улице Фарадея. Окажись на месте нашего соотечественника француз, не знаю, чем бы всё кончилось. Бог помог.

Сейчас Елизаветы Алексеевны нет на свете, и мне остаётся только помнить её и желать, чтоб там, куда уходят наши души, её душе было бы хорошо

К сожалению, давно нет и Ольги Васильевны Козновой, нашего комдива, и я, заходя в церковь, не забываю поставить свечу и поклониться перед иконой, произнеся её имя.

Мы, конечно, побывали в редакции газеты «Русская мысль», главным редактором которой долгие годы была З.А. Шаховская.

И ещё один адрес и телефон были записаны в блокноте нашего режиссера. Нам очень советовали посетить дочь Бориса Зайцева Наталью Борисовну Соллогуб. Её отец просто дружил с Буниным, и она, тогда молодая женщина, не раз встречалась с Иваном Алексеевичем.

Звонок по телефону, и приглашение последовало.

Нас встретила, как мне показалось, совсем нестарая женщина, следы миловидности ещё не стёрлись с её лица, и, как оказалось, следы эти мы увидели в её характере, доброте и радушии, с каким мы были приняты.

Наталья Борисовна по этому случаю испекла замечательный торт, которым угощала нас после съёмки за красиво убранным чайным столом. Мы сели друг против друга в креслах, а Юра направил на нас глаз камеры. Кстати, он засёк одну трогательную подробность, умилившую нашу хозяйку. У неё был красивый сиамский кот, который независимо расположился наверху невысокого буфета. Камера включена, и вдруг кот совершает прыжок мне на плечо, потом спускается к ногам и уютно устраивается там.

«Вы знаете, – удивилась Наталья Борисовна, – это исключительный случай. Он никогда не подходит к моим гостям, а тем более не позволяет себе сидеть у них на коленях. Видать, Игорь Петрович, вы ему приглянулись, и он увидел в вас своего».

О Бунине она вспомнила, как однажды Иван Алексеевич, живший в Грассе, приехал в Ниццу, где остановились Соллогубы (Соллогуб – это фамилия мужа Натальи Борисовны. Он работал в банке), и по привычке зашёл к нам. «Раз явился Бунин, надо обедать, – сказала я себе и стала накрывать на стол. Иван Алексеевич, увидав стоящую у его тарелки горчицы, воскликнул: “О, да вы пользуетесь этим шедевром немецкой кухни!” – и произнёс немецкое название этой горчицы. – Хорошо живёте!”

И только после этой несколько ядовитой реплики сел за стол. Он очень хорошо относился к моему мужу Андрею Владимировичу, но был доволен, что отчасти подколот его.

Мой отец восхищался Буниным. Когда Ивану Алексеевичу присудили Нобелевскую премию, он вернулся домой очень поздно и откровенно навеселе.

– В чём дело, папа? – спросила я его.

– Понимаешь, Бунин – нобелевский лауреат. Я не мог не отметить этого выдающегося события.

Как я узнала утром, услышав сообщение о Нобелевской премии, отец стал заходить во все находящиеся на пути к нашему дому бары и “отмечал” торжество русской литературы. Он выпивал за успех Ивана Алексеевича и всей русской словесности».

Наталья Борисовна показала нам комнату Зайцева и тот диванчик, на котором он спал и где в январе 1972 года скончался девяносто одного года отроду. Он пережил Бунина на 19 лет.

Надо было прощаться. Не хотелось расставаться с гостеприимной хозяйкой и этой русской квартирой, где до сих пор обитал русский дух. Юра снял весь наш разговор. Я поклонился Наталье Борисовне и пожелал ей оставаться долго такой, какой мы её увидели. Наталья Борисовна подарила мне книгу её отца «Странник». Это была часть дневниковых записей Зайцева, которые он вёл всю жизнь. И надписала её:

Милому Игорю Петровичу на долгую память о нашей встрече в Париже.

*Н.Б. Соллогуб-Зайцева
13/XII 1996 г.*

Нам предстояла ещё одна встреча, но уже не в Париже, а в Москве. Точнее, в писательском городке Переделкино. В Переделкино мы поехали к Олегу Михайлову, моему близкому товарищу, самому известному в России знатоку первой русской эмиграции.

Был октябрь 1996 года. Олег жил на самом краю Переделкина, на улице Довженко. Жил один в небольшой даче. Мы прошли к нему на веранду, которую он оборудовал под кабинет, и первое, что я увидел, была знакомая мне картотека, стоявшая на его письменном столе.

Олег столько знал о Бунине! Юра Журавлёв не успевал менять кассеты, чтоб не отстать от его монолога. Делая паузы, Олег доставал из картотеки карточки с письмами Зайцева и зачитывал перед камерой. «Хорошо, что много работаете, – писал ему Борис Константинович в 1964 году. – Дай Бог сил и удачи, литература такое дело, которое требует всего человека».

«Письма эти зайцевские замечательные», – говорил Олег. Меткие характеристики современников: Бунина, Куприна, Шмелёва, Набокова. Он говорил о «тихом свете лиризма», которые пронизывают прозу Зайцева. В другом месте об основной черте русской литературы – о «тихом свете милосердия».

Зайцев и Бунин дружили, и Зайцев знал всё о его семье, о поздней любви Бунина к Галине Кузнецовой и однажды в письме к Олегу обмолвился, что страстному Бунину (уже давно немолодому) не хватало этой страстности в жене Вере Николаевне Муромцевой, и пожалел о её «холодноватости».

Но гораздо важнее было письмо от 17 апреля 1959 года: «Настаивая на связи Бунина с Толстым, Вы правы, связь есть, конечно, даже в самом складе описания, но есть и огромная разница, о которой вы не упоминаете: духовный мир – совесть, человеколюбие, сочувствие обездоленным, сострадание, чувство греха и ответственности перед Богом – этого у Бунина почти нет, а у Толстого в его душе как раз и занимало громадное место... Потому-то Толстого и раздражали бунинские дожди»,

То есть чрезмерное описание природы.

После разговора мы по просьбе Ольги Васильевны вышли на улицу и пошли вдоль дач, удаляясь от следующей за нами камерой. Мы говорили, вспоминали нашу молодость, нашу жизнь теперь, а Юра снимал и снимал нас, и эта прогулка, эта близость с Олегом запечатлены в фильме.

Олег тогда надписал мне свою новую книгу «Литература русского зарубежья»:

Дорогому Игорю с нежными воспоминаниями о «золотом веке» нашей литературной – и не только – молодости. Твой Олег. В день ТВ 27/X 96 г.

Этот наш проход по улице Довженко стал последней встречей с Олегом. После неё мы еще звонили друг другу, и однажды накануне 9 мая – святого для нашего поколения дня – Олег долго говорил со мной. А на следующий день его не стало, он мученически принял смерть в загоревшемся своём доме. Пожар не оставил ничего, кроме пепла.

И в том числе от знаменитой картотеки.

Маргарита ПАЛЬШИНА

Родилась в Архангельске, окончила Московский современный гуманитарный университет.

Поэт, прозаик, сценарист. Публиковалась в литературных журналах «Нижний Новгород», «Нева», «Новый берег», «Пролог» и других. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», шорт-листер Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», Международного фестиваля «Русский STIL» (Германия). Живёт в Москве.

О МИФАХ ПИСАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

Я список кораблей прочел до середины...

О. Мандельштам

Наверное, это самый важный для меня текст: несколько лет раздумывала прежде, чем поняла, что достичь уровня, откуда позволено «вещать без страха и упрека», невозможно.

О том, что всё чаще возвращается сон из детства...

Многим из нас снятся повторяющиеся сны: экзамен, армия, разлука... нечто эмоционально незавершенное. Прошрое, затягивающее назад, в воронку времени, в пространство утраты. Такие сны находят живой отклик в настоящем. Если возвращаются, значит, продолжаешь бороться с призраками.

Мой призрак поселился на балконе спортивного зала. В пять лет меня отобрали в спортивную школу по художественной гимнастике. Выбрали из группы девочек в детском саду – и отобрали у детства. Ежедневные тренировки вместо игр, жесткая дисциплина. И худшее из воспоминаний – соревнования. Ковра в республиканском зале не было, голый пол отграничивали белой шелковой лентой. Успеть сделать кувырок, пересчитав все позвонки, и поймать на лету килограммовую булавку, иначе – попадет в голову. Если уронишь – поставят низкий балл. Боль, слезы и чувство вины, что разочаровываешь всех вокруг: нельзя плестись в хвосте, даже середнячком быть стыдно.

Но я была. А когда боль в спине на тренировках напоминала о себе, сбегала всё в тот же зал для соревнований. Без жюри, соревнующихся и зрителей он был гулок и пуст. На балконах обитали привидения. Не раз слышала неясный шепот и шелест, скрип половиц, долетали отголоски улицы, перезвон троллейбусов, а на фоне громадных квадратов отсветов из окон мелькали неясные тени. Чудилось, тьма зала в такие моменты оживает, и так верилось в волшебство!

И спустя годы просыпаюсь с ощущением утраты, словно не смогла уберечь заветное. Поймать луч из окон напротив в ладонь в темноте балкона, обращенного в безмолвный зал. Привидения были живыми существами в мире моих грез – так чувствуешь себя, когда пишешь повесть или роман. А дальше – снова и снова ступаешь за край белой ленты. Невозможно делать что-либо только для себя, рано или поздно придется выводить свое создание в свет, где поджидают знакомые уже боль, разочарование, отчуждение, непризнание...

Задумалась, сколько близких по духу людей подарило и отняло творческое море. Сколько их кораблей разбилось об опасные писательские мифы. Наверное, любая человеческая деятельность строится на скале иерархического инстинкта, но в творческой среде борьба за признание гораздо острее. Стать на вершину или хотя бы на голову выше других. Остаться в памяти современников, достичь другого берега времени, дотянувшись до потомков... Мифы множатся, ветвятся дорожки – и не существует никакого Творческого пути. Мы вроде бы сами выбираем судьбу, но на выбор влияют бесчисленные случайности и подчас непреодолимые внешние обстоятельства, что остается только смириться с итогом. И продолжать жить – и писать.

В «литтусовках» пребываю давно и в разных ролях: сначала как сценарист и автор журналов, потом как редактор одного из них, позже помогала издавать книги авторам и рекламировать – издательствам, посещала литературные мастерские, фестивали, участвовала в международных конкурсах, вступала в союзы и выходила на волю... Разные лица, мысли, судьбы перед глазами. Трудно удержаться, чтобы не записать, не *отобразить* мифы, усыпанные обломками творческих кораблей, – а вдруг мой список (конечно же, неполный, заблуждениям нет числа) послужит кому-то оберегом в шторма?

Начну, пожалуй, с даров, а закончу отречением, следуя логике восприятия.

Миф «Избранный» тесно связан с мифом «Право писать».

...На семинаре в Милане Аню отметил Евгений Борисович Рейн. Она писала странные и завораживающие стихи, уникальный голос, говорят в таких случаях.

– Но я не чувствую себя избранной, чтобы публиковать их. Зачем плодить сущности? Слишком много слов стирают значение каждого. А в семинаре участвую, потому что люблю поэзию как таковую, без надежды, что меня причислят к поэтам, – заявила Аня.

– Если бы публиковались только великие стихи, то литжурнал был бы один и выходил раз в десять лет, а что нам всем тогда читать? – убеждала ее. – Твои строки могут вдохновить кого-то на свое произведение, будет творческая цепочка, важен сам процесс обмена вдохновением...

Записала все прямые контакты редакторов, которые удалось раздобыть на тот момент, Аня приняла листок. Окрыленная ее решением, я садилась в самолет с мыслью, что иногда цель долгого и затратного путешествия – в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и сказать нужному человеку нужные слова.

Но... прошло много лет, я читаю журналы, участвую в поэтических фестивалях, просматриваю списки поэтических конкурсов и премий. Ее стихов не существует нигде, даже поиск в сети не принес результатов. Напоминает историю Генри Дарджера, и я до сих пор храню ее рукопись...

– А я – писатель первого ряда, – сказал как-то один из членов союза. Задумалась: кто им «ряды» в ЦДЛ раздает? Судьи кто? И сразу вспомнились «Слова» Сартра: *«мельчайшее высказывание воспринималось в свете грядущей судьбы»*. Они не живут – они Пишут Судьбу, зачастую оставаясь за бортом жизни. Так можно, зажмурившись, грести на паркетe хрущёвки, как в океане.

О «поцелованных Богом» у меня целая череда печальных историй: человек всегда получает в награду гораздо меньше, чем вложено сил и души. Люди «с печатью на челе» и придумали «Творческий путь» с неперменным условием «через тернии к звездам», не страдал – не заслуживаешь. А могли бы жить и радоваться. Безоглядно и просто. Без обид на «невежественный и жестокий мир» и болезней сердца. Их не сломили бы «вечный шорт-лист» или личная неприязнь того или иного авторитета.

Наблюдение чужих успехов и неудач со временем превратилось для меня в некий эксперимент, социологическое исследование с безжалостным (для венценосных творцов) выводом: признания заслуживает не тот, кто много страдает, а тот, кто много работает и не перестает учиться. Да, талант и удача существуют, но это лишь значит, что кому-то выпал быстрый и яркий взлёт, а кому-то – долгое трудное восхождение. И неизвестно, какой из путей ведет к счастью. Человеческое же счастье заключается в обретении смысла, а его поиски продлевают жизнь. Но и здесь писатели преуспели в оправдании бытия «даром избранного», при жизни застыв собственным памятником.

Только творить, как и жить, можно по праву рождения. Свободно от всего и от всех. Сбегая из-под ареста гулять в лес весной, я поняла, что не бывает свободы ни украденной, ни заслуженной. Как не бывает и заслуженного счастья, заслуженной любви или награды: всегда кто-то достойный не удостоится. И потому человек либо свободен, либо нет. Глупо ждать, что кто-то авторитетный в человечьем или божьем облики выдаст нам право писать свою жизнь, хранить свое время, делиться мыслями и чувствами с другими. Это право можно только взять, решиться. А дальше – пусть читатель решает, быть нам или не быть.

«Шедевр пробыет себе дорогу», не правда ли?

Возможно, кто-то и знает чудесные истории о «проснуться знаменитым», я – нет. Для меня это такой же миф, сгноивший в тени не одну талантливую рукопись и хорошую книгу (к сожалению, некоторые книги обладают сроком годности и должны быть прочитаны в свое время, чтобы потом возвращаться в контексте истории).

А в тему, что и как пробивает дорогу, есть несколько размышлений...

Процитирую Ниала Фергюсона «Площадь и башня» (книга не о сути творчества, а о принципах устройства общества и распространения информации).

«По словам Дункана Уоттса, главное при оценке вероятности каскадного эффекта, напоминающего заражение, – “сосредоточиться не на самом стимуле, а на структуре сети, по которой расходится этот стимул”. Это помогает объяснить, почему на каждую идею, которая разлетелась по свету молниеносно, как вирус, приходится множество других идей, которые прозябают в неизвестности и выдыхаются только потому, что начали свой путь с неудачного узла, неудачного кластера или из неудачной сети».

Или проще: всё зависит от «волны отзывов» (площадная популярность в сети) или рекомендаций авторитетов (Башня высоколобой критики, Премии и т. д.). Первое провоцирует на стадный инстинкт, второе совестит невежеством, навязывая авторитарные вкусы. И то и другое вызывает к чувству вины или стыда, а хочется, чтобы искренне полюбили...

...Фестиваль в Крыму. Жаркий полдень, приезжают новые конкурсанты. Она чуть не рухнула рядом на скамейку под деревом, скинув на землю сумку, набитую книгами, выдохнула:

– В автобус садилась женщина. Несла на руках ребенка в инвалидной коляске. Никого даже не попросила помочь! Когда притиснули нас друг к другу в толпе штурмующих двери, заметила, какие сильные, накачанные у нее руки. А потом они оглянулись: женщина – уже пожилая и только со спины выглядит, как спортсменка, а ребенку лет под тридцать... Сюжет для рассказа, о нашем равнодушии к чужому горю...

Вот такие книги все ждут, подумала я тогда. Книги, которые рождаются из людских историй вокруг, а не подняты из глубин души автора. Во-первых, душа на поверку может оказаться не так уж глубока, а во-вторых, читатель в книге ищет себя и своих близких.

Есть, правда, мнение, что это связано с русским менталитетом: «коллективное сознание, я – последняя буква алфавита», в западном мире ценятся личные истории от первого лица, но у нас предпочтительнее не высовывать авторский нос в текстах. Я же поняла в Крыму, что одного таланта недостаточно, нужен неиссякающий интерес к людям, чтобы живописать мир и наше – общее – время. Наверно, любого писателя передрнет от отзыва о «зря потраченном на книгу времени». Но время и есть жизнь, если отнимаешь ее часы, должен дать взамен нечто ценное.

Но что именно, если **«в мире всего четыре сюжета»*** и **«ничто не ново под луною»****?

Сизифов труд – плодить сущности, как сказала бы Аня.

Собери десять свидетелей происшествия – и получишь десять разных историй, писала сама когда-то, искренне веря в уникальность каждой «снежинки», и лишь спустя годы и два романа поняла, что «каким бы уникальным ни был узор, в основе его – пресная вода». Мы все разные, и мы все одинаковы одновременно. Даже фантазийные миры опираются на мировую историю и мифологию. Абсолютно уникальный мир превратится в абсурд, понятный одному создателю. Возможно, повторение, как в музыке, рождает чувство гармонии, преемственность в искусстве гарантирует стабильность цивилизации, а сопереживание возникает только при условии схожести и узнавания, способности примерить на себя участь героя?

Думается, здесь важно найти баланс между обыденным и необыкновенным – и не сорваться с каната истории, ведь из маленьких историй и складывается общечеловеческая, и любая жизнь достойна романа, главное – как ее написать.

*«Писать я бросил в десять лет, слишком опасно»***.*

– Отец умер в точности, как я и написал...

* Хорхе Луис Борхес.

** Екклесиаст.

*** Уильям Берроуз «Голый завтрак».

– Вы поэтому не хотите издавать роман?

– Да. Мне страшно, всё написанное сбывается. Впереди по тексту – тяжелая болезнь сына.

– Может, изменить сюжет?

– Не получится, но я выбрал все идеи и мысли для книги по психологии. Ее и будем издавать.

– Жаль, роман премиальный...

Диалог, состоявшийся чуть меньше года назад в «КофеХаус» на Арбате. Мы издали нон-фикшн, похоронив рукопись, завоевавшую престижную награду, в столе автора. Я тоже верю в **миф о пророчестве художественного слова**, способного изменить мир, – и ничего не могу с собой поделать. Когда-то и со мной случалось и воплотить героя в жизнь за пределами рукописи – он даже жил в будущем, из-за разницы часовых поясов, и предсказать смерть любимой собаки – у меня на руках. Теперь все печальные истории пишу из прошлого: что произошло, редко возвращается, бомба дважды в башню не попадает.

От литераторов часто можно услышать фразы: *«нас пишут наши тексты, а не наоборот», «я – только проводник идей и образов сверху», «мысль в голову всегда приходит – не ты ее думаешь-пишешь»* и т. д. Возможно, творчество, как молитва, и есть подключение к каналам высших сфер, где все времена сосуществуют и будущее уже написано за нас. Но вряд ли кто пожелает воплощать тревожные предчувствия на бумаге: *«незнание дня своей смерти делает нас бессмертными»*^{*}.

И всё же находятся те, кто готов пожертвовать всем ради успеха, славы или вечной памяти. Я называю этот **миф «синдромом Фауста»**, но часто он воспаряет к **мифу о самопожертвовании на творческом кресте**.

И это *всегда* сделка. Не важно, кем ты жертвуешь: собой или другими. Лжешь и притворяешься ради успеха в обществе или шагаешь в окошко ради личной правды. В любой человеческой деятельности (будь то бизнес, спорт или искусство) можно найти следы тех, «кто душу продал» по «пути вверх по головам», когда «цель оправдывает средства», но только в творчестве выбирают самопожертвование. Трагедия возвышает.

...В тот год я работала в редколлегии литжурнала, и мы готовили к выпуску июльский номер.

– Ребенок еще не успел родиться с начала года, а у нас уже три смерти, – жаловалась главред.

О двух я знала: инфаркт, инсульт.

– Кто третий?

– Самоубийца. Повесился.

Поэт, тридцати с лишним лет, публикующийся лауреат Григорьевской премии.

– А в чём причина? Узнал, что неизлечимо болен?

– Они все больны – невостребованностью, непризнанием...

– Но вы же книгу стихов ему как раз делаете, неужели не проскочило ничего в письмах? Нельзя было как-то поддержать, помочь?

– Ты мне лучше скажи, что с книгой его делать? Выпущу – родственники заявят, что мы наживаемся на его трудах, а на самом деле ни одной не продастся.

^{*} «Солярис».

– Надо держать слово, данное тем, кто ушел.

Книгу решили разместить в библиотеке для бесплатного скачивания, и я готовила ему страничку на сайте издательства. С фотографии на меня смотрел молодой человек с внешностью киноактера, и вроде бы всё у него в жизни было как надо. И лишь взгляд – пронзительный и потусторонний, будто предчувствовал, а фотография наверняка за несколько лет до трагедии сделана...

Этот случай надолго выбил меня из колеи. И сейчас, то и дело читая некрологи в сети, я всякий раз задумываюсь о том, как страшно мы обмануты мифом, что смерть возвышает. Классики погибали не во имя собственного величия, смерть для них была точкой отчаяния или выходом на свободу из бесконечной борьбы Творца с Системой. Из жизни, которая им угрожала, из общества, где им не было места. А потом – да, трагическая смерть обессмертила имена. Современники же зачастую понимают всё наоборот: нужна петля на шее, чтобы твои книги читали. Но имена очередных цветаевых-есениных помнят разве что поклонники, и они были бы счастливы, если бы поэты продолжали писать. Остальным до них дела нет – сеть каждый день, каждую секунду выбрасывает на нас столько слов, что даже слова о смерти растворятся в общем кишении.

Сейчас самое время написать об отречении, обещанном вначале.

Пишу. Последний миф – о Предназначении.

«Умирают люди только в двух случаях: когда они уже исполнили своё Предназначение или когда Мироздание поняло, что они его исполняют и не собираются», – писал Дмитрий Горчев.

Когда пропадаю надолго, мои фестивальные друзья чуть ли не с ужасом в глазах спрашивают: «Ты пишешь?!», и я понимаю, что они тоже верят в этот миф. В нашем оцифровывающем каждый миг бытия мире невозможно написать Большую книгу – и почивать на лаврах, нужно постоянно подбрасывать в огонь читательских ожиданий новые и новые исписанные листы. Беседовала однажды с автором трилогии, он писал продолжение по контракту для коммерческого издательства.

– К своим героям я уже испытываю только одно чувство – отвращение, даже убивать их не хочется. Думаю отказаться от контракта, но...

Если бы в моих правилах было давать советы, я бы точно ответила – откажись, не мучай себя, это же пытка – выдавливать из себя слова.

Когда-то я работала в офисе с десяти до семи, чувствуя себя Цинциннатом Ц, пишущим свою повесть в тюрьме. Я жила по ту сторону монитора и носила свой мир на флешке, всякий раз сбега в пространство фантазии от унылой действительности. А сейчас я создаю жизнь – какой хочется, и желание строить миры на бумаге отпало, записываю разве что чужие истории, и только те, что тронули по-настоящему. Когда нравится жить, пишется все реже и реже.

А о предназначении можно еще процитировать философов-футурологов, Юваля Ноя Харари, например: современный мир столь быстро меняется, что невозможно выбрать профессию или предназначение на всю жизнь, так или иначе придется приспосабливаться, меняться, учиться новому. Я знаю поэта, нашедшего себя в музыке, художника, ставшего архитектором света, писателей, открывших в себе художника или фотографа. Содержание (наши идеи) диктуют форму, и это здорово – наконец вырваться из плена слов.

...И пробежаться под солнечными брызгами фонтанов Александровского сада. Странно, я столько всего здесь написала в жаркие летние дни, почему ни разу не осмелилась освежиться?

– Дорожки сада – это бывшее русло реки, – рассказывают гиды туристам.

А река – это время. И хочется хоть немного побыть норштейновским Ёжиком: лечь на спину – и пусть река сама меня несет, а я буду смотреть на звезды, отыскивая среди них всё новые и новые путеводные. Не сочинять, не подстраиваться под чьи-то вкусы и ожидания, а писать жизнь как она есть. И хранить *свое* время. Подальше от всяческих соревнований.

Большая часть жизни, писал Бродский, уходит на то, чтобы научиться не сгибаться перед чужой мыслью или примером. И читая о чьей-то жизни – не обесценивать свою.

...Вдоль кремлевской стены срубили все старые деревья, под которыми когда-то с волнением перечитывала письма читателей своей первой повести, а писатели, чьими повестями восхищалась сама, вдруг напомнили срубленные деревья – *«иных уж нет»*, но я буду их помнить, потому что всё в нашем мире *«движется любовью»*.

Вехи памяти

Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут (семинар Юрия Кузнецова). Доктор медицинских наук.

Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, многочисленных публикаций в «толстых» журналах, зарубежной периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Победитель международных поэтических конкурсов «Рождественская звезда» (2011), «Цветаевская осень» (2011), имени Сильвы Капутикян (2013).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РОКОВАЯ О ГИБЕЛИ ВЕСТЬ

К 100-летию со дня смерти Александра Блока

В узенькой и очень темной комнатке на улице Студеной, где спала бабушка, стоял скрипучий книжный шкаф с причудливыми медными ручками. Ручки пахли школьными пятаками, сам шкаф – застоявшейся книжной пылью и сахаринром (искусственным сахаром, который там когда-то хранил диабетик-дедушка). Книги пахли по-разному, поскольку и сами были совсем старые, пореформенные, с фитами и ятями, и самые на тот момент новые, вроде собрания сочинений детского писателя Николая Носова, автора знаменитых «Приключений Незнайки». Но эти три синих тома с серебряной факсимильной подписью великого поэта пахли тогда еще только типографской краской. Собрание сочинений датировано 1962 годом, а я родился в 1963-м. Тогда были в моде подписные издания. По какой-то причине бабушка ограничилась первыми тремя томами девятитомника. Возможно, драматургия и проза Блока ее не интересовали. А может, решила под конец потратить деньги на что-то более важное...

Меня же интересовало в Блоке всё! И началось это с того самого памятного и незабываемого дня, когда я взял в руки третий том и, раскрыв его наугад, прочитал строки, которые меня, можно сказать, сразили наповал:

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла – принялась укорять,

Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.

До сих пор не понимаю, в чем загадка настоящей поэзии! Вроде бы самое что ни на есть бытовое четверостишие, перенасыщенное глаголами (7 глаголов на 15 слов, не многовато ли?), и в то же время чувствуешь, как открывается через эту сцену необозримый Космос. Как и многих мальчиков-подростков, меня очень волновали непонятные и загадочные отношения мужчины и женщины, и мне казалось, что во все не учебники гинекологии с очень уж интересными картинками и не атласы по акушерству, которые соседствовали с художественными книгами (мой дедушка был главным врачом родильного дома!), а именно поэзия даст ответы на мои многочисленные вопросы. Более того, что именно Александр Блок ответит на них! Почему именно он? Да потому, что я не встречал тогда ничего более завораживающего, чем его волшебные строки.

Каждое стихотворение Блока я разгадывал, как шараду. Но это были вовсе не логические головоломки из зачитанной, еле держащейся на одной ржавой скрепочке рваной брошюры «Твое свободное время», стоящей на той же полке, что и синие томики. Это было удивительно интересное чтение – ведь за каждым словом скрывалось множество всё новых и новых смыслов!

Официальная советская поэзия, особенно поэзия так называемых «шестидесятников», всегда казалась мне пошлой, однобокой и фальшивой. Поэмы типа «Братской ГЭС» ничего, кроме рвотного рефлекса, не вызывали. В ту пору я, конечно, не знал, что в советской поэзии были Павел Васильев и Борис Корнилов, Александр Твардовский и Алексей Прасолов, Арсений Тарковский и Мария Петровых... В «Литературной газете», которую мы выписывали, печатали других, и всегда очень уж советских, ура-патриотических, коммунистических и марксистско-ленинских...

А вот Александр Блок всегда стоял особняком. Он был особым, не стайным и не стадным. Казалось бы, эта небольшая вышеупомянутая лирическая миниатюра. Но что происходит между мужчиной (лирическим героем!) и пришедшей к нему в гости женщиной? Впрочем, непонятно даже, кто к кому пришел в гости. Понятно только, что отношения этих взрослых людей очень и очень непростые, и совсем не ясно, кто из них виноват.

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё – зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Эта, казалось бы, совершенно ненужная подробность (ну почему именно десять шпилек, а не девять, что это меняет?), а ведь без нее этого стихотворения не существует. «Любовь – не вздохи на скамейке», – поучал советский классик Степан Щипачев. И действительно, какие уж тут вздохи! Это постоянная, изнуряющая мука:

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...

Насколько живо и насколько зримо это все нарисовано! Даже, казалось бы, совершенно лишнее семантически слово «спиной» работает на динамику этого удивительного – по силе энергетики! – стихотворения. И вот, наконец, эта загадочная концовка:

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

Лишь позднее, будучи взрослым человеком, я понял суть этого лирического шедевра, которая очень близка к сути хрестоматийных строк гениального Лермонтова:

Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?

Вечный конфликт мужчины и женщины решается в пользу... творчества! Именно творчество, а не отношения с женщинами, по мнению Блока, предназначение мужчины. Поэтому и призыв лирического героя «приниматься за дело» однозначен и понятен – *старинное* дело – это именно творчество, а не что-либо другое. Не случайно после знаменитого визита к нему домой Анны Ахматовой Блок запишет в дневнике: «Когда пишет мужчина, он смотрит на Бога, когда пишет женщина, она смотрит на мужчину». И всё же, когда я читаю и перечитываю этот блоковский шедевр, мне почему-то всегда становится жалко эту несуразную, растерянную, эмоционально амбивалентную (как сказали бы психиатры!) ...бабу, возможно, полюбившую всеми фибрами души этого Небожителя, который, как полицейский сыскной агент, протоколирует десять уроненных ею во время шумной «разборки» шпилек...

Кстати, еще одна удивительная черта литературного шедевра – его можно вертеть со всех сторон, как кубик Рубика, и всегда увидишь какое-то новое сочетание цветов.

Сочетание ранимости с холодностью на фоне удивительного внимания к реалиям окружающего мира – коренная черта поэзии Блока (во всяком случае, в поздний период его творчества):

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Лирический герой Блока всегда трагически переживает состояние собственной раздвоенности, раздельности любви Земной и Небесной. Биографы поэта свидетельствуют о том, что приобщение к тайнам Земной любви произошло у поэта в подростковом возрасте и определило в дальнейшем всю его жизнь. И только потом уже появились

классические «Стихи о Прекрасной Даме» – довольно холодные, отстраненные, «символистские». В свое время я долго разгадывал эту психологическую шараду, никак не мог понять, за что поэт так жестоко и бесчеловечно мучал свою жену, отказывая ей в физической близости и тем самым провоцируя ее на измены. Ответ лежит, по-видимому, в особенностях психики самого поэта, в этом его раздвоении, невозможности для него слияния Небесной и Земной любви. Продажная любовь как явление, куда более распространенное в конце XIX – начале XX веков, чем считают многие, была известна поэту не понаслышке.

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер...
В этой комнате, в звоне стаканов,
Купчик, шулер, студент, офицер...

Этих голых рисунков журнала
Не людская касалась рука...
И рука **подлеца** нажимала
Эту грязную кнопку звонка...

И всё же публичный дом – не тюрьма, туда никого не привозят насильно. Скорее можно вести речь о постоянных грехопадениях и дальнейшем раскаянии.

Однако «красный штоф полинялых диванов» вовсе не был так отвратителен поэту, как мировое мещанство. И мне всегда казалось, что именно отношение к мещанству и есть тот ключик, которым можно открыть дверь с табличкой «Мировоззрение Александра Блока». Наверное, в русской литературе не найдешь более антимещанского и антибуржуазного поэта, чем Блок. Именно поэтому он безоговорочно принял и февральский, и октябрьский перевороты и активно сотрудничал как с правительством Керенского, так и с большевиками. В хрестоматийном стихотворении «Сытые» поэт незавуалированно высказывает свое отношение к буржуазному миру:

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот – в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных –
Свет электрический потух.

К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах – желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Так – негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлеб!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно –
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям – неприлично
Их старой скуке подражать.

Тогда, в конце 70-е годов, когда я, будучи подростком, особенно увлекался стихами Блока, это стихотворение казалось мне... необычайно актуальным! Однажды, глядя на экран еще черно-белого тогда телевизора с трансляцией очередного доклада Л.И. Брежнева, я неожиданно для себя прочитал сидящей рядом в кресле бабушке:

Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Бабушка засмеялась, но настоятельно посоветовала нигде эти строчки не цитировать. Спросила, правда, не я ли это всё сочинил.

«Это же Блок!» – вырвалось у меня с недоумением. Что ответила на это бабушка, я уже не помню.

Возможно, именно воздействие поэзии Блока – одна из причин того, что я очень быстро разочаровался в так называемой «перестройке», осознав ее скорей не антикоммунистический, а именно мещанский, буржуазный характер. Перечитывая Блока в середине 90-х годов, я был поражен тому, что знаменитое стихотворение «Фабрика», которое входит в школьную программу, вполне могло быть написано именно тогда, где-нибудь в 1995 году, на апогее власти олигархов:

В соседнем доме окна желты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Как бы ни была интересна и неисчерпаема социальная тема, особенно в творчестве гениального Блока, всё же не она и даже не тема вза-

имоотношения полов, с которой я начал свое эссе, является для поэта ключевой.

«О Русь моя! Жена моя!» – эти сакраментальные строки поэта мой учитель по Литературному институту поэт Юрий Кузнецов называл... поэтическим инцестом. «Как же так? – недоумевал Кузнецов. – Каждый народ – и великий, и совсем небольшой, олицетворяет родину с матерью. И для нас, русских, Россия всегда была “матушкой»”. А для него родина – жена! Он всенародно призывает к соитию с матерью, то есть к инцесту, к кровосмешению!»

Потом я часто думал – а чем, собственно говоря, провинился Александр Блок перед поэтами «русофильского» ряда, к которым, без сомнения, принадлежал и Юрий Поликарпович? Тем, что у него было свое, не совсем традиционное понимание родины? Кузнецов, опиравшийся в своем литературном творчестве на почти тысячелетнюю историю русской литературы и двухсотлетнюю – современного русского литературного языка, мог возмущаться сколько угодно и, конечно, как художник имел на это полное право. Сам же Блок никогда прямо не говорил о своей русскости, не гордился национальностью. До сих пор не утихли споры об этническом происхождении поэта, но, как бы то ни было, а половина русской крови в нем была однозначно. Тем не менее выраженной русской самоидентификации у поэта никогда не было.

Я только рыцарь и поэт,
Потомок северного скальда,

– пишет он в стихотворении «Встречной». И в то же время судьба России не может его не волновать. И, как всегда бывает у великого поэта, строки Блока, посвященные родине, России, не только не устарели, а кажутся написанными сегодня:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг, –
В избушке мать, над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. –
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

Что мы видим сейчас, в 2021 году? И война шумит (один Донбасс чего стоит!), и мятеж встает (демонстрации недовольных на улицах!), и деревни горят по всей стране, вопреки стараниям доблестных эмчэсников. И матери тужат, и коршуны кружат...

Часто думал я, еще учась в Литературном институте, да и потом тоже, последователем какого русского поэта является Александр Блок. В результате долгих размышлений и сопоставлений остановился на... Некрасове. И хотя у Некрасова никогда не было Прекрасных Дам, «разборки» с женщинами случались. Вот, например, такие строки:

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Разве это не Блок? Нет, это Некрасов

Нервный некрасовский трехдольник был востребован, прочувствован и творчески переработан Блоком, и социальная тема решалась «северным скальдом», как было уже выше отмечено, в духе самых что ни на есть демократических, «разночинных» традиций. Часто думаю о не потерявшей злободневности затянувшейся дискуссии Фета и Некрасова, перешедшей, к сожалению, в личную вражду. Как бы я ни восхищался Фетом и его стихами, но его концепцию «чистого искусства» никогда до конца не принимал. История литературы показала, что будущее на стороне Некрасова и Блока. И чем крупней поэт, тем настойчивей и напряженной звучит у него социальная тема. Социальные стихи лезут из поэта даже тогда, когда он не хочет и противится этому.

А у Некрасова с Блоком встречаются даже сюжетные совпадения. Так, например, в классическом стихотворении «Тройка», ставшем народной песней, у Некрасова:

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченьясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

У Блока, в стихотворении «На железной дороге»:

Три ярких глаза набегающих –
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною,
Скользнул – и поезд в даль умчало.

У Некрасова корнет, у Блока – гусар. Невелика разница.

Именно в стихах Некрасова можно найти, по моему мнению, прообразы всего того, что так или иначе воплотилось в творчестве Блока, за исключением, может быть, только чисто народных персонажей, которые не были ему близки.

Один из самых кропотливых и внимательных исследователей творчества Некрасова, Корней Чуковский, задал в свое время Блоку несколько вопросов, ответы на которые тщательно записал и потом опубликовал в своих воспоминаниях. Привожу некоторые ответы Блока на вопросы Корнея Чуковского:

- Как относились Вы к Некрасову в детстве?
- Очень большую роль он играл.
- Как относились Вы к Некрасову в юности?
- Безразличнее, чем в детстве и «старости».
- Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
- Кажется, да.
- Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
- Оно было неподдельное и настоящее, то есть двойственное (любовь-вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле.

Лично я думаю, что Блоку было непросто констатировать чье-либо влияние на свои стихи, отсюда и это «кажется, да». На самом деле влияние поэзии Некрасова на него было колоссальным.

«Чувство пути», о котором часто писал и говорил Блок, в большей степени, чем другим нашим классикам, было свойственно и Некрасову. И сколько бы ни говорили о «символизме» Блока, внимание к детали присутствует в его шедеврах с акмеистической точностью:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Кстати, и здесь, в третьем и четвертом катренах, Россия трансформируется если не в жену, то хотя бы в некую абстрактную женщину:

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пуškai заманит и обманет, –
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Со стихотворением «Россия» перекликается и мое, наверное, если не самое любимое, то, во всяком случае, одно из самых любимых – «Осенняя воля». Это тоже один из тех шедевров, которые долго можно вертеть в руках, находя всё новые и новые грани:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Несмотря на отчетливо слышимое лермонтовское «Выхожу один я на дорогу», это стихотворение мог написать только мой любимый поэт – Александр Блок.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

«Осенняя воля» – типичный образец блоковского патриотизма – патриотизма, не одетого в казенный мундир. Это не советский, вымученный патриотизм пошлого «шестидесятника», ратующего за «социализм с человеческим лицом» и истерично вопящего: «Уберите Ленина с денег!» Тем более это не железобетонный патриотизм сталинских соколов тридцатых, сороковых и начала пятидесятых годов. Более того, это и не патриотизм белогвардейский и эмигрантский. Это чисто поэтическая безотчетная любовь к всепоглощающему русскому простору:

Много нас – свободных, юных, статных –
Умирает, не любя...
Приюти ты в даях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Однако есть и многое, что резко отличает Блока от Некрасова. Например, отношение к Музе. «Бледную, в крови, кнутом иссеченную Музу» Николая Алексеевича Блок не воспринял. К Музе у него было совсем иное отношение, и, возможно, любил он ее куда больше, чем женщину или (да простят меня патриоты!) даже родину. Речь идет, разумеется, о самой что ни на есть классической Музе. Об Эвтерпе, музе лирической поэзии.

Именно о ней он и думает, о встрече с ней и мечтает, когда, посчитав упавшие вышеупомянутые десять шпилек, внушает себе, что «пора приниматься за дело // За старинное дело свое». Конечно, старинное! Известное еще с античных времен. Так, в стихотворении «К Музе» поэт пишет:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,

Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

Именно эта «влекущая сила» вела по жизни Александра Блока, а во-все не сила безликих и бестелесных «Прекрасных Дам», и тем более не сила телесных дам, которых он частенько наблюдал на «красном штофе полинялых диванов». Общение с Музой поэт воспринимает как чуть ли не единственное оправдание жизни:

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Если даже ангелы соблазнялись Музой, то что говорить о лирическом герое стихотворения? Неслучайно в своей статье «О современном состоянии русского символизма» поэт говорит о прохождении кругов Ада как о самом необходимом для поэта деле. Способен на это, по мнению Александра Блока, только тот поэт, «у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, Которая поведет туда, куда не смеет войти и учитель».

Жизнь Александра Блока – это не просто жизнь гения. Это жизнь, полностью отданная поэзии. Это жизнь человека, который сам сжег себя на ее жертвенном костре.

Нина ЗВЕРЕВА

Родилась в 1952 году в Горьком. Окончила Горьковский государственный университет по специальности «филолог», училась в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и МГУ. Работала на Нижегородском телевидении и на федеральных каналах. В 1992 году основала и возглавила первую в России частную школу телевизионного мастерства «Практика». Преподаватель Московской школы управления «Сколково».

Кандидат филологических наук. Автор ряда книг, посвященных риторике, эффективной коммуникации, созданию успешной семьи и воспитанию детей, в частности учебника риторики «Я говорю – меня слушают». Награждена орденом Дружбы и орденом Почета. Дважды лауреат премии ТЭФИ (1998, 2013). Живет в Нижнем Новгороде.

«ПИСЬМА БЛОКА?!. ВЫ ТРОГАЛИ ИХ РУКАМИ?!»

Эта история перевернула мою жизнь

Удача, providение... подберите синоним, который вам нравится, – но это случилось. И случилось благодаря Александру Блоку.

Девять человек в одной квартире

Начало истории было абсолютно тривиальным – моя мама решила навести порядок в шкафу. Случалось такое нечасто, но раз в год маму словно охватывала жажда перемен – и она начинала генеральную уборку: залезала в глубины шкафов и пыталась расставить все вещи по местам.

Миссия почти невыполнимая. В трехкомнатной квартире нас было девять человек. В начале 70-х годов это казалось абсолютно нормальным. Но можете себе представить, как много скапливалось вещей. При этом все вещи лежали максимально компактно – в квартире ценился каждый свободный метр площади. Можно даже сказать, каждый сантиметр.

Мой отец занимал высокую должность в серьезном научном институте, он был членом-корреспондентом Академии наук, но когда мама обращала к нем свои большие грустные глаза и говорила:

– Мне даже негде переодеться!

Папа отвечал ей:

– Нелличка, другие живут гораздо хуже.

Мама замолкала. Люди не жили – люди теснились.

Надо сказать, я сильно способствовала тесноте: когда мне было 18 лет, я привела в нашу квартиру молодого мужа, а потом быстро родила ребенка.

Комната, в которой мы жили с братом вплоть до моей свадьбы (сейчас такое кажется дикостью, но тогда было абсолютно нормальным), – эта комната стала нашей с мужем «семейной». В соседней комнате жила бабушка с открытой формой туберкулеза.

Брат переехал жить на кухню. А третья комната, квазибольшая, с папиным роялем, стала комнатой родителей. Они спали на диване. Утром застилали его ковром – и все вечера мы собирались большой семьей в этой комнате: разговаривали, шутили, смеялись... И никакого личного уголка у моей мамы не было.

И вот однажды мама решила разобраться в книжном шкафу. Мы все любили книги – и папа, и мама, и брат, и я – у каждого из нас были горы книг. Были книги из библиотеки моего дедушки, книги из библиотеки дяди моего папы... И вот здесь – внимание! Я должна сделать шаг назад и рассказать о человеке, без которого этой истории бы не было.

Бестужевские курсы

Лев Иванович Поливанов. Московские старожилы помнят поливановскую гимназию. В ней учились многие будущие звезды науки, включая чемпиона мира по шахматам Алехина. По слухам, Александр Алехин был дружен с внуком директора этой гимназии, Льва Ивановича Поливанова, сидел с ним за одной партой и сражался с ним в шахматы.

Внук (тоже Лев Иванович Поливанов) – интеллигентный, образованный человек, окончил одновременно и математический факультет университета, и консерваторию. И то и другое окончил блестяще, и каждый из университетских профессоров прочил ему блестящую карьеру.

Но случилось непредвиденное событие, которое родителей этого молодого человека привело в полный ужас.

Двадцатилетний Лев Иванович Поливанов приехал погостить к родственникам в Нижний Новгород (происходило это еще до того, как Нижний Новгород стал городом Горьким) и влюбился.

Влюбился крепко и навсегда, как это бывает, когда любовь сваливается на человека внезапно и накрывает его целиком. И все бы ничего, но избранница Льва Ивановича была на двадцать лет его старше.

Зоя Владимировна Зверева – не слишком хороша собой и слишком авторитарна. В свое время она окончила Бестужевские курсы. И тоже, как и Лев Иванович, училась сразу на двух курсах – на биологическом и математическом факультете. В конце XIX – начале XX века девушки не имели право на высшее образование. Бестужевские курсы стали первым российским университетом для женщин.

Отец Зои Владимировны был небогатым дворянином, детей у него было много (в том числе и мой дед, Анатолий Владимирович Зверев). Зоя Владимировна родилась старшей. Она всегда мечтала учиться и никогда не думала о себе как о матери большого семейства.

Умная, думающая девушка (сегодня сказали бы – «девушка с активной гражданской позицией») зарабатывала тем, что давала детям уроки математики и биологии. И зарабатывала, надо сказать, неплохо.

Однажды на Бестужевские курсы приехал поэт Александр Блок. Он выступал перед «бестужевками» (так называли студенток), читал им свою поэму. И после этого Зоя Владимировна запросто подошла к нему и предложила сотрудничество.

Предложение звучало максимально рационально. Блок, по версии Зои Владимировны, должен выступать на Бестужевских курсах. А Зоя Владимировна будет собирать с посетителей деньги. Нет, деньги она не станет оставлять ни себе, ни Блоку. Все деньги пойдут на помощь ссыльным и политзаключенным. Это были времена столыпинских реформ. И несмотря на то что сегодня Столыпин помнят как реформатора и человека, который обеспечил России экономический прорыв (и прорыв этот был бы еще мощнее, если бы не Первая мировая война), современники знали и столыпинские вагоны, и столыпинские виселицы.

Интеллигенция начала XX века обращала внимание не на реформы, а на их прямые последствия. Блок как человек, близко принимающий к сердцу то, что происходит в стране, сразу же отозвался на призыв Зои Владимировны.

Он действительно выступал на Бестужевских курсах, и деньги, собранные за его «творческие вечера», действительно шли на поддержку политзаключенных.

В начале XX века самым доступным средством общения на расстоянии были письма. Блок писал письма Зое Владимировне Зверевой. Она писала письма ему. Их переписка продолжалась с 1906 по 1913 год. После Зоя Владимировна переехала из Санкт-Петербурга в ее родной Нижний Новгород, встретила Льва Ивановича Поливанова – и переписка прекратилась.

Любовь с разрывом в 20 лет

Игнорируя реакцию общества и бойкот родителей, Лев Иванович Поливанов женился на Зое Владимировне Зверевой.

Зоя Владимировна начала преподавать литературу на филфаке местного университета, была известной, уважаемой дамой. Сейчас ее называли бы коучем – к Зое Владимировне, по слухам, ходили первые лица города – чтобы посоветоваться о делах насущных. Она слыла роскошной дамой – прежде всего в смысле ума и манер.

Лев Иванович Поливанов тоже стал преподавателем, но – политехнического института. Прошло уже много лет, но до сих пор в НГТУ висит его портрет и его помнят как одного из лучших профессоров вуза.

Он знал несколько языков, преподавал математику, его обожали студенты – а он обожал свою Зочку.

Она умерла, когда мне было 4 года, в 1956 году. Удивительно, но я ее хорошо помню. Властная пожилая женщина – достаточно было одного ее взгляда, чтобы мы с братом полезли под стол.

Во время светских разговоров дети ей мешали, раздражали ее. Она просто бросала на нас взгляд – и нам хотелось исчезнуть.

Ее безумно боялась моя мама. Я не любила Зою Владимировну. Как можно полюбить человека, перед которым трепещет моя мама?! Но мама рассказывала: когда она шла к тете Зое, твердила себе: «Я не скажу ей про это, ни за что не расскажу про это и не буду говорить про это», – и, как только она переступал порог тетизоиного дома, выпаливала все, что так трепетно хотела сохранить в тайне.

Тетя Зоя – так звали ее мы с братом – гипнотизировала окружающих. Меня охватывало чувство предвкушения всякий раз, когда мы отправлялись к ней в гости. Никогда нельзя было предсказать, как она нас встретит. Может быть, окажется не в духе, и нам с братом придется весь вечер прятаться под столом. А может быть, будет расположена к нам и станет проявлять свою любовь. Я то читала ей стихи и была обласкана за каждое слово, то была виновата – опять же за каждое слово.

После смерти тети Зои ее муж дядя Лева прожил еще около десяти лет. Он часто приходил к нам в гости, носил нам с братом шоколадки... Вот его мы любили!

Дядя Лева умирал долго и мучительно. Вокруг него были какие-то чужие сиделки, незнакомые люди... В нашей семье мы никогда не заботились о наследстве – ни о деньгах, ни о раритетах. Может быть, зря – кто знает?

Но в результате в наш дом попали не его книги в золотых переплетах, не драгоценности тети Зои – все это ушло неведомо куда, – а папки документов, которые были никому не нужны.

После похорон дяди Левы мой папа принес эти папки документов, положил их на самую нижнюю полку книжного шкафа – и все о них тут же забыли.

Филфак вне зоны доступа

И вот однажды летом 1971 года моя мама решила навести порядок в шкафу. Я была дома – боролась с первым приступом тошноты (и еще не знала, что в ближайшие несколько месяцев тошнота станет моей верной спутницей: токсикоз при первой беременности у меня окажется классически-сильным).

Мама ойкнула.

Уронила книги на пол.

– Ниночка, иди сюда, – сказала слишком ровным голосом.

Я подошла.

– Ну вот видишь, теперь хотя бы можно понять, почему ты пошла на филфак, – она протянула мне старые письма.

...Тогда моего поступка не понял никто. Отлично окончив физматшколу, я подала документы на филологический факультет. Родители удивились, но решили, что моя учеба – это мое дело. И на время экзаменов в вуз они, взяв байдарки, уехали в отпуск – сплавиться по реке Печоре и фотографировать мамины вожаделенные Маньпупунёр – сейчас они считаются одним из семи чудес России, это особые «столбы выветривания» в междуречье рек Печоры и Илыч.

«Мансийские болваны» (еще одно название маньпупунёр) и правда выглядели инопланетно – мои родители шли до них по тайге пешком, а я сдавала экзамены на филфак, ухаживала за больной бабушкой и никак не могла понять, почему мне при полном отсутствии замечаний ставят за сочинение – «4», за русский язык – «4»...

Много позже я узнала: в тот год люди на филфак были набраны еще до начала экзаменов. Я участвовала в отборе, в котором не было шансов. Факультет был обязан взять вне конкурса ребят из сельских школ, затем шли ребята из среднеазиатских республик, а дальше – те, кого называют «блатными». Для выпускников городских школ мест уже не оставалось.

В тот год многие талантливые, литературно одаренные абитуриенты пришли поступать на филфак ННГУ, но они, как и я, оказались за чертой поступления.

Вернувшись из отпуска, родители обнаружили меня в слезах.

– Ты должен восстановить справедливость, – сказала мама папе.

– Я никуда не пойду, – ответил папа.

Но справедливость все-таки была восстановлена: ректор ННГУ Андрей Григорьевич Угодчиков позвонил папе сам.

– Виталий Анатольевич, я сейчас просматриваю списки не поступивших на филфак, – произнес удивленно, – и вижу в них Звереву Нину Витальевну. Это не ваша родственница?

– Моя, – ответил папа. – Это моя дочь.

– Ну что же вы не предупредили, Виталий Анатольевич! – расстроился ректор. – Я же вижу, что у нее хорошие результаты! Просто в этом году сумасшедший конкурс на филфак, и мы...

– Ничего страшного, Андрей Григорьевич, – перебил его папа, – Нина будет поступать в следующем году, а пока спокойно пойдет работать.

Но ректор решил по-другому: мне было предложено побыть кандидатом – посещать университет без студенческого билета, но иметь возможность сдавать экзамены вместе со всеми. Умный ректор понимал: многие из тех, кто поступил «по особому набору», покинут вуз после первой же сессии. А учить филологии кого-то нужно!

Так и произошло. Первую сессию (как и все последующие) я сдала на отлично, на втором курсе получила свой студенческий билет – но история с поступлением так и осталась раной на моем сердце.

Письма – огромная ценность

И вот – июнь, мой муж уехал в стройотряд, чтобы заработать денег и отдать их родителям (мы занимали у них деньги на свадьбу, и муж не мог спокойно спать, зная, что долг не возвращен).

Мама обнаруживает письма.

Те самые письма Блока Зое Владимировне Зверевой. Письма, о существовании которых мы даже не подозревали.

– Подожди, – произнесла мама после того, как первый шок прошел. – То, что на письмах стоит подпись Блока, еще не означает, что их писал именно Блок. Может быть, это какая-то шутка? Ну как такое может быть – в городе Горьком письма Блока?

Мама стала показывать письма друзьям. В нашем доме всегда помимо нас были кто-то из друзей. Ситуация, когда мама накрывала ужин, например, на 18 человек, казалась совершенно обычной (сейчас я думаю: как же она справлялась с этим?).

Письма читали, смотрели, трогали. Вечером пришел с работы папа, поднес письмо к окну.

– Если посмотреть на свет, видны водяные знаки, – сказал он, – это примета дореволюционной бумаги.

– О них никто не должен знать, – мамин голос вдруг стал очень строгим. – Письма – огромная ценность.

– Да, – рассеянно кивнул папа, – тетя Зоя говорила, что она была знакома с Блоком. Правда, она не рассказывала, что они переписывались. Ты права, Нелличка. Об этом не стоит говорить направо и налево.

И родители попросили друзей, которые были у нас дома, не рассказывать о письмах. Друзей в тот день было немного, всего 2-3 человека.

Скорость распространения слухов

Утром следующего дня я узнала, какой может быть скорость распространения слухов. В 1971 году не было интернета. И даже телефоны стояли далеко не все всех городских квартирах. Меньше чем через сутки нам уже звонили отовсюду и просили рассказать историю чудесного обретения писем.

Звонки шли не только от друзей. Звонили из «Нового мира», из «Литературной газеты». Все говорили, что письма Блока – национальное достояние. И все их требовали.

– У нас дочь – филолог, – говорили мама и папа в ответ на такие звонки. – Она и отвезет письма в Москву. Она окончила первый курс вуза.

И если на фразе «дочь – филолог» слушатели уважительно молчали, то после фразы «она окончила первый курс» слышались, скажем так, нетолерантные смешки.

Но я уже изучила все письма. Я поняла их ценность.

Переписка Зои Владимировны и Александра Блока была активной и, я бы сказала, доверительной. В стопке писем лежала даже визитная карточка Блока, исписанная его потрясающим почерком: «Зоя Владимировна, был у Вас, не застал Вас дома. Жалею об этом, потому что есть вещи, о которых я хотел бы рассказать только Вам и которые хотел бы обсудить только с Вами».

Помню, как екнуло у меня сердце. «Надо же, – подумала я тогда, – какая тесная дружба была между ними!»

Эти письма я отнесла на филфак, показала Георгию Владимировичу Краснову. Уважаемый профессор преподавал русскую классическую литературу. И он был тем самым профессором, ради которого вообще стоило поступать на филфак. Он и Всеволод Алексеевич Грехнёв – студенты сходили с ума от счастья присутствовать на их лекциях.

Георгий Владимирович заведовал кафедрой русской литературы. Он сам был как князь, как герцог. Длинные, красивые руки, глубокие глаза – аспиранты и студенты ходили за ним свитой. Слушать его было счастьем. Я не успевала записывать его лекции: когда он начинал говорить, я замирала, боясь пропустить хоть слово.

– Георгий Владимирович! Георгий Владимирович! Георгий Владимирович! – я приплясывала рядом с ним, пряча в сумке пакет с письмами.

– Да, Нина, – профессор обратил на меня внимание.

Краснов знал нас всех по именам, даже первокурсников.

– У меня письма Блока... У нас дома, в шкафу! Моей тете... – от волнения я совсем сбилась.

Надо было видеть его в тот момент.

– Письма Блока?! – он словно сделал охотничью стойку.

– Вот, – я протянула ему пакет.

– Что, здесь?! – его голос был полон ужаса. – Вы трогали их руками?!

Он взял пинцет и только пинцетом вынимал из конверта каждое письмо и перекладывал его тонкой папиросной бумагой. Меня накрывал стыд и ужас за то, что со своим конвертом неслась через весь город: письма могли помяться, порваться, упасть в лужу!

– Нина, – Краснов повернулся ко мне. – Вы представить себе не можете ценность этой находки. Не говорите никому о ней. Дальше буду действовать я.

Четыре печатных листа для «Литгазеты»

Среди множества звонков, на которые мы отвечали в те дни, был и звонок из «Литературной газеты», самого уважаемого издания той поры.

– Можно ли к телефону Нину Витальевну? – произнес в трубке приятный женский голос.

Моя мама долго не могла сообразить, какую именно Нину Витальевну голос имеет в виду, пока не поняла – речь идет о ее дочке!

– Меня зовут Алла Николаевна Латынина, – услышала я, когда мама все-таки передала мне трубку. – Я заведу архивом «Литературной газеты». Мне хотелось бы с вами познакомиться. Расскажите мне, пожалуйста, о письмах Блока.

К тому моменту я не только прочитала все письма, но и изучила все энциклопедии в Ленинской библиотеке и написала статью об этих письмах.

– Надо же, как здорово! – обрадовалась Алла Николаевна. – И какой объем вашей статьи?

– 4 печатных листа, – ответила я, имея в виду четыре листа машинописного текста. Обычных, привычных каждому листа. Я не знала, что печатный лист – это 23 машинописные страницы.

– Как же вы успели за такое короткое время написать целую книгу? – ахнула Латынина.

Тут я и узнала истинный размер печатного листа.

Да, у меня действительно была печатная машинка Еrika. Она сохранилась с детства – я писала на ней сценарии для телепередач. С восьми до тринадцати лет я работала на Горьковском телевидении, снималась в детских передачах. А потом я выросла – и меня перестали приглашать.

Но машинка с тех пор осталась, навык скорой печати – тоже. Так что четыре листа я и правда набрала быстро, буквально по первым впечатлениям от прочтения писем.

– Перешлите мне, пожалуйста, этот материал, – попросила Алла Николаевна.

Четыре печатных листа отправились в Москву, и мы все сели возле телефона – ждать ответа. Родители волновались за меня – но лишь до тех пор, пока Латынина не позвонила вновь.

– У вас хороший стиль и слог, – улыбнулась она. – Берите письма и приезжайте к нам в газету.

Новая жизнь и максимальный гонорар

Токсикоз к тому времени разыгрался не на шутку. Меня рвало от одного вида еды. Вместе с токсикозом накрывала и ложная скромность – казалось неприличным сообщать о своей беременности, и я всячески скрывала этот факт.

Надела мамин костюм, сделала красивую прическу, взяла портфель с письмами – и отправилась в Москву.

На вокзале вышла из поезда.

Проливной дождь смыл мою прическу как душ. Промочил насквозь одежду. С меня слетел пояс, который держал юбку – и она сползла куда-то в район коленок. Но главный мой ужас был: как бы не промокли письма Блока! Я прижимала портфель к животу, старалась закрыть его

собой и поддерживала рукой юбку. В таком виде я приехала в редакцию «Литгазеты».

Вахтер на входе меня не пустил.

Я объясняла, что иду к Алле Николаевне Латыниной, что у меня в портфеле письма Блока, что это очень важно. То же самое я объясняла и другим людям, которые пытались меня остановить...

И вдруг ощутила на своем локте чью-то руку. Обернулась. Рядом со мной стоял поэт Евгений Евтушенко.

— Пойдемте-ка, — сказал он, — и повел меня на пятый или шестой этаж старого здания на Цветном бульваре.

— Алла, возьми, пожалуйста, эту девушку, — Евтушенко распахнул дверь кабинета Латыниной. — Она всем встречным и поперечным рассказывает, что у нее в портфеле письма Блока. Ее же могут ограбить!

С этими словами блистательный Евтушенко отдал меня в руки не менее блистательной Аллы Николаевны Латыниной. Так начался новый период в моей жизни.

Я вдруг стала уважаемым человеком. Меня как-то быстро переодели, высушили мою юбку, накормили (никто же не знал, что я потом побегала в туалет и вернула всю еду наружу). Алла Николаевна позвонила в Центральный государственный архив литературы и искусства. Выяснилось, что там сохранились письма Зои Владимировны Зверевой — то есть переписка воссоединилась.

Меня познакомили с Владимиром Орловым — лучшим исследователем-«блоковедом» всех времен. Две недели я работала в «Литгазете»: сидела в архивах, ездила в Ленинград на встречу с Владимиром Орловым. Я жила у подруги моей мамы тети Зины (она активно участвовала в моей «московской» жизни). И через две недели написала большую статью. Ее назвали «23 письма Блока», развертали на двух полосах «Литературной газеты».

В статье было все — и цитаты из писем, и история того, как письма попали к первокурснице Нине Зверевой.

— Почему вы никогда не спрашивали у меня о гонораре? — поинтересовалась Алла Николаевна, когда я уезжала.

Мысль о том, что за счастье знакомства со звездами «Литгазеты» и две недели невероятной жизни я должна еще и просить гонорар, казалась мне кощунственной.

— Вы первый автор, кого не интересуют деньги, — засмеялась Алла Николаевна, — и поэтому я выпишу вам максимум.

Когда я приехала в свой город Горький, мне пришел перевод. Я до сих пор помню эту сумму. 218 рублей. Мой муж за три месяца вкалывания в стройотряде заработал 148 рублей. Мне было ужасно неловко: он каждый день вставал рано утром, ложился поздно вечером, таскал кирпичи, выполнял самые тяжелые работы... — и мои две недели счастья принесли больше денег.

Я потратила эти деньги на поездку к морю. О море мечтала несколько лет, но последней каплей стала короткая статья в журнале. В ней говорилось: если вы хотите, чтобы у ваших детей были здоровые зубы, ешьте во время беременности виноград.

Я очень хотела, чтобы у моего ребенка были хорошие зубы. Но в средней полосе России даже в разгар лета винограда было не найти. На свои деньги я пригласила маму на юг — и мы поехали. Я ела виноград с утра до вечера (как ни странно, токсикоз на него не распространялся). И вы не поверите: у моей дочери до сих пор нет ни одной пломбы.

Редакция Горьковского телевидения

Но если вы думаете, что поворотным событием для меня стал визит в «Литературную газету», то – нет. Точнее, статья в «Литгазете» стала толчком к этому событию.

Когда она вышла, в нашем доме раздался звонок (как много в этой истории начинается с телефонных звонков!), и мужской голос сказал:

– Можно ли поговорить с Ниной Витальевной?

– Это я, – ответила трубке. И, не выдержав, добавила: – это я, дядь Володь.

Я мечтала о телевидении. Я работала на нем с 8 до 13 лет. Меня перестали на него приглашать, когда я выросла. Я страдала, переживала, думала: «Вырасту – и они все равно поймут, кого потеряли!» Но как именно «они» должны были понять, не имела представления.

Но когда позвонил Владимир Сергеевич Близнецов, я забыла обо всех обидах – так рада была его услышать. Они все для меня были дяди и тети: дядя Володя, тетя Рона, дядя Миша...

В редакцию Горьковского телевидения я пришла уже с заметным животом – шел шестой месяц беременности. Меня радостно приняли – как будто и не было пяти лет разлуки.

– Ты филолог, ты сама написала статью, – сказали мне, – значит, можешь и сама написать сценарий.

И я сделала передачу про письма Блока.

Письма читали актеры.

Я показывала фотографии Зои Владимировны и Александра Блока. Рассказывала про историю их отношений, о которой Владимир Николаевич Орлов сказал: «Надо же, это единственная дружба Блока с женщиной! Ведь обычно с женщинами у него были романы. А это – именно дружба. Поразительно, насколько глубоко Блок доверял Зое Владимировне и как высоко он ее ценил!»

Я сделала эту программу в прямом эфире.

После эфира ко мне подошли все операторы, все технические работники, все, кто был тогда в студии. И все сказали:

– Нина, ты рождена для телевидения. Оставайся!

И я осталась.

Валерий ПОПОВ

Родился в 1939 году в Казани, с 1946 года живет в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт и сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал инженером.

Печатается с 1965 года. Автор более сорока книг, в том числе в серии «ЖЗЛ». Произведения переведены на английский, венгерский, китайский, немецкий, польский, чешский языки. Лауреат премии Ивана Белкина, Царскосельской премии, премий «Северная Пальмира», «Золотой Остап», имени Ф. Искандера, «Москва-Пенне», имени Гоголя, «Большая книга», Премии правительства РФ и других. Награжден орденом Дружбы, медалью Пушкина.

Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга.

ТАЙНЫ «РЕМЕСЛА»

К 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова

Передо мной стоит увлекательная, но трудная задача – написать про тот период его жизни, о котором он сам превосходно написал в «Ремесле» – от возвращения из армии до работы в Америке. Казалось бы – в «Ремесле» он написал все. Уточним – все, что на данный момент хотел раскрыть (или придумать) для создания яркой, убедительной вещи – убеждающей в том, в чем он хотел нас убедить. Убедил! Хотя многое из тех лет Довлатов «вырезал» – не хуже какого-нибудь цензора. В частности – там почти отсутствует личная, семейная тема. А если она и есть – то в причудливых вариациях. С присущей ему щедростью таланта Довлатов изобразил свое знакомство с женой в трех разных сочинениях по-разному: то ее забыл друг Гуревич после выпивки у Довлатова, то она зашла к нему агитатором перед выборами, третий вариант (и опять другое имя) – они познакомились в мастерской знаменитого художника. Но в действительности (пусть это выглядит и не так интригующе), все произошло так, как говорит Лена: они увидели друг друга во время одной из побывок Довлатова в знаменитом кафе «Север» на Невском, потом несколько раз пересеклись случайно, потом – сошлись. Так что Довлатов уже знал, кто ждет его в Ленинграде после армии. Лена – скромная и надежная, терпеливая и понимающая, была спасением для Довлатова – тем более после коварной Аси, которая только рвала ему душу, да и в роли «солдатки», когда Довлатов был в армии, проявила себя не лучшим образом. Любой нормальный дембель, вернувшись

с армии, так бы этого не оставил. Лена была противоположностью Аси – при этом не уступала ей внешне, была, по определению Сергея, «красива какой-то древней красотой». Вспоминает Лена:

Когда Сережа вернулся из армии, сразу стало понятно, что он будет заниматься литературой, к тому времени у него уже были написаны рассказы на армейском материале. Помню, еще до того как я переехала в коммунальную квартиру на Рубинштейна, мы снимали крохотную пятиметровую комнату в Автово. Сережа тогда рассчитывал, что по состоянию здоровья ему удастся уйти из армии пораньше, и ему дали длительный отпуск. В той комнатке он и написал первое «серьезное» произведение: маленькую повесть «Капитаны на суше». В переработанном виде ее эпизоды позже вошли в «Зону». Повесть нигде не публиковалась. Рукописный ее вариант в толстой «общей» тетради был прочитан небольшим количеством знакомых. Потом эта тетрадь исчезла. По возвращении из армии были написаны новые рассказы. С них и началась биография писателя.

После армии Сережа писал очень много и довольно быстро. Он старался использовать для этого любую возможность и писал даже в рабочие часы, если это удавалось. Постепенно, когда он уже становился профессиональным писателем, Сережа стал предпочитать работать утром.

«В рабочие часы» – здесь подразумевается, очевидно, его работа в многотиражке Кораблестроительного института «За кадры верфям». Довлатов работал там до 1969 года – потом уступил это место Лене.

Я демобилизовался и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы и рассылать их по редакциям. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу в день, и, соответственно, я рассылал по газетам и журналам семь пакетов в неделю.

Получал я почти одинаковые ответы. «Ваш рассказ нас заинтересовал, но по понятным вам причинам опубликован он быть не может. С уважением...» Помню, как раздражало меня это «с уважением»... Какое уж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакцию свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован!

Еще одна блистательная довлатовская фраза!.. но как всякая блистательная фраза – она не отражает всей реальной, рыхлой и корявой жизни, отбрасывает все лишнее. А «лишнее» здесь то, что на самом-то деле Довлатов догадывался, если твердо не знал, что рассказы его не могут быть опубликованы. И, увы, не только из-за политики. «Политики»-то у него как раз было меньше, чем у Солженицына и Шаламова, а их вещи уже были опубликованы и имели шумный успех. Не только в политике дело! В добавление к политике нужно что-то еще... что перевешивало бы естественные страхи редакторов той поры. И Довлатов, я думаю, это понимал, отчего отчаяние его становилось вовсе не меньше, а больше. Дело было как раз в рассказах, а не в «чудовищном окружении», пропустившем ведь все-таки Шаламова и Солженицына! Вспоминает его близкий друг Михаил Рогинский:

Сережа начинал робко, я могу даже сказать – непрофессионально. Однажды он обратился ко мне с вопросом, сможет ли он зарабатывать на жизнь литературой. Я ему достаточно определенно сказал: нет. Он писал какие-то рассказы о спортсменах, все это казалось ходульным и надуманным. Я не верил в него как писателя – и ошибся, как известно.

«Ремесло» посвящено лишь внешним препятствиям, несправедливостям и гонениям со стороны окружающей жизни – качество рассказов, с которыми происходят злоключения, как бы не рассматриваются, они как бы априори совершенны – несовершенен лишь мир. Разумеется, такая «условность» впечатляет сильнее, вызывает большее сочувствие к автору. Но – если в реальности... Рассказы свои тогда он довольно широко раздавал – считая возможным (в отличие, скажем, от меня) постепенное их «обкатывание» в чужих руках на пути к совершенству.

Как сейчас вижу тоненькую пачку его рассказов у себя на столе – уже слегка мятые, с загнутыми краями. Тусклый текст «второго» или даже «третьего» экземпляра машинописного текста. Помню – именно как машинописный текст их я и воспринимал. К «машинописи» были другие, свойские, заниженные требования. Тогда многие писали «машинописные тексты» – явно не предназначенные для официальной печати, а как бы даже вопреки ей. Вот вам! Скомканно и небрежно! А чего стараться-то? Все равно ведь не напечатаете! И эта демонстративная «скомканность и небрежность» читалась не только во внешнем облике тех листков, но и в скомканности текстов. Это, можно сказать, был основополагающий стиль. Демонстративное пренебрежение сюжетом, логикой, психологией... Все равно ведь не!.. Главное – чтобы было видно, что гений и что не любит советскую власть... а там отделять сюжет, то-се... Это пусть коммуняки делают, их кормят за это, а мы – люди свободные! Эта демонстрация свободы, в ущерб форме и содержанию, распространена была почти как норма. Такое вот «ошибочное упоение» некоторое время владело и Довлатовым. Из той пачки помню один рассказ – кажется, «Случай на заводе имени Кулакова». Жена приезжает навестить заключенного – но охранники ставят ей условие: сначала «посетить» их. «Делай, как говорят начальники!» – злобно хрипит зек. В «Зоне» это хорошо пригодилось... но тогда этот клочок текста не занимал, помнится, даже страницы. Гляделся только лишь как вызов – и все. Мол, еще и работать на этих коммунистов, качество выдавать? Не дождутся! Заботиться еще о каком-то развитии сюжета, углублении психологии, как это делают презренные «совки»? Никогда! Нам главное – заклеить, плюс показать свою непримиримость и гениальность, а остальное все – не наша забота! Где это в лучшем случае могло быть напечатано? В каком-нибудь «Молодом Ленинграде» – среди других таких же недоделанных проб пера. Со временем умный Довлатов осознал – куда ни адресуй, хоть и в логово врага, надо дорабатывать, делать сочинение печатным по форме, лишь потом появится право сетовать на непроходимость содержания. О той стадии он сам потом безжалостно написал: «Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом». Он это понял и стал работать... А многие из той когорты так и остались воинственно стоять с клочками в руках – вот, загубили! Но те клочки, увы, нечитаемы ни при какой погоде! Виртуозность Довлатова еще и в том, что он блестяще написал о глумлении режима над шедеврами, которых тогда у него, на самом деле, еще и не было. И история об этом под названием «Ремесло» только и есть реальный шедевр – а то «ремесло», которым он якобы владел уже давно, те «загубленные шедевры», над которыми глумились злодеи, в реальности еще не существовали. Ловко. Экономно. То есть он блестяще выиграл игру с шестерками на руках, которые он тут же бросил «рубашками» вверх и никогда никому их потом не показывал... но – выиграл.

Свидетельства Сергея о том, что после армии он оказался в Ленинграде с «Зоной» в рюкзаке, оказываются очередной его мистификацией, необходимой в нужный момент для новой, более выигрышной версии его биографии – но реальности это не соответствует. Нет никого из самых преданных его друзей, кому бы он показал окончательно сделанную им «Зону» уже тогда. Да что говорить – если окончательный вариант «Зоны» включает и уже нью-йоркские эпизоды.

То, что было в его рюкзаке – и та «Зона», которой он покори́л всех, отличаются, как трава и молоко. Хотел поначалу написать «навоз и молоко» – но это, наверное, слишком грубо.

Самое ужасное, что он ощутил, оглядевшись в литературном мире, – что «Зону», как она есть сейчас, наверняка не напечатают – и, увы, во все не из-за темы. Ведь выходят уже «Колымские рассказы» Шаламова и «Один день Ивана Денисовича» – значит, литературная ситуация не так уж безадежна. Безнадежен, пока, он. И именно это – а не «проеиски реакции», на которые привычно все валят, повергало Довлатова в отчаяние.

Повесть его, уже позже, долго не лезла и в «эмигрантские ворота» – для них как раз было мало «ужаса застенков»... Так в каких же «воротах» встретят ее с триумфом и музыкой? Таких «ворот» не было. Их предстояло построить. Все его попытки как-то вписаться в литературную реальность тех лет говорят о полной растерянности. Здешняя вохра оказалась более суровой, более высокомерной, более неискренней, запутанной и коварной – и стать любимцем ее так легко, как это удалось в лагере, здесь Довлатову не удалось. Бережок покруче будет! Здешняя вохра будет позлей – требования у нее повыше!

Его жена Лена пишет, что Довлатов, даже встав с похмелья, тут же сажился за стол и писал. Что он тогда писал?

Однажды я подарил Сергею, – пишет Веселов, – портрет Фолкнера с цитатой на обороте: «Нигде – ни в мирных долинах, ни в безмятежных тихих заводах старости, ни в зеркале детских очей, в которых увидят они отражение прошлых бедствий и грядущих надежд – нигде не покинет их это воспоминание». Имелось в виду, конечно, не убийство Кристмаса из «Света в августе», а некое общее для нас воспоминание. Ради него и была выписана цитата. Сергей мимо ушей пропустил риторику Фолкнера, но вцепился в слово «заводы». Скоро я прочитал: «Когда-то мы скакали верхом, а теперь плещемся в троллейбусных заводах».

Это был рассказ «Когда-то мы жили в горах», опубликованный в весьма популярном журнале «Крокодил», – одна из первых довлатовских публикаций.

Кстати, с рассказом этим сразу же случился скандал. В нем не увидели ни южной патетики, ни лиризма – ничего, кроме зубоскальства. Из Армении в редакцию журнала хлынул поток гневных писем от «трудовых коллективов», общественных организаций, от Тиграна Петросяна, чемпиона мира по шахматам. Я видел письмо на бланке Академии наук Армянской ССР.

С одной стороны, Довлатов немного гордился этой вдруг сразу обрушившейся на него популярностью, хранил и невзначай показывал все эти «знаки внимания», с другой стороны – был напуган и даже ошеломлен. Он все же не исключал (как один из вариантов) и успех в официальной литературе, которая тогда являла как раз примеры вольности и некоторой привлекательности... и вдруг, сразу, такой удар! Неужто – «никогда?» Что же делать?

Попытка прильнуть к армянским истокам и на этом как-то выиграть обернулась провалом. Но мудрый армянин Довлатов сделал тут, я думаю, правильный вывод: что общество несовершенно – это понятно, важнее сосредоточиться на совершенстве рассказов. Хотя несовершенство нашего общества тоже в конце концов «достало» его. Но главный наш с вами интерес – проследить, как Довлатов «делал» себя, с самого начала пути. Если не знаешь, что делать, – делай себя. Поднимай свое имя. Это он умел. Довлатов обладал врожденной способностью «заваривать кашу», возбуждать жуткий скандал и оказываться в центре его. Способность для писателя весьма ценная!.. хотя и не самая главная.

А какие писатели были тогда! Еще в 1958 году вышел замечательный роман Абрамова «Братья и сестры». В 1963 году он написал правдивый очерк о колхозных делах «Вокруг да около», за который получил специальное постановление ЦК. И четыре года его не печатали. В Питере – сказали ему – тебе не печататься. В 1967 году в «Новом мире» вышло продолжение романа «Братья и сестры» – на этот раз встреченный с восхищением. Абрамова восхваляли – правда, извинений за четырехлетние гонения никто не принес – не в их это стиле.

В 1962 году вышел все перевернувший роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1963 году этот роман вышел в «Роман-газете» тиражом в два миллиона экземпляров! И Солженицын был сразу же выдвинут на Ленинскую премию – которую, правда, ему не дали. И хорошо, что не дали! Хотя и этим, я думаю, Солженицына было бы не сбить с его пути.

С конца пятидесятых и все шестидесятые и семидесятые выпускал книгу за книгой Юрий Казаков с прекрасными деревенскими и северными рассказами, продолжая прекрасную бунинскую, русскую традицию.

Засиял Юрий Трифонов – с его психологичностью, обстоятельностью, глубоким знанием жизни и истории – сравнить с ним тогда было некого. И писал он остро, бесстрашно, «на грани».

То были годы великой победы великих писателей, вернувших нам славу, и годы появления новой литературы, не похожей на прежнюю, а бы точнее сказал: непохожей на предыдущую, предшествующую, советскую – а похожей скорее на давнюю, почти забытую, затейливую литературу двадцатых–тридцатых.

Появился веселый, вольный, городской модник, любимец интеллигенции Вася Аксенов (что все его звали Васей – говорит о близости и любви). Высокая, учительская литература чуть утомляла, и тут – свой парень, с нашими замашками и привычками! Ура! Такой любви и славы не было ни у кого ни до, ни после... Так что неизвестно еще, кто больше теснил тогда Довлатова – чужие или свои. Думаю, он все-таки больше мучился из-за «наших» – советские уже уходили навсегда. А вот новые! Было ясно, что даже если у него вдруг все наладится – стать первым тут у него не выйдет.

Краем уха все о нем слышали, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление (так же как, перед тем, и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело. Уже только в одном Питере блистали на всю страну Битов, Бродский, Горбовский. Кушнер, Уфлянд, Рид Грачев. Уже все знали назусть (пока что не из печати, а только с голоса) короткие, звонкие, накачанные и прыгучие, как футбольный мяч, рассказы гениального Голявкина.

Самыми яркими фигурами той поры в ленинградской компании, сразу приковывающими взор, были, конечно, Битов и Вольф. С прелестным Вольфом контактировали все. Хотя при долгом контакте он изматывал любого. При ужасной безответственности, в сочетании с халявной цепкостью, Вольф тем не менее радовал глаз. Возникало что-то вроде того: как вкусно, однако, быть писателем! Неужели и ты когда-то будешь так же ярок и привлекателен, как Вольф? По-писательски мятый клетчатый пиджак, грубые ботинки, брюки-галифе, несомненно, писательская борода и такая же трубка. Очаровательный взгляд в упор, как бывает у близоруких, добродушный и в то же время какой-то шальной. И даже запах табака из всегда беззубого рта был какой-то неповторимо вольфовский, притягательный. Пузатых советских классиков мы воспринимали с насмешкой, а Вольфа тоже с насмешкой, но радостной. И хотя он благополучно печатался в советском (и кстати, высококлассном) Детгизе, тем не менее казалось, что с Вольфом двигаешься куда-то на Запад, к битникам и Хемингуэю, и на месте не стоишь. Чтобы в те годы считаться перспективным писателем – надо было отметиться с Вольфом. Довлатов отметил.

Путь Вольфа в литературу был очарователен (хотя, может, и легко-весел). Он рассказывал, как приехал в Москву, сразу нашел в «Национале», где тот проводил вечера, Юрия Олешу, и они подружились. В чем-то они были близнецы (помимо, увы, гениальности, которая была лишь у одного) – но оба любили вкусно выпить, уютно поговорить, оба были необязательны в обещаниях, оба ленивы и в то же время – легки на подъем, оба не тщеславны в общественной карьере и оба больше всего ценили кружевное письмо.

Поздним вечером они расставались, Вольф радостно перелезал через ограду в какой-то московский парк (не уверен, что безалаберный Вольф знал хотя бы его название), спокойно и счастливо засыпал, рано утром бодро вставал, купался, чистил зубы и шел в гости к Олеше, который высокопарно представлял Вольфа «мой юный коллега», они за-втракали, пили коньяк и в клубах табачного дыма, пронизанного солнцем, говорили о литературе.

Господи! Мы жили в то время, когда можно было не спеша побеседовать с Олешей! Что ж сетовать на те времена? Во всяком случае – Вольф карьеру свою уже сделал, в том смысле, что личность свою уже полностью пристроил, как нравилось ему – и на первых порах мы с удовольствием шли за ним в фарватере – чаще всего к ресторану «Восточный», где Вольф умел сибаритствовать на четыре рубля, и этому научил и нас. Приятно было увидеть там, в один вечер, и Бродского, и Голявкина, и уже тогда легендарного битника Хвостенко, и многих других, с кем было уютно и не страшно. И с каждым глотком сухого росла уверенность, что эта эпоха – наша. Вот так мы понемножку и притирались, косились друг на друга, как стайеры в начале забега.

Битов был мрачен и тяжеловат. Голова непропорционально велика к телу (как и у меня). Его медленный взгляд вызывал озноб и чувство какой-то зависимости от него. Однажды мы шли с ним по Москве и увидели вывеску – кажется. «Молодая гвардия». «Зайдем-ка!» – мрачно сказал он. Мы зашли и вышли через полчаса, я – с чувством колоссального облегчения: наконец-то закончилась эта неловкость, а Битов – по-прежнему мрачный, но с договором на руках, который он «проломил»

тяжело и стремительно, при этом почти не разговаривая – суетилась редакторша.

На самом деле – тогда не было уже никакой советской идеологии, буквы из «Правды» никто в душу не брал, редакторы тоже заканчивали университет, и обожали, соответственно, Кафку, Джойса и Пруста, и пытались обожать нас: каждый редактор мечтал найти хоть что-то яркое, в духе прогрессивного времени и «протолкнуть» (желательно не ссорясь с начальством) – и Битов эту их страстную мечту в точности осуществлял... пока не выпустил за границей «Пушкинский дом» – после чего сделался вообще всеобщим кумиром. Побеждают буйволы 1937 года рождения – года Быка.

И главное – та блестящая плеяда, в которой так важно было быть, вела открытую, бурную жизнь, лишенную какой-либо кастовости и чванства, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно было всего лишь прийти в источающий дивные запахи ресторан «Восточный», сесть с ними за стол и заказать бутылку сухого. И дальше уже – никаких препятствий. Читай свои рассказы хоть прямо здесь. Что-то подобное было, наверное, в «Серебряный век». А этот, наверно, можно назвать, к примеру, мельхиоровым, потому как ножи и вилки к замечательным и дешевым закускам подавались там из мельхиора... где найдешь такое теперь? И свою оценку все получали сразу... другое дело, что власть не особо спешила ценить своих гениев... но это уже ее, а не наша ошибка. Довлатов тоже там, по воспоминаниям, бывал... Но как-то еще «не в фокусе». В те «ресторанные гении» он не успел.

Скорее всего, мы могли первый раз «пересечься взглядами» с Довлатовым в известном тогда литературном салоне Ефимовых, что существовал на Разъезжей улице в небольшой комнате в коммуналке, что нисколько не преуменьшало его значения и влияния. В один вечер там могли оказаться и Бродский, и Уфлянд, и Кушнер, и Марамзин, и Боря Вахтин, и Рейн, и Владимир Соловьев с женой Леной Клепиковой, и много других, что в этот текст не влезают по причине его сжатости. И кому сесть было негде, тот стоял. Накал веселья и разговоров был такой, что порой забывалось, сидишь ты или стоишь, и вдруг выяснялось, что ты давно уже стоишь, и рюмку не на что поставить. В той толпе, что собиралась у Ефимовых в званые дни, были знакомы не все, знакомились постепенно – и оказывалось, что вы уже знакомы заочно.

Конечно – с официальной репутацией было трудно... Но кого это колыхало тогда?! Не представляю себе дурака, которой кинулся бы за оценкой своего творчества в Смольный. Такие наверняка были – но мы их не знали. Главное – среди своих удержаться, марку не уронить! Вот среди своих... это – остро. Компания была «нобелевская!» Кафка тут был как свой – но уверен, никто из присутствующих не знал имени второго секретаря обкома по идеологии, да и первого!

Правильная жизнь тогда была! Многие молодые писатели, которые стопроцентно не знали имени второго секретаря по идеологии, да и не хотели знать, так же как и фамилий разных там главных редакторов, зато страстно завидовали тем, с кем чокались и общались... Вот где была игра! Многие завидовали тогда вдруг появившейся группе «Горожане»: почему их четверо, почему не пригласили меня? Чем они лучше, чем привлекли друг друга? Почему они так вдруг выделились? Хотят подчеркнуть, что лишь они достойны друг друга – и больше

никто? Помню – я, узнав о них, не то чтобы удивился или обиделся... скорее, задумался о себе. Что за судьба? (Тогда она лишь угадывалась – но подтвердилась.) Почему я всегда только так – «на отшибе обоймы», не попадаю в группы, иду один? Ведь казалось – я с ними, как равный... с каждым из них мы были знакомы, хвалили друг друга. и вдруг! В «Горожанах» сошлись писатели заметные: умный, основательный Игорь Ефимов, с такой же, как он сам, прозой, уверенный и уже успешный Борис Вахтин, с его роскошными текстами (сын Веры Пановой, ученый-востоковед), яростный и стремительный Марамзин, солидный инженер и весьма энергичный мужчина в свободное время, с его короткими «ударными» рассказами, четвертый был Володя Губин, работавший по газу, «из простых» – но, пожалуй что, из всех наибольший виртуоз слова. Повторяю – они были известны и сами по себе, но, объединившись в группу с серьезным названием, почему-то сразу выиграли... А я бы, мне кажется, проиграл... Вот и стой «на отшибе»!

Их сразу полюбил Александр Володин, великий драматург, всегда рвущийся как-то нарушить сонный покой, сделать что-то дерзкое, и за «Горожан» он взялся страстно. Они читали с ним в театрах, в НИИ, везде, где клубилась «передовая интеллигенция» – Вахтин рано, абсолютно неожиданно умер. Марамзин уехал после скандала и небольшой отсидки. Ефимов – без скандала, но тоже уехал. Самый непредприимчивый – и, может быть, самый талантливый, Володя Губин тихо прожил в Купчино, продвигаясь лишь по газовой линии... Его книжку теперь можно прочесть – но интерес она вызывает лишь исследовательский: «Надо же, как затейливо писали! И ради чего?» Тогда важнее было (в нашей среде) – не что, а как! И в этом Губин был мастером непревзойденным! В сущности, роскошь письма и была у них содержанием, главным «посылом» их душ. И теперь вдруг оказалось – не интересно! Сейчас столь затейливое письмо может всплыть вдруг совершенно неожиданно в произведениях кого-нибудь из эмигрантов. Порывая с тем временем, они на самом деле увезли его с собой и бережно сохранили – а у нас никто уже так давно не пишет, все переменялось тысячу раз.

Но «Горожане», однако, звучали тогда. Хорошая «вывеска» тоже многого стоит.

Хоть членом Союза писателей никто из нас еще не был тогда, но в Дом писателей на улице Войнова мы ходили активно. Помимо пленумов и собраний, которые никто из нас, естественно, вниманием не удостаивал, там был еще ресторан резного черного дерева, с огромными окнами на Неву, где, наряду с бывшими, клубились и будущие – знакомились, договаривались, самоутверждались. И вообще – тогда это было светское место, центр общественной обновленной мысли. Социолог с характерной фамилией Ядов при огромном скоплении публики желчно сообщал, что творческих людей требуется обществу не более полпроцента, остальные – тупые исполнители... и зал замирал от восторга: «Правду режет! Впервые в этих стенах!» Историк Эйдельман переворачивал историю вверх ногами: знаменитые цари у него выходили бездарными, а непопулярные, например Павел I, – замечательными. Публика, жадно вникая этой столько лет скрываемой правде, не вмещалась в огромный актовый зал с ангелочками по стенам и толпилась на роскошной мраморной лестнице с шереметевскими витражами. Помню, как в этом центре современной мысли выступал смелый – как это было принято тогда – сексолог Свядош. Раньше мы и слова такого

не знали – «сексолог», доверяли лишь голому опыту. А тут! Смело говоря на прежде запретные темы, да еще и поворачивая их неожиданной стороной, лектор сообщил, например, что онанизм вовсе не вреден, как считала ханжеская советская наука, а очень полезен и даже необходим, – и тут же несколько человек с радостными криками выбежали из зала. Расходились просветленные – наконец-то!

После одной из таких шумных многолюдных лекций, буквально открывающей глаза на прежде невидимое, в густой толпе, перемещавшейся из зала в кабак, чтобы отметить победу прогресса, мы и познакомились окончательно с Сергеем Довлатовым – после мимолетной встречи в доме Ефимова, теперь мы стали решительно проталкиваться друг к другу и, наконец, пожали руки.

Смущаясь и заикаясь (преувеличивая, как я теперь понимаю, свое смущение), он спросил, не может ли он почитать свои рассказы на молодежной секции при Доме писателей, в которой я, кажется, считался старостой.

– Конечно! – радостно, как обычно, вскричал я. Еще не хватало нам кичиться и чваниться друг перед другом! Пусть этим занимаются те, в кабинетах!

Был это, кажется, 64-й год. Помнится, он читал в мавританской гостиной с витражами и резными креслами... тогда все те залы, витражи и кресла мы не считали чем-то особенным: молодым дарованиям положено. И разгадали лишь потом, в перестройку, что то была хитрость, ловушка, западня советской власти – и резко избавились от всего этого.

В памяти от той читки остался лишь скандал, который устроила молодая и талантливая Вика Беломлинская... Я, со своим радушием, граничащим с равнодушием, совершил дикую бестактность – оказываешься, она должна читать на секции первой, было договорено, и этот нахал Довлатов, с его фальшивой робостью, нагло влез без очереди благодаря мне. Помню, я задумчиво глядел на разъяренную Вику. Вот, видать, с какой энергией надо пробиваться в литературу... или, по крайней мере, с такой изворотливостью, как Довлатов. А ты что?

Надо сказать, что Беломлинская ярилась не зря и все просекла точно. Уже в Америке, где были не заседания литературных кружков, а настоящая битва за жизнь, Довлатов тоже «подрезал» ее довольно изящно, заняв место на радио «Свобода», на которое рассчитывала она... но как выясняется потом – все происходит правильно и закономерно.

Тогда же, выбитый из колеи энергичным выпадом Вики, я больше думал о своих проблемах, чем слушал Довлатова. Впрочем – если что, ухо бы «оттопырилось». А так... я лишь зафиксировал: «Наш человек. Наши хохмочки. Наша “фига в кармане”. Яркий. И – наш». Кто потом выбрался из этой уютной западни («свой парень!») и прошел путь? Никого больше не вспомню. Предположу, что Довлатов тогда шел с палкой вброд, прощупывая, пройдет ли тут большой корабль – «Зона», и под каким флагом пройдет?

Уже вышли с лагерной темой Солженицын и Шаламов... но они-то «сидельцы и страдальцы», перед которыми все склоняются... А он – кто? И – куда? Не видно «пути к причалу», который уже нашел тогда, скажем, непримиримый Конецкий.

Все эти годы Довлатов производил в основном ощущение разгильдяя, безусловно, одаренного некоторыми способностями, но бессмысленно прожигающего их в раздрызганной, пьяной жизни, в которой он все не доводил до ума, бросал, проигрывал, проваливал даже самые

простые ситуации, разбивал свое лицо неаполитанского красавца о все встречные столбы, а порой даже словно искал их специально.

Общались ли мы тогда с Довлатовым часто? Ни за что! Слишком «тесное общение» двух, скажем, автомобилей нежелательно и даже опасно. Кажется, Чаплин, бессмысленно проведя два часа с Ганди – сказал, что большие люди, как планеты, не созданы для слишком близких встреч.

Несколько раз оказываясь с Довлатовым в компаниях, я сразу открыл, что даже выпиваем мы в разных ритмах. Даже не сказать, что он быстрее, а я медленнее или наоборот... просто – разноритмично. И каждый, стараясь приспособиться к другому, чувствует себя скованно и много теряет. То же самое относится, кстати, и к литературной работе – не теснота нужна, а простор! О каком же можно говорить общем – или даже похожем – пути? Путь у каждого разный – хотя чувствовать себя в какое-то время вместе с другими надо, иначе страшно. Слава богу – мы не связаны. Но и не одиноки. Есть еще люди, полные надежд – и примерно в той же ситуации, что и ты. Значит – и твоя ситуация не безнадежна. Приглядишься, оцени. Так что, вполне оценив друг друга в литературном смысле, дальше мы не особенно стремились к тому, чтобы гарцевать друг перед другом. Но все же в весьма интенсивном бурлении тех лет жизнь нас с Довлатовым сводила, и я помню те разы очень четко.

Однажды я проснулся в компании Довлатова, на квартире брата Бориса, который там тоже присутствовал.

Разлепив веки, я увидел Довлатова перед зеркалом, разглядывающим себя.

– Да... – увидев, что я проснулся, усмехнулся он. – ...Как говорит Попов: «С красотой что-то странное творится!»

Вскоре появился спокойный и вроде бы рассудительный Грубин. Помню плавное и какое-то размеренное, но неумолимое нарастание абсурда в наших хождениях по утреннему городу... В поисках чего? Похмелились мы уже не раз и не два... Теперь я понимаю, что вело Сергея. Ожидание новых происшествий с его героем (и с ним самим), наработка нового сюжета. Шла неявная, но постоянная и нацеленная работа по превращению «жидкого молока» жизни в «густую сметану» довлатовской прозы... но я в этой «лаборатории» долго не выдержал и собрался уйти домой.

Довлатов вдруг тоже сказал, что хочет домой и приглашает меня к нему в гости. Хотя я и устал от бессмысленности происходящего, отказываться было невежливо. Мы простились с его свитой, уже значительно разросшейся после посещения многих значных мест, и свернули с Невского на Рубинштейна. Видно, с моей помощью Довлатов решил как-то сориентироваться в нынешней литературной жизни. Или хотел «сфотографироваться» на всякий случай? И вышло! На самом деле – он собирал о нас материал, из которого получилась потом «Невидимая книга» – первая его заметная публикация. И многие, кто, казалось, тогда преуспевал и смотрел на Довлатова свысока, – останутся в литературе лишь как персонажи той книги. Он кидал нас в свою книжку. Он – копил. «Фотография» моя в его воспоминаниях сохранилась: о моей любви и хождениях с гусеницей, к которой я потом охладел. Что-то в духе моих ранних рассказов, в том числе и устных, он, безусловно, схватил. Мое воспоминание проще: мы купили в гастрономе на Рубинштейна бутылку и пошли к нему. Помню тесную комнату, большую

часть которой занимал огромный дореволюционный буфет. Такой же стоял и дома у нас. Довлатов достал стопки и собирался разлить – но тут вошла его мама, Нора Сергеевна, Я встал, поклонился. «Познакомься, мама, – сказал Серега. – Это Валера Попов!» – «Хорошо, что Попов, но плохо, что с бутылкой». «Это моя бутылка!» – Сергей мужественно взял вину на себя. «Нет, моя!» – мне не хотелось уступать ему в благородстве. «Если не знаете чья, значит – моя!» – усмехнулась мама и унесла бутылку. Еще один довлатовский сюжет.

Потом я еще несколько раз встречал Довлатова в алкогольных парах. Понемногу Довлатов снова стал заметен и всем привычен. Но все как бы стояло на месте, все порывы заканчивались ничем. Как четко сформулировал сам Довлатов: «Чем ни закусывай – блюешь все равно винегретом».

В июне 1966 года у Лены и Сережи родилась дочь Катя. Это событие, безусловно, было спасительным для Сергея.

Катя заставила Довлатова как-то собраться. Да, образцовым отцом и заботливым семьянином Довлатов не был. Порою носил грудную Катю в большой сумке, ходил по делам, вынимал из сумки бумаги – и люди с удивлением видели, что там еще находится и грудной ребенок. И тем не менее именно Сергей вдруг как-то оказался главной нянькой маленькой Кати – в садик и в поликлинику по ее делам ходил именно он, когда она стала ходить, в основном он гулял с ней, на ходу сочиняя сказки и детские стишки. Потом он же добился, чтобы Катя (как когда-то он сам) попала на лето в знаменитый Артек на Черном море. Катя в жизни Довлатова – главная отрада, любовь, а в конце (и особенно уже после его смерти) – помощница и «хранительница». И когда Сергея заносило – о ком он больше всего вспоминал? О Кате!

Вспоминаю встречу: Я иду по Садовой мимо розового Инженерного замка, навстречу мне идут два красавца: изящный – Толя Найман, огромный – Сережа Довлатов. Лето, тепло... левой мощной рукой Сергей грациозно-небрежно катит крохотное креслице с младенцем.

– Привет!

– Привет. Вы куда? – спрашиваю я.

– В Летний сад.

– А я – на Зимний стадион!

Быстро, на ходу сверкнули слова – пусть не алмазные, но для мемуаров вполне пригодные.

Тогда, при встрече на Садовой, рядом с ним шел Толя Найман. Пара не хуже, чем Герцен с Огаревым – тогда речи Толи Наймана оказывали на Сергея определяющее влияние. Толя постоянно пугал Довлатова тем, что он вот-вот станет «современным прогрессивным писателем», борющимся за назревшие в обществе перемены и т. д. – и слава богу, уберег.

Высокие, я бы сказал – снобистские требования к литературе, вообще свойственные надменным ценителям той поры, бывали порой обидны для начинающего писателя (чего они все этим Набоковым тычут?), но для закалки необходимы. Мнением снобов, представляющих на самом деле лишь тончайшую пленку над глубинами жизни, при этом не желающих считаться больше ни с кем и не желающих знать реалии ни жизни, ни литературы, – чаще всего только их мнением и создается литературный авторитет и успех. Так было и тогда, и сейчас. Снобами в Ленинграде, особенно среди тех, кто как-то связан со словом, были практически все – и даже те, кто на работе писал передовицы, – вечером

стягивали с полки Кафку или Набокова. И чем ничтожнее был этот сноб, чем рванее была его обувь – тем он был строже и неумолимей. Какая там «вохра», на вкус которой решил Довлатов ориентировать свои сочинения! Тут шакалы другие! И куда деться от них? Они судят тебя! Даже если работают, скажем, в комиссионном магазине – ниже Набокова им никого не подавай! Такой литературный настрой и хорош, и плох. И надо угодить им – иначе никогда ты «не будешь в списке». Но они твоих книг не купят – им придется с поклонами дарить, и при этом надо как-то не забыть про нормальных читателей, которые захотят твою книгу купить, при этом снобы не простят тебе ни малейшей занятельности – фи! И вот кто на самом деле будет главным судьей твоей литературы! Им, наглым и ленивым, ты должен понравиться!

Считаю – именно поэтому Довлатов так долго не выходил окончательно со своей «Зоной», думая и просчитывая, – надо было, при всем ее большом объеме, точно вдеть ее в «игольное ушко», чтобы не проиграть самый ценный имеющийся у него материал.

Но между тем – лучшего времени для того, чтобы стать хорошим писателем, в нашем городе – да и в Москве, не было и уже вряд ли будет. Сейчас-то намного трудней, и безнадежней – литературу вообще стирают в порошок, чтобы втюхивать «конвейерные» издательские поделки. А тогда – совсем иное было умонастроение – литература была в цене и привлекала лучших. И – привлекала.

Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имажинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книгобек», 2016), а также двух собраний сочинений – Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книгобек», 2013) и Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016), автор биографии «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2019), двух стихотворных сборников. Литературоведческие статьи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Homo Legens, публицистика – на порталах «Свободная пресса», «Кашин», «Перемены», Textura и «Rara Avis: открытая критика».

Живёт в Химках.

НОРМАЛЬНЫЙ, КАК ЯБЛОКО

Главы из биографии Леонида Губанова

В кругу концептуалистов

В 1974 году мастерская художника Бориса Орлова распахнула свои двери и гостеприимно принимала представителей московского андеграунда. Там читали Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, туда заходили Губанов, Алейников и Лён. Бывал там и Дмитрий Александрович Пригов.

Именно здесь наш герой знакомится с концептуалистами. Как поэты (и художники) они вряд ли интересовали Губанова, потому что вместо точёных рифм, зубодробительных образов, потрясающей звукописи они видели поэзию (и искусство в целом) как определённый концепт, который можно выразить минимальным содержанием – через фразу, канцелярский текст, схему, жест, ряд советских штампов и что угодно ещё.

Татьяна Михайловская вспоминала об одном из коллективных творений, созданных в мастерской Орлова:

Сохранились машинописные “кунштюки” (бумага уже пожелтела...) того периода, например, длинный – на весь лист – перечень: секретарь парткома... такой-то, секретарь профкома... такой-то, секретарь Сталина... Поскребышев, секретарь Джойса... Беккет, секретарь Пригова... Орлов и так далее до полной глупости: секретарь знамени, секретарь вымени...

Эти «кунштюки» напоминают сразу и полусерьёзные бюрократические списки смогистов со штурмом Кремля, их по-настоящему концептуалистские вывески на вечере в библиотеке им. Фурманова – «Пей сырую воду!» и «Не пей сырую воду!» – и своеобразные тексты Пригова. Один из них называется «Представители красоты в русской истории и культуре»:

1. Самый красивый русский царь – Николай II.
 2. Самый красивый русский святой – Дмитрий. <...>
 10. Самый красивый русский учёный – Лебедев.
 11. Самый красивый русский поэт – Надсон.
 12. Самая красивая русская поэтесса – Павлова. <...>
- Самый красивый русский человек – Христос.

Нетрудно заметить, что «русскость» у Пригова* и компании часто идёт в ироническом ключе. И это не могло не вызвать отторжение у Губанова. Но, несмотря на это, поэты периодически виделись, выпивали, читали друг другу стихи. Точно известно, что было совместное выступление на вечере памяти поэта Николая Шатрова**. А в остальном – по минимуму.

Лев Рубинштейн размышлял, отчего так произошло:

Я знал Лёню Губанова, Владимира Алейникова. Они были старше вообще ненамного, на пару лет всего. Но почему-то они казались мне людьми другого поколения. Может быть, потому что они стали известны чуть ли не в школьном возрасте. Они такие юные гении были, а я был запоздалый, и я на них смотрел как на старших.

Отношения складывались не очень ещё и потому, что Губанов и Алейников – «сильно пьющие мальчишки», как замечал Сапгир. Известно, сколько может выпить русский человек, а уж если он поэт, пиши пропало. Но удивительно, как на фоне тоже пьющих и пьющих немало коллег выделялись смогисты.

Борис Орлов вспоминает о других мастерских – Эрика Булатова и Ильи Кабакова – и тоже отмечает алкогольные нотки:

Пригов легко шёл на завязывание контактов и умел эти контакты надолго сохранять. <...> Первые литераторы, которых он привёл к нам в мастерскую, были литераторы 1960-х годов <...>: Слава Лён, Лёня Губанов, Владимир Алейников... С двумя последними наша дружба не завязалась, они выпить любили.

Владимир Сорокин проговаривает всё это чуть откровенней:

* Возникает забавная рифма с принципиально важной для Губанова «Юностью». Евгений Попов расписывал: «Я, когда с Приговым познакомился в 1980 году, то совершенно не знал, кто он такой. Ибо был он тогда полностью сформировавшимся продуктом андеграунда, где считалось хорошим тоном сказать: “Стихи твои, товарищ, такое говно, что их можно даже и в журнале “Юность” напечатать”. – Подробнее см.: Попов Е. Это наш Пригов, это наш Пригов... // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007). М.: Новое литературное обозрение, 2010.

** Николай Владимирович Шатров (1929–1977) – поэт, переводчик, муж советской художницы М.Р. Димзе (1920–2015).

[Московский] андеграунд был разный очень. Этим он отличался от питерского андеграунда, где все варились в одном котле. Были фракции, где пили гораздо больше. Шестидесятники, художники круга Зверева, смогисты: Алейников, Губанов – они пили, конечно, круче, чем мы. Мы больше работали. Я один раз в жизни только попытался написать что-то в пьяном состоянии. Это было вечером. Утром я прочитал и понял, что больше никогда не буду это делать <...>. Сбивается прицел как бы. Хотя вот Губанову это не мешало, да и Есенину, я думаю, тоже.

Один из характерных эпизодов попойки в той компании описывает Борис Козлов:

В голом диване царствует бомонд: Губанов, Алейников, Зверев... Нелепейший из добрейших хозяин со сносным удовольствием потакает метанию посуды в почти закрытое окно... И когда в пространство летит початая «Кубанка», спущенная осуровевшим Тимофеем (одна из зверевских «кликух»), и когда уже жить теперь незачем, и когда все ждут последнего взрыва... – потусторонний тротуар безмолвствует, там никто не убит, а в дверях вдруг возникает всепонимающий стройбатовец со счастливо спасённой бутылкой... Бумеранг возвращается, но Тимофей уже далеко, он «по-доброму» спит меж двух уютных пружин.

Уютные пружины – понятное дело, Губанов и Алейников.

В романах Сорокина

И надо сказать, что если фигуры Губанова, Алейникова и прочих смогистов и их творчество никак не повлияли на Пригова и Рубинштейна, то точно сказались на Владимире Сорокине. Его привлекали те же “нравственные качели”, о которых мы уже говорили, порой смогисты целой толпой врывались в его романы, а иногда нежные женские образы ходили босиком по его текстам.

Сорокин всегда отделял жизнь от искусства, не пытался играть в жизнетворчество. Он рассказывал:

Мы знаем немало случаев, когда люди, в творчестве очень деликатные, в жизни вели себя брутально, как чудовищные свиньи. Скажем, Есенин или Лёня Губанов, писавший о высоком и бывший притом тяжелым алкоголиком. Конечно, их поведение во многом определялось внешними причинами: есенинское было характерно для эпохи русского модерна, а Лёнино – для членов Объединения самых молодых гениев (СМОГ), одним из вдохновителей которого он был. Круг людей, где я оказался двадцатилетним, был совершенно иным. Московские концептуалисты вели не богемный, а достаточно академический образ жизни. Мы были очень заняты, много работали, имели семьи. Всем этим мы отличались и от “смогистов”, и от питерской богемы. Времени для запоев не было, хотя мы могли позволить себе и выпить, и погулять*.

* В вот те же мысли, но в сорокинском эссе «Между»: «С цунами и хаосом все более-менее ясно: энтропия лишает человека бытовой и экзистенциальной опоры, вызывая у него панику и фрустрацию. Хаос в чистом виде любят очень немногие. Хоть Бродский и написал «Ихъ либе жизнь и обожаю хаос», сам он, однако, предпочитал комфортный и упорядоченно-предсказуемый стиль жизни. Хаос богемной жизни предполагает опору в творчестве. Модильяни, Верлен, Бодлер, Есенин, Паунд,

И несмотря ни на что, смогисты надолго селятся в текстах Сорокина. Вот они проскакивают в «Тридцатой любви Марины» – как борцы за свободу мысли, слова, жеста, действия – и в конце концов России. Один из персонажей – Митя, любовник заглавной Марины, диссидент, тесно общавшийся с Буковским и Есениным-Вольпиным – в приведённом ниже отрывке вспоминает Делоне, Батшева, Вишневскую, Губанова, Каплана*, Мошкина и других людей из круга смогистов:

[Митя] рассмеялся:

– Да я сейчас чего-то стал начало вспоминать. Как у нас все это закрутилось.

– Когда?

– Давно. Году в шестьдесят седьмом. Когда у памятников читали.

– Смогисты?

– И не только.

Он рассмеялся:

– Боже, какую чушь читали...

– Не помнишь наизусть? – спросила Марина.

– И не хочу вспоминать. Тогда все были на чём-то помешаны. На джазе, на битлах, стихах, турпоходах. А как читали, с ума сойти. Вадик, я помню, свою поэму читал. «Скрипки Мендельсона»**. Не читал – пел, заходил. И все так. Андрюша: «Реприза, мальчики, реприза. Давайте снова повторять, зальём безводные моря слезами девочек капризных»*** ... Юлька, Лёня, Мишка. Все нараспев, как акафист.

Он улыбнулся, глядя в окно:

– А пьянки какие устраивались. Помню, у Вовика, мы только-только с ним познакомились. У него две комнаты было, на Рылеева, кажется. И вот, представь, твой покорный слуга пьёт из горлышка вино, сидя на полу, рядом гитарист Эльбрус швыряет пустые бутылки об стену, они разлетаются вдребезги над курчавой головой Юльки, она смеется, вся в стеклянных брызгах. А поодаль пьяный Вовик, присев на низенький сервант, держит перед пьяным Валеркой шпалер и уговаривает спрятать.

– Вовик? У него был пистолет?

– Да. Правда – без патронов. А потом – все пьяные наперебой читать. Я, Юлька, Валерка, Андрюша...

Замолчав, он потер переносицу:

– М-да... все перед глазами стоит...

– А демонстрацию первую помнишь?

– А как же.

Зверев, Губанов отдавались хаосу в промежутках между творческими актами, требующими соблюдения четкой иерархии ценностей, мастерства и абсолютного Порядка. Следовательно, чистыми жрецами Хаоса они уже не были». – Подробнее см.: Сорокин В.Г. Между // Сноб. UR: <https://snob.ru/selected/entry/15403/>.

* Упоминается некий Миша, но вряд ли речь идёт о Михаиле Соколове или Михаиле Елизарове: раз затрагивается диссидентский круг, значит, должен быть сподвижник Буковского – Михаил Каплан.

** Сорокин имеет в виду стихотворение «Концерт Мендельсона» Вадима Делоне: «За окном бесконечно и сонно / Дождь осенний шумел монотонно. / Ветер выл и врывался со стоном / В звуки скрипки, в концерт Мендельсона».

*** Сорокин цитирует стихотворение Андрея Монастырского, тесно общавшегося со смогистами, ненадолго увлёкшегося фразизмом, а после отдавшегося концептуализму: «Реприза, мальчики, реприза, / Давайте снова повторять, / Зальём безводные моря / Слезам девочек капризных. // А скрипачи-то, скрипачи, / На расшатанных подмостках, / Плыви, плыви печальный остров, / Рахит на клавишах, бренчи!»

– Расскажи, ты никогда не рассказывал.

– Ну, собрались у Вовика. Он нам все объяснил. Боря плакат написал. Синим по белому. Доехали на 31-м до театра. Вышли. И тут Алик пошел пописать в подворотню дома, знаешь какого... этих, двух рабочих, погибших в 1905-м году. Вот. Мы ждем. Минут пять прошло, его нет. Ждём дальше. Тут Вовик говорит: «Ладно, ребята, голова не должна страдать». Пошли без него. А тогда снежок поросил, вечер, январь. В шесть подошли к памятнику Пушкина. Встали в кружок. Было два плаката. Один – СВОБОДУ ГИНЗБУРГУ, ГАЛАНСКОВУ, ЛАШКОВОЙ, ДОБРОВОЛЬСКОМУ! Другой... дай бог памяти... ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ СТАТЬИ 190-1! Вот... Взяли. Развернули. Минуты две постояли, и тут же справа два гебиста. У одного, я помню, галифе, в сапоги заправленные. Он у Вадика стал выдирать плакат, а тот его ... палкой. Тогда Вовик свой свернул и нам: уходим. Пошли к остановке троллейбуса. Подъехал, влезли. А за нами – гебист. Мы вылезли в переднюю дверь и опять в заднюю. И он за нами. Лезет в дверь. Тогда Вовик подбежал и ногой ему впаял. Тот упал, дверь закрылась, троллейбус пошел. А через неделю у меня обыск, потом два вызова, и закрылилось...

Он замолчал, поглаживая узкую руку Марины:

– Главное, никто из нас, кроме Вовика, не понимал, с чем мы имеем дело. Что это не просто продолжение наших поэтических пьянок, а открытое столкновение с чудовищной машиной тоталитарного государства. Словно подошли к дремлющему дракону дети и щелкнули его по носу...

– А он проснулся и огнем на вас дохнул.

– Да...

Митя помрачнел, лицо его осунулось.

Долго молчали.

Он вздохнул:

– Да. Хоть мы и были детьми, дразнящими дракона, наши страдания не бессмысленны...

И помолчав, добавил твердо, словно вырубив:

– Россия поднимется. Я в это верю.

А вот в 1989 году появляется подборка смогистов в газете «Советский цирк». У Губанова выбрали два текста – «Потухая, вытряхали из избы...» (1963) и «Стихотворение о брошенной поэме» (1964). Нас интересует первое – Сорокин вполне мог услышать его на одной из общих тусовок:

Потухая,
Вытряхали из избы
Чей-то крик и чьё-то сломанное тело.
Всю планету избрюхатить и избить –
То ли дело.
Новосёлом было горе и обидчиком,
Шли по сёлам, как по горенке, опричники,
Хохотали, были песни непристойные,
Животами подымали столики.
Ой-люди, вдова, со печи привстань!
Полюби, вдова, мои уста,
Мои руки, мои губы, буйну кровицу.
Хватит корчить, потаскуха, Богородицу!
У берёзок были слёзы по очам
Белых баб, святых колодцев и хибарок.
Русь стояла на китах да на иванах,
А в историю плыла – на палачах.

Вы уже догадываетесь, с каким текстом Сорокина рифмуется это стихотворение? Не отсюда ли некоторые сцены из «Дня опричника»? Приведём для сравнения фрагмент:

Миг – и закачался Иван Иванович в петле, задержался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из столбового дух изыдет.

Треть дела сделано. Теперь – жена. Возвращаемся в дом.

– Не до смерти! – как всегда, предупреждает голос Бати.

– Ясное дело, Батя!

И дело это – страстное, нам очень нужное. От него силы на одоление врагов государства Российской прибавляется. И в деле этом сочным своя обстоятельность требуется. По старшинству надобно начинать и кончать. А стало быть – я первый. Бьется вдовица уже покойного Ивана Ивановича на столе, кричит да стонет. Срываю с неё платье, срываю исподнее кружевное, затейливое. Заламываю Поярок с Сиволаем ей ноги белые, гладкие, холёные, держат на весу. Люблю я ноги у баб, особливо ляжки да пальцы. У жены Ивана Ивановича ляжки бледные, с прохладцей, а пальчики на ногах нежные, складные, с ноготками холёными, розовым лаком покрытыми. Дергаются бессильные ноги её в сильных руках опричных, а пальчики от напряжения и страху дрожат мелкой дрожью, топорщатся. Знают Поярок с Сиволаем слабости мои – вот и задрожала ступня женская нежная у моего рта, и забираю я в губы дрожащие пальчики, а сам запускаю в лоно её лысого хоря своего. Сладко!

Удивительно, но даже в футфетише возникает пересечение с Губановым, у которого эта тема проникает и в стихотворение «Мы идём с тобой низами...»:

Так целует грешник в страхе
Ножки стёртые – мадонн,
Изнывая, как на плахе,
Когда совесть бьют кнутом.

...и в стихотворение «Опять в душе, где сплетни и плетни...»:

Пусть будет и лохматой и обидчивой,
немножко пьяной, и немножко нежной.
И, пуговицы на пальто отвинчивая,
Пусть у нее сдадут немножко нервы.

Нем. Ножку я поцеловал случайно.
Она была под скатертью, под скатертью.
Да здравствует живое и печальное
лицо твоё у памяти на паперти!

...и в стихотворение «Я к ногам твоим бросаюсь...»:

Я к ногам твоим бросаюсь,
Словно одичавший пёс,
Я губами их касаюсь,
Орошаю гроздьё слёз.
А они дрожат, трепещут,
Как берёзки на ветру.
О, неслыханные вещи –
Губки алые клеветают,
Что уйду я поутру.

И вообще эта тема с завидной периодичностью появляется в стихах. Образ красивый, сексуальный. Откройте какой-нибудь доступный сборничек Губанова – перечитайте. А мы пока вернёмся к биографии – в зону турбулентности и безвременья – и поговорим о пересечениях с, пожалуй, самым важным прозаиком советского андеграунда.

Венедикт Ерофеев

Аркадий Агапкин рассказывал, как в начале 1972 года у него возникли проблемы с трудоустройством. На помощь пришёл «любимый первенец» Ерофеева – Вадим Тихонов. Он работал бригадиром пропитчиков во Всесоюзном добровольном противопожарном обществе Зарайска. В обязанности этой бригады входили работы со специальной смесью, которой надо было смазывать и пропитывать чердаки и подвалы.

Работа не пыльная. На этой ниве успели потрудиться многие и многие знакомые и друзья Тихонова. 80% зарплаты уходило ему, а «мёртвым душам» – штамп в трудовой и оставшиеся 20%.

Впрочем, дадим слово Агапкину:

Трудностей с зачислением Лёни «мертвецом» в бригаду Тихонова не возникло. И где-то с полгода, раз в месяц, мы ездили по маршруту Москва – Голутвин (электричка) – Зарайск (автобус или такси – рубь с носа). Обратно возвращались при деньгах и навеселе.

Сорок рублей за так да небольшая поездочка в Подмоскowie – чудо и только!

И то ли Тихонов, то ли Величанский* познакомили Ерофеева со смогистами**. Но вот какое дело: многие говорят об их общении, а конкретики никакой не осталось.

Кублановский рассказывал***:

Веня помнится как очень яркий, колоритный человек. Но у него были странные вкусы. Однажды утром мы случайно встретились у Центрального телеграфа.

* Слава Лён: «Величанский ссорился и мирился с Губановым и Кублановским, познакомил смогистов с Венедиктом Ерофеевым и его гениальными “Петушками...”» – Подробнее см.: Лён С. Посмертная слава Величанского // Сайт Александра Величанского. URL: http://a-velichansky.ru/articles/about/slava_len/.

О ссорах с Величанским писал Алейников: «...как-то не очень ладили (по какой конкретно причине, теперь сказать невозможно) <...> друг с другом Губанов и Величанский. Ревностно и придирчиво, не скрывая своих настроений, относились один к другому. Подмечали, каждый по-своему, всякий раз, у того, другого, какие-нибудь забавные черты, повадки, словечки – и не ленились этого, другого, изображать, среди своих, разумеется, в дружеском, узком кругу. Но, конечно же, оба они прекрасно, давно понимали, что каждый из них, ревнивцев, задир, – настоящий поэт». – Подробнее см.: Алейников В.Д. СМОГ // Собрание сочинений в восьми томах. М.: Рипол-Классик, 2015. Т. 6.

** Ирина Нагишкина писала: «Из последних встреч. Звонки. Дудинский: “Скорее ко мне, на Академическую, у меня Ерофеев”. Мчимся с Полиной. И так было хорошо: мягкий свет, мало народа, Венчик говорил, что любит Губанова, что будет пьеса “Фанни Каплан”». – Подробнее см.: Нагишкина И. [Воспоминание о В.В. Ерофееве.] // Про Веничку: книга воспоминаний. М.: Пробел, 2008.

*** Ю.М. Кублановский рассказывает об этом в фильме «Дуэль с Родиной» (реж. Вяч. Лагунов).

Он снимал там где-то какую-то конуру. В 11 часов взяли бутылку водки и пошли к нему. И вот он всё тогда ставил и ставил вышедшую тогда виниловую пластинку Беллы Ахмадулиной – он находил в ней что-то невероятное. Всё говорил: «Ты послушай, послушай!» Тот, кто так любит поэзию Ахмадулиной, вряд ли может увлечься энергичным потоком поэзии Лёни Губанова...

Сохранились прекрасные истории о похождениях Тихонова и Губанова, а Ерофеев в них маячит где-то на периферии. Понятно, что без него нельзя было обойтись. Одну из таких историй поведала Лидия Любчикова:

[Губанов был] совершенно безобразный. И там ещё кто-то, все такие были аферисты – Лёня Губанов, например, сапоги купил тогда у Тихонова дамские <...> для каких-то своих знакомых, [Тихонов] из Владимира привёз свадебные сапоги своей мамы. Мамаша венчалась в этих сапожках. Тогда были в моде такие сапожки, почти до колен, на хорошеньком каблучке, очень хорошо, красиво сделанные, из хорошей кожи, чёрные, и у них была мода такая – была шнуровка, и, причём, какая – был длинный язык до конца, сюда, а шнуровка идет поверху и причём язык – ну, такой, сильный вырез, что язык тут вот середину закрывает выреза, а тут остаются голые места и по ним вот так вот шнурется <...> Мамаша дала Тихонову и говорит: «Продай в Москве мои сапоги, может быть, ты мне денег пришлешь много...» А тут приходит Лёня Губанов. А Тихонов как раз чего-то эти сапоги вытащил, их печально разглядывает: «Куда я с этими сапогами пойду?» Лёня Губанов говорит: «Ну-ка, дай-ка их сюда!» Через пять минут возвращается. «На!» – говорит и даёт пять рублей. <...> ну, тогда, конечно, мамаше никакие эти пять рублей не стали посылать. Я ей потом побольше послала с Тихоновым, когда он поехал. И то не знаю, довёз он или нет.

Ирина Бахчанян, жена известного художника, рассказывала, мол, когда они с Вагричем снимали квартиру на Пушкинской площади, к ним часто заходили по дороге куда-нибудь и откуда-нибудь друзья-знакомые. И Ерофеев, и Губанов, и Марамзин, и Лимонов и т. д.

Дадим слово этой женщине:

Я помню, что однажды у нас была совершенно фантастическая встреча, причем началась она без Вагрича, он в это время был в редакции. Сначала пришел петербургский поэт Сергей Вольф, потом зашел Марамзин, потом – Веня Ерофеев со своим пожарником, потом – Халиф, потом зашёл Лёня Губанов, потом – Стаинский. Причём Стаинский пришел с бутылкой очень плохой водки, и для многих эта водка оказалась совершенно не по зубам – можно было отпить, и тут же начинало тебя колотить, потому что она была ни к чему не годная. Когда Вагрич пришёл и увидел всю эту компанию, ему просто стало дурно.

Владимир Ильин рассказывал, как Губанов приводил к нему Ерофеева, и при этом они вместе просто пили чай – настолько тихая, изысканная и светская была атмосфера в доме:

Я помню вечер, когда Лёня привёл Венедикта Ерофеева (где-то за месяц до этого я уже слышал «Москву – Петушки» в его чтении дома у Саши Васильева). Хотя на полке было много редких библиофильских книг (Кузмин, много Ремизова, Клюев, «Петербург» <Белого> и т. д.), Ерофеев в этот вечер взял у меня книгу Андрея Белого «Офейра» – видимо, ему были интересны путевые заметки (как он её вернул – то ли сам, то ли через Губанова, не помню, но вернул точно). Ерофеев был в прекрасной форме, тогда трудно было предугадать его будущее.

Удивительно, что у Ильина ничего из книг не скомуниздили. А может, он просто этого не заметил. И Губанов, и Ерофеев, и их общий друг Тихонов – могли спокойно взять что-то из чужой библиотеки и продать букинистам. Один подобный эпизод расписывала Лидия Любчикова:

У них был Кара-Мурза в знакомых, какой-то родственник вот этих, старинного рода Кара-Мурзы. Они его ограбили жутко тогда. То есть он задумал у себя в доме навести порядок и очень много выбрасывал старых дореволюционных журналов, каких-то совершенно уникальных, книг каких-то. Они ему помогали, вроде под видом того, а сами их воровали и ходили торговали ими. А потом покупали вино, приходили ко мне, а я ещё не знала этого, и, значит, поднимают бокал, чокаются и говорят: «Кара-Мурза, Кара-Мурза». И, значит, пьют. Что за Кара-Мурза такая? Я знала только одного Кара-Мурзу, который написал романс «В небо широкое, глядя задумчиво...» Другого Кара-Мурзу я никакого не знала, говорю: «Неужели это, вот, от этого?» – «Да, это его какой-то там родственник». И вот этого родственника они грабили. То есть совершенно беспардонный народ.

Владимир Алейников в «Седой нити» припоминает эпизод одной культурной посиделки в гостях у Анатолия Зверева. Пока художник спал на расстеленной газете, вокруг него выпивали Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Леонид Губанов, Пётр Беленок, Владимир Пятницкий, Леонард Данильцев. И, конечно, сам Алейников. Но поверить конкретно в это собрание не получается, потому что слишком уж оно туманное, смогистское, придуманное. Наверняка нечто подобное было, но...

Но надо найти достоверные свидетельства, а не обращаться к художественной прозе. За неимением оных обратимся к любопытным параллелям и пересечениям.

Лев Дубницкий, лечащий врач и Губанова, и Ерофеева, уловил такое сходство в самоидентификации:

Если Венечка Ерофеев <...> измерял степень одарённости количеством водки, которой угостил бы поэта («Высоцкому – полный стакан»), то для Л. Г. измерителем служило собственное тело. Андрюха (Вознесенский) – до колен, Евтух (Евтушенко) – по яйца. Вровень с собой ставил только Есенина и Рыжего (Бродского).

Слава Лён по одной ему известной причине решил мистифицировать отношения двух гениев и как-то в 1990-е стал рассказывать, мол, Губанов пропил одну из рукописей Ерофеева:

Если едешь в электричке навеселе, да еще не один, а с пьяным Лёней Губановым, – возможно всякое. Рукопись не пропала – она была просто-напросто украдена Губановым и потом продана за бутылку. Сам Ерофеев был убежден, что роман исчез безвозвратно, а те немногие, кто знал об этом, не могли ничего сказать – с Лёней они были связаны клятвенным обещанием молчать.

Естественно, Лёна вскоре поймали на выдумке. Но главное в этой истории, пожалуй, и вынесенные на первый план тесные отношения

* Василию Белову – ни грамма; Виктору Астафьеву – 15 грамм; Распутину – 150 грамм; Владимиру Войновичу – две или четыре рюмки; Андрею Битову – полстакана; Василию Быкову, Алесю Адамовичу, Белле Ахмадулиной, Владимиру Высоцкому – полный стакан; Юлиану Семенову – воды из унитаза.

поэта и прозаика, и сама возможность такой ситуации. Воистину! Если б Лён ничего бы такого не говорил, подобную историю стоило бы выдумать!

При том ритме жизни, который был у неподцензурных литераторов, немудрено было попасть в больницу. Случалось, что оказывались там одновременно и Губанов, и Ерофеев. Андрей Бильжо рассказывал:

Однажды Ерофеев лежал в Кащенко одновременно с Лёней Губановым, но интересно, что они держались в стороне друг от друга. Мне это было как-то странно: мне казалось, что они должны были быть близкими друг другу.

Что могло между ними произойти – вопрос. Может быть, не поделили сферу влияния в рамках одной мастерской? Оба любили быть в центре внимания. Может, кто-то резко высказался в адрес другого? Говорят, в архиве Ирины Губановой хранится то ли пародия на «Москву – Петушки»*, то ли статья об этой поэме. А могло быть ещё бог знает что.

Губанов, прочитав главный ерофеевский текст, мог приревновать, разглядев в нём заимствования из «Полины». Судите сами – вот для начала известнейший отрывок из «Москвы – Петушков»:

Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается... Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутраченной заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навекате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса.

С известной долей иронии и одновременной влюблённости в свой народ Ерофеев выдаёт такие пассажи. Литературоведы, конечно, отмечают, что «пустые и выпуклые глаза» восходят к одному образу из стихотворения Пастернака:

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

Сохранились записные книжки Ерофеева, и в одной из них находят-ся как раз-таки эти строчки.

* Показания Льва Алабина говорят в пользу пародии: «Однажды пришел, а Лёня читает по телефону бесконечный текст в подражание Ерофеевским “Петушкам”. Предлагает и мне послушать. Сажу в кресле слушаю, а он читает в трубку какой-то девушке и какие-то комментарии вставляет еще. Читает с отпечатанных на машинке листов. Читает час... и конца нет. А текст – графоманский. То есть просто поток чуши и белиберды. Говорит, что так Ерофеев может левой рукой написать. Зависть славе Венечки, слышать неприятно. Да и текст настолько больной, что ухожу, не дождав-шись конца. А девушке на том конце провода вроде бы нравится». – Подробнее см.: Алабин Л. Филон бессмертья // URL: <https://proza.ru/2016/07/19/1296>

Поэма «Москва – Петушки» написана в 1970 году. И можно предположить, что автор, эрудированный, образованный, следящий за современной ему литературой, мог прочесть губановскую «Полину» в самиздате или услышать её чтение самим Губановым или одним из студентов, чтецов, исполнителей бардовской музыки – и зацепиться за эти строчки о «продажных глазах» – по мамлеевскому выражению «в мире голого чистогана» (выписок из стихотворений смогиста не обнаружено, но это не отрицает саму возможность чтения):

Так валят лес. Не веря лету.
Так, проклиная баб и быт,
Опушками без ягод слепнут
Запуганные верой лбы.
Так начинают верить небу
Продажных глаз, сгоревших цифр.
Так опускаются до нэпа
Талантливые подлецы.

Может, Губанов узнал не только позаимствованные строчки, но и себя?

Марина КУЛАКОВА

Родилась в Горьком. Окончила филологический факультет Горьковского госуниверситета и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А. М. Горького. Работала учителем в сельской школе, занималась газетной, теле- и радиожурналистикой в Нижнем Новгороде. Была инициатором создания и соредактором журнала *Urbi* (1991).

Публиковалась в журналах «Нева», «Москва», «Новый мир», «Нижний Новгород» и других. Автор ряда сборников стихов и эссе. Стихи переводились на сербский, немецкий, английский, грузинский, армянский языки.

Руководитель объединения «Светлояр русской словесности». Член Союза российских писателей. Живёт в Нижнем Новгороде.

ОН ПОЛАГАЛ, ЧТО СТИХИ – ТОЖЕ МАШИНЫ...

По прочтении книги Валерии Белоноговой «Утренний человек Даниил Хармс» . Н. Новгород: ДЕКОМ, 2020

Книга Валерии Белоноговой «Утренний человек Даниил Хармс», вышедшая в издательстве ДЕКОМ – легко и интересно написанный, контекстуально насыщенный очерк жизни и творчества одного из самых странных и мифологизированных поэтов первой половины XX века в России.

Большинство сегодняшних читателей, исключая совсем юное поколение, знает Хармса как детского поэта, стихи которого читала и пела на все лады знаменитая в 70-е годы всесоюзная передача «Радионяня».

Моё поколение филологов, например, имеет некое представление, – очень конспективно, по краткому упоминанию объединения ОБЭРИУ в университетском курсе среди пёстрой картины литературной жизни России 20–30-х гг. двадцатого века.

Кроме того, вспоминаются диковатые абсурдные спектакли по Хармсу в оживлённой театральной жизни конца 80-х, – я видела «Елизавету Бам» в одной из студий в Москве.

Чисто нижегородское явление – прообраз будущих фанфиков – «хармсинки» Вадима Демидова появились тоже во второй половине 80-х, добавив мифологизма, но не ясности. Творчество Хармса и память о нём клубились туманами абсурда и каких-то тревожных недоговоренностей.

Несмотря на некоторое знакомство с контекстом жизни героя, для меня книга Валерии Белоноговой стала открытием личности и судьбы Даниила Хармса (Ювачёва), а также его отца – Ивана Ювачёва, – народовольца, политкаторжанина, в поздние годы – религиозно-мистического писателя, «толстовца», в советское время сотрудника Красного Креста, – на эксцентричного сына совсем не похожего.

Утренний ли человек Даниил Хармс – для меня лично большой вопрос и очень спорное утверждение, но я как читатель доверилась автору и попробовала посмотреть на героя под её углом зрения. Для Валерии Белоноговой импульсом именно к такому – безусловному, любовному – приятию Хармса послужил давний студенческий вечер на Петербургской стороне с Александром Мирзаяном, его прочтение и рассказ о поэте. Автор говорит об этом во вступлении.

Камертон восприятия для читателя/слушателя очень часто задаёт первый, кто озвучивает, читает поэта вслух, отбрасывая на происходящее сильный отсвет своей личности, и я вполне понимаю, что Мирзаян может очень сильно интеллектуально облагородить и повлиять на восприятие.

Мои детские и юношеские недоумения по поводу Хармса были далеко в прошлом, и я с интересом открыла книгу и прочитала её. Но – камертон был свой.

Если о книге в целом, – то, пожалуй, – ключом её прочтения послужил рукописный текст Хармса (эпиграф? – на форзаце... впрочем, повторенный и в конце, значит, скорее, рефрен, настойчивое предупреждение). Благодаря дизайнерской концепции книги он воспроизведен с фотодокументальной точностью: на обшарпанной двери кнопкой прикреплён листок, на нём собственной рукой героя начертано: «У меня срочная работа. Я дома, но никого не принимаю (орфография Хармса, выделено мной. – М.К.). И даже не разговариваю через дверь...»

Для меня здесь, на первой же странице, ещё до вступления в авторский текст, сразу определились две вещи: Даниил Ювачёв-Хармс – демонстративный социопат, это первое.

И второе, очень важное: ошибка в корне слова. У Хармса, оказывается, нет глубокого корневого слуха в русском языке, который, по сути, и есть природный талант, языковой поэтический дар. У него присутствует дар версификации и очевидный музыкальный слух, – чему вполне справедливо посвящена добрая половина книги, но это другое.

Если для вас вывод мой категоричен, не очевиден и кажется случайностью, откройте следующий фотофрагмент его рукописей, например стр. 93, – и вы увидите «здравствуй здравствуй Грузия».

И речь не о знаках препинания (это совсем другая история), а именно о корневой грамотности, о чувстве слова, сразу проникающем в суть, в корень.

Неслучайно гениальный Маршак его редактировал до полного переписывания, а тот не возражал – «считая Маршака одним из своих учителей в детской литературе».

Вполне допускаю, что с детства герой англоман, а впоследствии – германофил. Английским он в детстве занимался с удовольствием, а немецкий якобы знал в совершенстве. Но что с того? С русским у него были серьёзные проблемы, и это, на мой взгляд, важнее.

«Властность» считает он важнейшим свойством писателя. На карандашном автопортрете, датированном 1924 годом (стр. 55), он странно напоминает Гитлера. Сам он в это время только поступил в Ленинградский электротехникум, который не окончил. Потом посещает

искусствоведческие курсы при Государственном институте искусств. Слушает Эйхенбаума, Тынянова, Григория Козинцева, общается с Казимиром Малевичем. Ему вообще изначально очень повезло в жизни – чудесные родители, талантливые друзья, понимающие редакторы...

Он всегда, точнее, долгое время мог позволить и позволял себе разные эксцентричные странности на сцене и в жизни, которые многим (но далеко не всем) казались милыми и оригинальными. Игра, игра, как можно больше игры!

Можно называть это театральностью, театрализацией. По зрелом размышлении я склонна называть это нравственным инфантилизмом. Декларируемая нелюбовь к детям и старикам. Особая любовь к машинам – он называл этим словом любую, даже вполне бессмысленную и алогичную конструкцию.

И полагал, что стихи – тоже машины. «...Пока известно мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры...» (из записных книжек и тетрадей 1931 года).

В книге, которую я держу в руках, нельзя не отметить своего рода дизайнерскую режиссуру – изобретательное и насыщенное художественное оформление Д.В. Жезляева. Она представляет собой род творческой партитуры – яркий экскурс в искусство и атмосферу Ленинграда 1920–1930-х годов.

Там и редакция «Ежа» и «Чижа» с их обитателями и странными нравами, и великие – Маршак, Чуковский, Шостакович в человеческом приближении, и музыка – из трёх развёрнутых глав книги третья, последняя полностью посвящена музыке в жизни Хармса.

Фотопортреты, афиши, стихи и документы соседствуют с рукописями и рисунками главного героя, одно переходит в другое. Коллажами нас не удивить, но масштабирование и указатели-руки, персты указующие – очень своеобразны. Границы визуального и текстуального размыты. Мы погружаемся в поток воспоминаний о человеке, в котором столько же «рацио», сколько «иррацио», – и пробуем его осмыслить. Иллюстрации, текст – всё резонирует и взаимонаправляет друг друга.

Эпоха в лицах, – молодые Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Владимир Хлебников, Александр Введенский, Владимир Татлин, Дмитрий Шостакович – хорошо знавшие Хармса, в портретах – драгоценнейший контент судьбы и книги.

В 1928 году к вечеру «Три левых часа» им была написана пьеса «Елизавета Бам», в центре которой арест за преступление (убийство), – о котором преступница не имеет ни малейшего понятия. Публика реагирует неоднозначно, но творческий коллектив переживает «минуту славы».

В 1931 году Хармс арестован по подозрению в деятельности антисоветской группировки литераторов, в 1932-м – как «организатор и идеолог» приговорен к 3 годам заключения по 58-й статье УК РСФСР.

Отец «отмолил» его во всех смыслах: ссылка закончилась через полгода, ему разрешили вернуться в Ленинград.

«Последние рассказы и случаи Хармса конца тридцатых годов и вообще будут полны ничем не объяснимой, чуть ли не параноидальной жестокости, иногда уже совсем не смешной...» – здесь цитирую по книге «Утренний человек Даниил Хармс».

Далее он симулирует душевную болезнь: обложившись серьёзными книгами по психиатрии, изучил течение болезни шизофрении и её симптомы. Проявление страха перед людьми, навязчивые движения,

повторение услышанного и так далее... Получает диагноз «шизофрения». После объявления о начале Великой Отечественной войны снова проходит медицинскую комиссию. Диагноз снова подтверждён. Получает свидетельство об освобождении от мобилизации и о второй группе инвалидности.

Страшные сны и предчувствия мучают его. Писательница Нина Гернет: «Последний раз я видела Даниила Ивановича в 1941 году, за два-три дня до войны. Мы сидели на крыше у окна моей мансарды. Он был как никогда серьезен и углублен в себя. “Уезжайте скорее. Уезжайте! – говорил он. – Война будет. Ленинград ждет судьба Ковентри”». Он очень хотел уехать сам, но плохо себе представлял, как это можно сделать.

Война была. Но у Ленинграда была другая судьба, Ленинград – не английский Ковентри, который немцы бомбардировками стёрли с лица земли.

«Ясновидение» – второе свойство настоящего писателя, определенное Хармсом, провело его через два ареста. Второй – летом 1941 года с обвинением: «контрреволюционно настроен, распространяет в своём окружении клеветнические и пораженческие настроения». В феврале 1942 года – в страшную блокадную зиму – Даниил Ювачёв-Хармс умер в тюремной больнице.

Писатели сами часто старательно и долго создают свой собственный образ, имидж, выбирают себе псевдонимы (Хармс – от английского harm – вред, выбран ещё в детстве) и во многом выбирают путь.

Я долго думал об орлах
и понял многое:
орлы летают в облаках,
летают, никого не трогая.
Я понял, что живут орлы на скалах и в горах,
и дружат с водяными духами.
Я долго думал об орлах,
но спутал, кажется, их с мухами.

Это последнее стихотворение Хармса, 1939 год.

Выбор есть всегда, и у читателя, и у писателя. Орлы всё-таки отдельно, мухи – отдельно. Ошибки бывают у всех, особенно в детстве, но взросление неизбежно.

Михаил СТРИГИН

Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук, автор ряда научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством.

Автор поэтических сборников. Учредитель ряда литературных проектов, в том числе детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется». Член жюри Южно-Уральской литературной премии. Живет в Челябинске.

ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ, НУЖНО ПРОЙТИ ВСЕ ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА

Елена Крюкова. «Хоспис». Роман. Екатеринбург: Ридеро, 2019

Елена Крюкова в своём романе «Хоспис» продолжает начатое в её прежних произведениях исследование бытия.

Весь роман «Хоспис» – это четырёхсотстраничная метафора *возвращения блудного сына*, где сын, сбежавший из дома ещё ребёнком, возвращается, будучи мужчиной в годах и смертельно больным. Но об этой притче мы говорить не будем.

Есть разные точки зрения на то, что отличает человека от животного, но ближе всего к истине, на мой взгляд, та, что человек означает бытие. С этим тезисом согласна и Библия: «в начале было слово». Человек придумал слова: *стол, стул, целовать*, застолбив таким образом семантические координаты, вокруг которых он научился мыслить. Дальше – больше, он начал обозначать концепты, например, декартовское деление человека на телесное и духовное. И при разделении подобным образом появилась возможность анализировать антропологическую эволюцию.

Елена обозначает целые семантические континенты-романы.

Если раньше живопись репрезентировала реальность, то в девятнадцатом веке поняли, что в живописи, как в языке, есть алфавит, и его можно изучать: кубизм Пикассо, супрематизм Малевича и т. д. Живопись раскладывали на атомы, на молекулы, на целые ткани. Как писал Кассирер, создатель понятия *символической формы*, если раньше атомом смысла было слово, то постепенно единицей смысла стало предложение. Крюкова превращает в единицу смысла целый роман.

Елена вышла из-под чар действительности, фокусируя взгляд на конкретной семантической области. Если Декарт разложил человека

на душу и тело, то можно продолжить эту иерархию и разложить тело на ткани и скелет, наверняка можно продолжить такой ряд и с душой. Если обычный роман содержит в себе всего понемногу, то роман «Хоспис» – это непрерывное бряцание костями, которые, в свою очередь, являются символом смерти.

Роман «Хоспис» – это гимн смерти.

Один из главных героев, Матвей, говорит: «В жизни есть только смерть. Да, только смерть. Я это понял». Где-то в романе звучит другая мысль, что нужно учиться не жить, а умирать. Это важная, тяжёлая мысль, к которой нужно многократно подходить с разных сторон, чтобы хотя бы на долю процента осознать её.

Вспоминается роман Владимира Савченко «Открытие себя», в котором главный герой, клонируя собственную персону, растворял очередной клон, поскольку тот, на его взгляд, не получался. И когда в очередной раз опыт, по мнению экспериментатора, удался и герой позволил клону ожить, тот выпрыгнул из ванны, упал на пол и молил учёного не убивать его больше. Таким образом, автор показывает, что, несмотря на независимость этих клонов, они всё же связаны посредством памяти универсума. Я здесь не буду рассуждать на тему боли и страха небытия, интереснее ужас прихода в ту же точку, из которой ты начинал движение, и, соответственно, возникает вторая важная мысль, вытекающая из мысли о смерти, – это мысль о природе времени.

У Лакана, ученика Фрейда и основателя современного психоанализа, есть интересный концепт, называемый *стадией имаго*, когда ребёнок начинает рефлексировать и распознавать себя. В природе так назван процесс превращения гусеницы в бабочку. А теперь представьте, что вместо бабочки каждый раз появляется снова гусеница, то есть бабочку каждый раз убивают. У меня создалось впечатление, что это одна из метафор, заложенных в роман «Хоспис». Главный герой Марк – супергерой, который чудесным образом выживает на зоне, много раз уходит из-под пули и ножа преступников, сбегает от террористов в Ливии, остаётся невредимым после падения самолёта у берегов Америки и сильнейшего землетрясения в Мексике. И Господь, оставляя его живым, каждый раз надеется, что в этот раз получится бабочка, но герой только краешком преобразуется, и тут же энтропия добывает небольшое преобразование, возвращая спираль в круг – звериное вновь начинает преобладать. Иными словами, Марк – анти-Иов, у которого каждый раз всё забирают, а он вновь отряхивается и идёт дальше, нисколько не меняясь: «...а время рядом идёт. Тяжёлый такой поступью. Шагает как слон. Под его ногами, под его ступнями гибнет всё живое. Гибнут люди, звери. Дома. Города. Стоят мёртвые города, осыпаются пылью».

Но можно взглянуть на это по-другому. Данте в своей гениальной «Божественной комедии» проводит главного героя по девяти кругам Ада, но этот поход, в котором героя сопровождает Вергилий, символ разума, может явиться метафорой похода к любви. Что, собственно, и происходит в «Божественной комедии», где в дальнейшем пути, уже в Раю, героя сопровождает Беатриче, символ любви. То есть каждый круг, который нам со стороны кажется замкнутым, на самом деле в другом измерении разомкнут и представляет собой сложную спираль. И тогда, чтобы научиться любить, нужно пройти все девять кругов Ада и Чистилище – хоспис, может быть, в течение даже не одной жизни.

Но и наоборот, прямая – это ещё более страшная траектория, прямая отрывает от корней и оставляет без прошлого. Если цикл страшен

отсутствием времени, то прямая – это время в чистом виде. Поэтому каждого тянет к концу жизни на родину, в Рай, и поэтому возникла метафора *блудного сына*.

Кроме того, каждый индивид участвует во множестве циклов разных иерархий, и их все нужно в той или иной мере замкнуть. Имеются ежедневные циклы, есть циклы становления, и есть жизненный цикл, и Елена все их распознаёт, включая главный, жизненный цикл: «...он медленно и постепенно становился землёй, родной землёй, и стал плоть от плоти её, и стал кость от кости её».

У Лакана есть ещё концепт, что мы состоим из *других*, что мы мыслим набором паттернов, которые мы переняли у *других*, сперва у родителей, потом у бабушек, дедушек, потом друзья, школа и т. д. Иными словами, мы в некотором смысле воры, мы крадём у других их духовность. И эта мысль остро прослеживается у Елены, при попытке понять Марка: «...я грабил... и становился тенью того, кого грабил. Я... ему... им... подражал. Я сам... не осознавал этого... тогда. Сейчас... знаю... Подражал, чтобы... стать как они... стать – ими...» – или ещё: «...вот они почему бывают-то, воры. Они мечтают – прожить – не свою жизнь. Хотят прожить – сотню, тысячу чужих жизней». Но здесь есть важная разница: если вор украл вещь, то он оставил владельца без его вещи, если украли мысль, то она клонировалась и появилась в двух вариантах – у владельца и у вора. Причём, и это тоже важно, они не совсем одинаковые, они окрашены субъективностью носителя. Достаточно вспомнить слова Иешуа Га-Ноцри из романа «Мастер и Маргарита»: «...ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил».

В некоторый момент я выложил в сетях пост из цикла «Диаграммы метафизики», где сообщалось, что человек, страстно любящий жизнь, вряд ли создаст что-то по-настоящему новое. Новое может создать тот, кто любит смерть, поскольку всё новое рождается из небытия, и такой человек всегда несколько сумасшедший. И эта мысль коррелирует с финишным заикливанием романа, где в итоге оказывается главным героем не вернувшийся сын, а лечивший его отец. И тот срок, на который отец продлил жизнь Марка, позволил сыну осознать все свои ошибки и принять такую жизнь, которая состоялась. Это позволило перейти сыну на белую сторону. И это – сильнейшая мысль, что необходимо бороться до тех пор, пока ещё жизнь теплится, и что срок отпущен не зря и не впустую.

Таким образом, есть надежда, что роман Крюковой, насыщенный глубокой метафорикой разных уровней и такими же глубокими смыслами, позволит состояться стадии имаго читателя и преобразиться ему из гусеницы в бабочку.

Игорь ПАНИН

Поэт, публицист, литературный критик. Родился в 1972 году в Воронежской области. В конце семидесятых переехал с семьей в Грузию, где окончил среднюю школу и Тбилисский государственный университет (факультет филологии).

Автор нескольких книг стихов, публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «Крещатик», «Дружба народов», «День и Ночь», «Нева», «Зинзивер», «Сибирские огни» и других. С 1998 года живет в Москве. Долгое время работал в «Литературной газете», был обозревателем, возглавлял отдел литературы.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПТИМИСТ

Вадим Степанцов. Рокером быть в России. Стихотворения. – М. – Тверь: Альфа-Пресс (книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт»; серия «Срез»), «СТИХИ», 2020

Давным-давно, когда я только пытался что-то рифмовать или даже и не сочинял вовсе, на весь Советский союз прогремели дерзкие ребята, назвавшиеся «куртуазными маньеристами». Я еще учился в школе, но помню, сколько внимания им уделяло тогдашнее телевидение и как часто писали о них в разных журналах. Мотором этой компании был Вадим Степанцов, возглавлявший орден уже упомянутых маньеристов. Себя он именовал – ни много ни мало – Великим Магистром.

В дальнейшем пути членов ордена разошлись. Кого-то давно нет в живых, кто-то добровольно вышел из рядов маньеристов и никак себя с ними не ассоциирует... А вот кто, как мне кажется, ничуть не изменился, так это Степанцов. Такое ощущение, что он законсервировался – вот уже более тридцати лет активно трудится в разных жанрах, особо не меняя ни стиля, ни убеждений. При этом – что важно – его не назовешь однообразным автором; он изначально был многоплановым поэтом, которому по плечу было все – от и патриотической лирики до эротической.

Где я только не встречал его стихи, в каких только изданиях они не мелькали. Даже в «Международной еврейской газете» (как-то попало в руки столь экзотическое СМИ) можно было наткнуться на стихи Степанцова о бурном соитии со смазливой семиткой. За давностью лет не скажу уже, чего в тех стихах было больше – откровенной юдофилии или скрытого антисемитизма. Однако факт остается фактом: Степанцов умудрился опубликоваться даже там.

На современном языке это означает: звучать из каждого утюга. И это тем актуальнее, что Степанцов звучал еще и музыкально, создав рок-группу «Бахыт-Компот» и став ее вокалистом. Этот проект также имел определенный успех. Некоторые песни группы, такие, к примеру, как «Пьяная-помятая пионервожатая», давно стали народными, их частенько можно услышать на просторах страны.

Таким образом, мы говорим сейчас не только о поэте, массовике-затейнике, шоумене, но еще и о рокере. В этом смысле название его книги более чем актуально. Я сам уже давно не молод, но трудно поверить, что Степанцов разменял не так давно седьмой десяток. Впрочем, он не унывает, а оценивает свой возраст как истинный философ. Читаем первое же стихотворение нового сборника:

Рокером быть в России –
То же, что и в Монголии:
Вроде с гитарой, красивый,
Но потертость с годами все более,
Жиденькие кудряшки
Или седые виски,
Пивной животик над пряжкой,
В глазах три пуда тоски...

И далее – ничуть не оптимистичнее. Пьянка в московской рок-пивной, симпатичная вокалистка, которую лирический герой всеми правдами и неправдами притаскивает к себе домой, что на следующий день оборачивается жуткой головной болью и похмельной хандрой. А вдобавок – еще извечный вопрос, знакомый каждому, кто оказывался в подобной ситуации:

Проснулся едва ли не в полдень,
Чирикали воробышки,
Тут помню, а тут не помню:
Вышло с ней или не вышло?

Лично у меня нет здесь претензий к автору. Ситуацию обрисовал он со знанием дела, надо думать, используя богатый жизненный опыт. Для меня только осталось загадкой – при чем тут Монголия? Стареющего рокера, способного на подобные подвиги, можно, наверное, отыскать в любой точке мира, а не только в Москве или Улан-Баторе. Да и не только рокера, если уж на то пошло... Но не будем придираться к художнику, раз он так видит.

Стоит отметить, что Степанцов не заиклен на себе, на своем рокерстве или на более чем откровенной лирике. Определенное место в его творчестве отведено гражданским настроениям общества. Хотя пишет он о подобном чаще с юмором. Это совсем не означает, что у него нет своей политической позиции; просто Степанцов не был бы Степанцовым, перестань он смотреть даже на серьезные вещи с изрядной долей иронии:

О свинцовых мерзостях режима
Целый вечер говорила ты,
Я же все зевал не удержи́мо,
Поглощая водку и манты.

Любопытно, что Степанцов не прибегает здесь к примитивным приемам, не говорит ничего плохого о противоположном гражданском лагере, но стремится перевести все в шутку. Показывает, что бушующие подчас страсти могут иметь вовсе не политическое происхождение. И точно – разве мы не знаем, сколько людей протестуют против чего-то лишь потому, что испытывают в личной жизни дефицит внимания, уважения, любви? Вот и с подружкой лирического героя стихотворения ровно та же самая история:

Крылись тут не мерзости режима
И не экономики обвал.
Я читал во взгляде: «Полежим, а?»,
Как самец тебя я волновал.

Между прочим, он не остался в стороне от событий на Украине. Присоединение Крыма и отделение Донбасса он считает вещами правильными и нужными. И, собственно, у него нет претензий к так называемым самостийникам, с которыми все давно ясно. Но к некоторой части украинского еврейства вопросы у него есть:

Евреи шагают проспектом Бандеры.
О, сколько в очах ликования и веры!
Уверенности, что в родной Украине
Им счастье великое светит отныне.

Это, как известно, не выдумка и не чья-то неумелая пропаганда. Все взято из реальной жизни. Мы прекрасно помним, как одесский стихопишущий блогер и психиатр Борис Херсонский, долгое время выдававший себя за жертву антисемитизма и потомка пострадавших от Холокоста, вдруг стал рядиться в вышиванки, скрипуче петь «Ще не вмерла Украина», радоваться сожжению «колорадов» в Доме профсоюзов, всячески кривляться и грозить хиленьким кулачком Русскому миру. Строки Степанцова обращены будто бы к нему:

Ох, атомный, чую я, будет пожар
Для тех, кто простил и забыл Бабий Яр.

Да и не только к нему. Безумного психиатра можно было бы и не вспоминать, да вот проблема в том, что не один он там такой. Почему Степанцов и не может удержаться:

Еврей, примеряющий форму СС,
Скажи мне, откуда такой интерес?
Откуда у парня арийская грусть?
Какая ж ты, в сущности, гнусная гнусь.

Не уверен, что это стихотворение опубликует «Международная еврейская газета», хотя мне данный текст Степанцова представляется более важным, нежели тот, что когда-то появился в «МЕГ», подписанный его именем.

И при этом Степанцова никак не назовешь ненавистником Украины. Он может высмеивать русофобов и маргиналов в шароварах, возмнивших себя высшей расой, но при этом у него масса поклонников и в Киеве, и во Львове, и в Харькове, и в Донецке. Его чтут и как поэта,

и как рокера. Его читают и слушают как «самостийники», так и «сепары». Вот, казалось бы, хороший повод лишний раз подчеркнуть, что культура объединяет народы. Да только от обычных людей, к сожалению, зависит немного. А для тех, от кого на Украине что-то зависит, Степанцов, несомненно, москаль, великодержавный шовинист и агент Кремля.

Впрочем, наш герой не стремится быть народным трибуном, не рвет на себе тельняшку, подобно другим сочинителям, не строит из себя мессию и не считает, что его слово обладает какой-то невероятной силой, способной вразумить глупых или отрезвить заблудших. В первую очередь он остается тем же озорным куртуазным маньеристом, который когда-то ворвался в нашу с вами жизнь. Да он и сам об этом то и дело напоминает читателям. Одно из стихотворений книги прямо так и называется – «Еще раз о куртуазности». Содержание, как и следовало ожидать, соответствует названию:

Приводишь даму в ресторан –
Не пучь глаза, как сивый мерин,
Залей ей в глотку двести грамм –
И все покатит, я уверен.

В эту книгу вошли только новые стихи Степанцова. Трудно сказать, стоило ли усиливать ее старыми, проверенными временем текстами, тут все зависит от той задачи, которую ставил перед собой автор. За свою жизнь Степанцов выпустил не одну толстую книжку, при этом в солидных издательствах, активно занимающихся распространением своей продукции. В его активе тома под 400 и свыше 500 страниц, что для поэтического сборника является солидным объемом. Добавляем приличные по меркам новейшей истории тиражи и получаем довольно успешную издательскую практику.

И вот теперь – книга в серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». Тонкая (всего 76 страниц) и малотиражная (250 экземпляров). Зато теперь автор может похвалиться тем, что вышел в настоящем писательском издательстве, ориентирующемся не на массовую культуру, а как бы наоборот. Вряд ли это свидетельствует о падении популярности Степанцова; скорее ему самому несколько наскучил масскульт. Ну и не будем забывать, что у рок-музыкантов свое трепетное отношение к поэзии. Время от времени некоторые рок-идолы (вспомним того же Джима Моррисона) издавали тощие книжонки своих стихов небольшим тиражом, хотя, конечно, могли себе позволить роскошный фолиант в любой престижной издательской конторе.

Хотя, может быть, все гораздо проще и Степанцов никаким рок-звездам не подражал, а издал сборник там, где ему предложили. Нынешние времена, как мы знаем, заставляют автора побегать и потрудиться найти издательство, если он собирается выпускать книгу не за свой счет. Поэтому даже известные, не обойденные вниманием критиков и читателей поэты порой стремятся не упустить своего шанса. Издать солидный том они еще успеют, но зачем отказываться от маленького томика? Тем более что такие книжечки расходятся быстро, а современные технологии позволяют мгновенно допечатать энное количество экземпляров, если в том возникнет необходимость.

Но есть еще кое-что, отличающее данную книгу Вадима Степанцова от предыдущих. Это грусть, то и дело проглядывающая между строк.

Нельзя сказать, что он никогда прежде не писал грустных стихов. Однако теперь, как мне кажется, все серьезнее. Не будем забывать, что первое же стихотворение сборника – «Рокером быть в России...» – ироничное по замыслу, но горькое по сути. Напиши он такое лет тридцать назад – народ хохотал бы, схватившись за животы. Но в том-то и дело, что Степанцов пишет о том, что случается с ним сейчас. И вот жалеть его неудобно, а натужно смеяться тоже не хочется. И тут, как ни странно, проникаешься к автору не сочувствием, нет, но некоторым уважением. Как к человеку, который сколько угодно может рисоваться и делать хорошую мину при плохой игре, но при откровенном разговоре раскроет все карты.

Да, в этой книге имеется тот самый маньеризм, жонглирование словами, фривольные тексты и нецензурные выражения, но при этом обнаруживается тут и совершенно искренняя лирика, чуждая всему тому, за что мы Степанцова и любим. Повторюсь, раньше в его стихах это не так было заметно. А теперь даже в иронических текстах то и дело проскальзывает что-то подобное:

Вроде все как обычно, на месте и Путин, и Кремль,
Новый год на носу, и от санкций народ не загнулся.
Отчего же так мутно, Господи? Выслушай, внемль,
Даже я, оптимист, в пенной серости дней захлебнулся.

Любой поэт развивается в течение всей творческой жизни, иногда даже и не в лучшую сторону. Я предположил бы, что Степанцов становится глубже как автор, да боюсь, его это обидит. Ведь все то, что он делал прежде, вовсе не говорило о его поверхностности. Но, думается, раньше он не горел желанием поговорить с читателем по душам. Или говорил о том, что, как он полагал, читателю (и слушателю) будет интереснее и понятнее. Теперь же, сказав уже все или почти все, он может позволить себе и отдельные лирические отступления. Хорошо ли это? Если честно, то не вижу ничего плохого. В конце концов, и бунтарям надо когда-то отдыхать.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 06.08.2021.
Выпущено в свет 23.08.2021.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13